Феликс МЕДВЕДЕВ

ОКНО В ИСТОРИЮ

Мои Великие старики

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу вошли интервью и воспоминания, посвященные судьбам «Великих стариков» ушедшего столетия. Среди героев книги – неординарные личности, своими деяниями и судьбой вписавшиеся в историю XX века: Габриэль Гарсиа Маркес и Михаил Горбачев, Шимон Перес и Илья Глазунов, Арсений Тарковский и Курт Воннегут, Александр Есенин-Вольпин и князь Тарановский, личный фотограф Л. Брежнева Владимир Мусаэльян и племянник Николая II Тихон Куликовский-Романов… С героями книги автор встречался на протяжении нескольких десятков лет. У многих брал интервью для прессы, с кем-то дружил. Книга логически продолжает предыдущий том «Мои Великие старухи», посвященный выдающимся женщинам XX века.

- Феликс Медведев
  -
  - Предисловие
  - Глава 1. В Переделкине с Арсением Тарковским
    -
    - В плену у Маруськи Никифоровой
    - Письмо от маршала Пилсудского
    - Юный Арсений признался Сологубу в своем «грехе»
    - Застал Цветаеву за стиркой белья
    - Обругал самого Рокоссовского
    - Рассыпанная первая книга
    - Первое впечатление бывает обманчивым
    - «Анна Андреевна, я не Дантес!..»
    - Хотел застрелиться из-за потерянной строки
    - Александр Фадеев: «переводы Тарковского надо немедленно издать!»
    - «Твой сын, – несчастный и замученный Андрей Тарковский…»
  - Глава 2. О Василе Быкове, Трава после нас
    -
    - Москва, улица Воровского, 52. Союз писателей СССР, лавочка в сквере
  - Глава 3. Соблазн и шок по Сан-Лорану
    -
    - «Моя работа – не искусство, максимум – ремесло…»
  - Глава 4. Габриэль Гарсиа Маркес в журнале «Огонек»

- Глава 5. У Расула Гамзатова в Дагестане
  -
  - До русской дороги и обратно или над и под крылом орла
  - В рабочем кабинете под трель телефонных звонков
  - Среди развалин древнего Дербента
  - На месте пленения Шамиля
  - В запасниках галереи
  - Во всемирно известном селении Кубачи[5]
  - По дороге в театр на вечер, посвященный 110-летию Гамзата Цадасы
  - В аэропорту – при прощании
- Глава 6. Исповедь режиссера «Агонии» Элема Климова
  -
  - Порой не на что было жить
  - Лариса предсказала свою смерть
  - «Агонию» разрешили через 10 лет после первого показа
  - Дочь Косыгина укоряла в упоминании имени отца
  - К. Кардинале и Ф. Кристальди предложили снимать «мастера…»
- Глава 7. Сергей Михалков: шлюзы, а не кингстоны
  - Подождите меня, я скоро вернусь!..
  - Цепь случайностей
    -
    - «Колыбельная» разбудила удачу
    - «По русскому обычаю, надо „обмыть“ Гимн», – предложил Сталин
    - Вождь советовался, можно ли изменить знак препинания
    - Хрущев – за сатиру
    - Михалков – агент КГБ?
    - Полная свобода ведет к анархии
    - О сыновьях
    - «…богата талантами русская земля»
- Глава 8. Сын Есенина приезжает из Америки на могилу отца
- Глава 9. У Курта Воннегута в Саутхемптоне под Нью-Йорком
- Глава 10. В Торонто, у Куликовского-Романова – племянника Николая II
  -

- Мама не хотела принимать датского подданства
- Ольга Николаевна раскрыла альбом
- Послание русскому народу
- Моя мать – единственный «багрянородный» ребенок Александра III
- С детства она пристрастилась к живописи, ее будущий муж – к игре
- Канада, 1960 год. смерть мамы

○ Глава 11. Эксклюзивная встреча-интервью с Георгием Вициным
○ Глава 12. Лицом к лицу с Михаилом Горбачевым
○ Глава 13. У Шимона Переса в Тель-Авиве

-
- Я предпочитаю умереть без страха…
- Человек не может быть абсолютно счастлив
- Я ощущаю себя частью истории
- Советскую империю развалил телевизионный экран
- Молясь, евреи обращаются лицом к Иерусалиму, а арабы к Мекке
- До Горбачева Россия для нас не существовала
- Евреи первыми восстали против рабства
- Надо прощать ближнему

○ Глава 14. Михаил Ульянов: «В России на актеров смотрят как на слуг»
○ Глава 15. Александр Бовин: «Журналисты на смогли переварить свободу…»
○ Глава 16. Владимир Крючков: «Я знал все секреты государства»

-
- «Ельцин – разрушитель, бездумный политик»

○ Глава 17. Никита Богословский: «Россия украла гимн У другой страны»
○ Глава 18. Художник Илья Глазунов: гонимый, обласканный, великий

-
- Щелоков: «таких, как вы, надо сажать»
- Если тебя пришьют, мы не отвечаем
- В ателье Пикассо висела картина юного художника из России
- Предки Глазунова из рода королевы Любуши
- Испанской богородице почет, а над русской иконой глумились
- «В Кремль не зовут?» – «Интриги-с…»

- Глава 19. Илья Глазунов и Владимир Солоухин. Версия одного разрыва
  -
  - Последняя встреча с писателем в Переделкине
    -
    - Догмы и факты
    - Крушение кумиров
    - Тайная тетрадь – тайная книга
    - «Мы видим его только наполовину»
  - Прощание
- Глава 20. Лев Колодный «Два пула соли на одну рану»
  -
  - Последняя ступень непорядочности
  - Дружная кампания клеветы
  - КГБ «сигнализирует»
  - О настроениях художника Глазунова
- Глава 21. Игорь Кио: «Я знаю все секреты Копперфилда»
- Глава 22. «Левак» с Гафтом
  -
  - «Не выношу похабщины в искусстве»
- Глава 23. Алексей Баталов: «Моя мама выиграла в карты квартиру»
- Глава 24. Несожженный Жженов
  -
  - «Мое сознание парило над всем этим адом…»
- Глава 25. Человек-джаз Олег Аундстрем
- Глава 26. Вадим Козин. Даже в ссылке его посещали знаменитости
  -
  - Берия ходил в соперниках
  - Пугачеву не любил за «хроническое несмыкание связок»
- Глава 27. Драма Ростислава Небольсина
  - Он мечтал передать России свой архив
  - Павел Хлебников: «Я горжусь, что в моих жилах течет русская кровь…»
- Глава 28. Александр Яковлев – отец перестройки
  - Он переделал Горбачева
  - Персональная пенсия для княжны Мещерской
  - Говорили, что его настоящая фамилия Эпштейн
- Глава 29. Михаил Содоменцев – соратник пяти генсеков
  -

- За трещины в здании сняли главу госстроя
- Андропов принял меня в больнице
- Чаушеску был хитрый интриган
- Замерз у Фиделя Кастро

○ Глава 30. Судьба князя Тарановского – кровавая история русского XX века
-
- Ты мне не сын и сестрам твоим не брат
- Секретная карта Добыта из-под носа Эйзенхауэра
- Виноват ли я перед Америкой?
- Побег в СССР
- КГБ: допрос с пристрастием
- В Степлаг – на 20 лет
- Шарашка, Солженицын, Копелев…
- Смертельный укол

○ Глава 31. Фотограф Владимир Мусаэльян и генсек Леонид Брежнев
-
- Еще секунда, и могла произойти трагедия
- «На моих глазах генсек не деградировал, а изнашивался»
- Операция на сердце в обмен на архив?
- Брежнев отличал охоту от убийства
- «Здесь я, как Ален Делон…»
- «А на этом снимке – его могила…»
- Машины были его страстью
- Из личных записей В. Г. Мусаэльяна

○ Глава 32. Легенды и быль от Евгения Рейна

○ Глава 33. Мой дед венгерский революционер Золтан Партош выжил после трех арестов
- Эмиграция в Советский Союз
  -
  - Он делал революции в Европе
  - Командировка в Туркестан по настоянию Семашко
  - Врач от бога
  - Пьер Фламбо – это тоже мой дед
  - Коминтерновец
  - «Пока дети живут в подвалах, я не могу переезжать в большую квартиру…»
  - Он купил мне первую пишущую машинку
  - Дядя Ласло перевел для меня книгу Евтушенко

- В Штатах меня ждет наследство?
- Три ареста, или несложившийся чекистский пазл
-
- С Лениным в Циммервальде
- «Сжатое скрепками не разжимать!..»
- Ордер на арест подписал Ягода
- Свобода за подписью Артузова
- «Я шпион венгерской разведки…»
- Варга хлопотал перед Сталиным
- Письмо в газету «Правда»
- Последние слова: «Берегите детей…»

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22

Феликс Медведев
Мои Великие старики

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Предисловие

«Мы – русские, и нас не сломит ничто…»

С героями этой книги я встречался на протяжении нескольких десятков лет. У многих брал интервью для прессы, с кем-то дружил, а «Великий старик» венгр Золтан Партош, фрагменты драматической судьбы которого завершают книгу, – мой родной дед – революционер, врач, поэт, романтик.

Я думаю, что сегодня, по прошествии немалого срока, интересны рассуждения мудрых «стариков» – писателей, политиков, актеров, историков – о переломном моменте истории – перестройке, да и о жизни вообще. Тогда, в конце 80-х, казалось, что старшее поколение не готово переиначивать жизнь, бросаться вместе с нами на баррикады. Теперь-то очевидно, что они, повидавшие жизнь, во многом оказались правы. Их честные, я бы сказал, часто провидческие мысли мне представляются очень актуальными. Не беспочвенны были их опасения, что, круша в революционном ажиотаже старое, можно уничтожить вечные ценности, и тогда потомки наши не будут «помнить родства». «В рубке с плеча можно многое потерять, и потерь этих нам не простят», – увещевал восточный старик Расул Гамзатов.

Интервью, вошедшие в книгу, намеренно печатаются в том виде, в каком они были написаны и впервые опубликованы, потому что в размышлениях моих героев ощущается атмосфера 80—90-х годов, то есть горбачевско-ельцинских времен.

Судьбы тех или иных персонажей настолько сложны и противоречивы, что присутствие их в книге может вызвать непонимание. Во время моей работы над книгой, на канале НТВ показали фильм о трех днях президента Ельцина, в котором была четко обозначена роль председателя КГБ В. Крючкова в драматических для России событиях августа 1991 года. Герой фильма вызывает резко негативное отношение как организатор путча против демократии и свободы. Стоило ли включать в книгу биографию этого человека? Я беседовал с ним десять лет назад, и уже тогда увидел изможденного болезнями пожилого человека, который отвечал на мои вопросы глухим, отрывистым голосом. По-человечески мне было его даже жалко. О некоторых моментах своей жизни он не хотел говорить, но интервью, я считаю, получилось интересным. И я оставил в книге беседу с одиозной личностью, свидетелем и участником многих закулисных страниц нашего прошлого.

Жизнь другого персонажа – А. А. Тарановского полна загадок, неясностей. Русский дворянин, князь, родившийся в Шанхае и проживший на чужбине много лет, работавший на советскую военную разведку, после войны вернулся на родину и был осужден на 20 лет за… шпионаж. Работая в «воспетой» Солженицыным Марфинской шарашке, он, высококлассный радиоэлектронщик, стал одним из создателей шифровального прибора для телефонных переговоров Сталина.

Князь Тарановский любил повторять: «Мы – русские, и нас не сломит ничто».

Все мои «Великие старики» – неординарные личности. Каждый сделал в жизни все, что мог. Каждый по-своему вписался в XX век, но можно твердо сказать, что все они оставили свой след в горячечной истории России.

Феликс Медведев

Глава 1. В Переделкине с Арсением Тарковским

«Судьба моя сгорела между строк…»

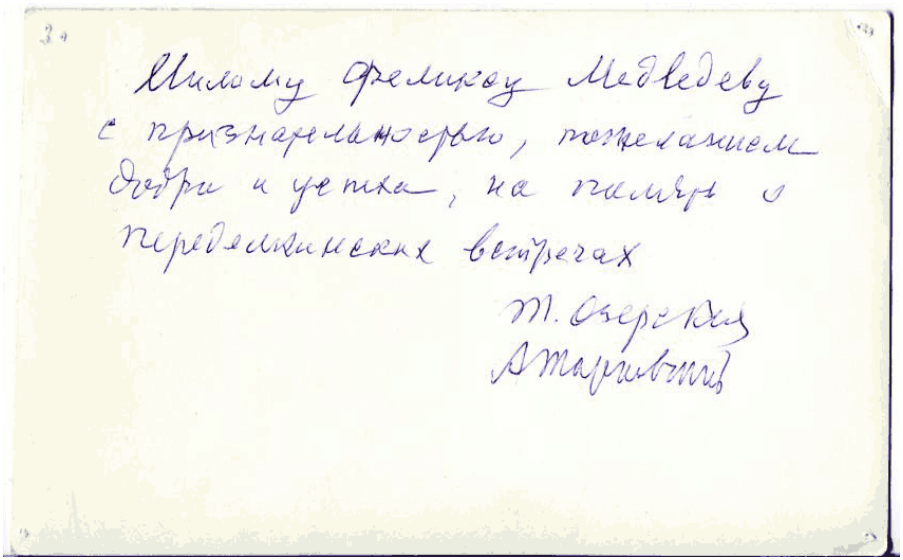
Декабрь 1987 года. Переделкино, маленькая комнатка Дома творчества. Я ненароком вторгся в размеренное бытие Арсения Александровича Тарковского и его жены, переводчицы Татьяны Алексеевны Озерской – адресата многих его лирических стихотворений, и в течение десяти вечеров, мучая вопросами, слушал рассказы о жизни и работе в литературе одного из лучших наших поэтов.

Он вскрикивал неожиданно и протяжно. К этому нельзя было привыкнуть, и каждый раз я не знал, как себя вести: молчать, сочувствовать, извиняться.

«Фантомная боль – ощущение отсутствующей ноги, – пояснила Татьяна Алексеевна. – Два года, с зимы 41-го по зиму 43-го Арсений Александрович пробыл на фронте. И почти все время на передовой».

Больше говорила Татьяна Алексеевна. Половина жизни Арсения Александровича прошла на ее глазах, и мне показалось, что она знает о нем почти все. Самому ему говорить было трудно: недавно перенесенная болезнь отняла много сил. Он быстро уставал, и тогда мы медленно поднимались на второй этаж, в кафе, где заваренный на травах чай возвращал ему чуточку бодрости.

С Арсением Тарковским и его супругой



Биография любого человека может быть интересна современникам, биография такого человека, как Арсений Тарковский, интересна вдвойне. Ибо все в ней волнует, заставляет оглянуться назад, задуматься над творчеством художника, написавшего строки:

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер

Телефона грядущих времен.

В плену у Маруськи Никифоровой

…Гражданская война. Завладев городом Елисаветградом, атаманша Маруська Никифорова[1] допрашивала пленных в штабе, расположенном в бывшем кавалерийском училище. Бронепоезд стоял на станции. Город оцепенел, устав от голода и войны. Все знали, что атаманша мстит за смерть соратников.

Она сидела в кресле, опустив голову. Короткие прямые волосы, свисая, закрывали лицо. На столе – маузер. За спиной – охранник в тельняшке. Пленных предварительно содержали в камере, а потом приводили на допрос.

Перед атаманшей стоял мальчик лет двенадцати. Его привел здоровенный казак. Среди задержанных был и старший брат этого мальчика, бросивший бомбу в атаманшу.

– Я же сказала, не брать хлопчиков, – приподняла голову Маруська. – Разобраться и доложить!

Потом открыла ящик стола, достала ярмарочный витой, обернутый серебрецом леденец и, поглаживая мальчика по голове, протянула ему: «Гарный хлопчик…»

Казаку, приведшему ребенка, было дано распоряжение отвести его домой и взять от родителей справку, что довел благополучно. Проходя коридорами кавалерийского училища, где мальчику было все так знакомо, ибо здесь преподавал математику его дядя, казак чертыхался и, приговаривая «набрыдло всэ», жалобно стонал.

На стук в окно выглянула мать:

– Где же ты был, я весь город обегала… Не сидится дома, смотри, что творится кругом.

Мальчик признался, что был в плену, но постыдился сказать, что у Никифоровой, а казак многозначительно добавил: «Атаманша…» В записке, которую дала казаку сельская учительница Мария Даниловна, говорилось: «Арсения Тарковского, ученика 3-го класса гимназии Крыжановского, доставили домой благополучно».

Письмо от маршала Пилсудского

Отец будущего поэта Александр Карлович, самый любимый герой всей его жизни – народоволец-восьмидесятник. Более десяти лет протомился он в ссылке за Якутском, где вел обстоятельные записи об этой земле, ее людях, обычаях. О тех, кто волею судеб оказался рядом с ним. Когда в 1920 году буденновская армия взяла Елисаветград, Александра Карловича пригласили в особый отдел Первой конной армии, чтобы «объясниться» по поводу посылки и письма, пришедших на его имя из Польши. Письмо гласило: «Дорогой Саша! Я теперь неплохо устроился, я маршал Польши. Целую тебя. Приезжай, привози семью, коли женат. Твой Юзеф». «Судьбою правит случай», – бывший ссыльный припомнил человека по фамилии Пилсудский. – Неужели это он?

Времена были крутые, и Александр Карлович понимал, что значит получить вести от руководителя военными действиями против Советской России со стороны Польши. Он догадался взять с собой письмо Ленина, в котором Владимир Ильич, лично знавший А. К. Тарковского, просил его написать воспоминания о «Народной воле». Письмо это и спасло ему жизнь. Комиссар чуть ли не с почестями отправил адресата посылки восвояси.

– Письмо Ленина я отдал в Музей революции сразу же после смерти отца, еще в 20-е годы, – сказал Арсений Александрович.

Юный Арсений признался Сологубу в своем «грехе»

Небольшой украинский городок слыл центром культурной жизни. Сюда приезжали известные композиторы, музыканты, писатели. Выступал с лекциями Бальмонт. Одно из детских потрясений Тарковского – вечер знаменитых российских поэтов Игоря Северянина и Федора Сологуба. Шестилетнего мальчика родители взяли на этот вечер. До сих пор Арсений Александрович не может понять, почему ему понравился именно Сологуб. Но случай этот не остался без последствий. Юноша, всерьез начавший «жить стихом», решился на поездку в Ленинград.

– Мне очень хотелось еще раз увидеть Сологуба, поблагодарить его за стихи, сказать, что я помню его с детства. С трудом в незнакомом городе нашел квартиру знаменитого поэта. Когда я вошел к нему, он был грустен и одинок. Не заживала душевная рана после гибели любимой жены и друга Анастасии Николаевны Чеботаревской. За стеной назойливо играли гаммы. Я спросил Федора Кузьмича, не удручают ли они его. «Нет, – ответил тот, – мне не так одиноко». Поставил три прибора. Третий для той, ушедшей из жизни, – такой в доме был ритуал.

Сологуб расспрашивал меня о Елисаветграде, о родителях, о любимых поэтах, долго не отпускал и лишь под конец неожиданно спросил: «А сами-то вы стихов не пишете?» Я признался в своем «грехе». Он попросил почитать что-нибудь и, выслушав, вынес приговор: «Это очень плохие стихи, молодой человек, но вы не теряйте надежды, пишите, быть может, что-нибудь у вас и получится». Эти слова запомнились мне на всю жизнь.

Когда я уходил, хозяин дома подал пальто. Я смутился, а он пошутил: «Молодой человек, я подаю вам пальто не из подхалимства, а потому, что я член добровольного общества взаимного подавания пальто». И уже почти вдогонку предложил мне свою книжку, но взять ее я не посмел. Больше мы не встречались.

Застал Цветаеву за стиркой белья

О дружбе Тарковского с Мариной Цветаевой в короткий отрезок времени – с ее возвращения на Родину до отъезда в эвакуацию – ходят легенды. Одна из них окрашена в романтические тона. На самом деле все было так.

Через переводчицу Яковлеву Тарковский послал Цветаевой книжку стихов переведенного им туркменского поэта Кемине. Перевод ей очень понравился, и она написала в записке: «Вы все можете». Состоялось личное знакомство, перешедшее в пылкую, но кратковременную дружбу. Марина Ивановна жила тогда в маленькой комнате невдалеке от Главпочтамта. Тарковский приходил к ней в гости, и они отправлялись гулять. Цветаева любила ходить пешком, используя для этого любую возможность. Шагала она удивительно быстро, и спутник едва поспевал за ней. Беседовали в основном во время прогулок. Она подолгу рассказывала о своей любимой Праге, о парижской жизни, о превратностях судьбы.

Однажды Тарковский застал Цветаеву за стиркой белья. Позже родилось стихотворение:

Марина стирает белье.
В гордыне шипучую пену
Рабочие руки ее
Швыряют на голую стену.

Белье выжимает. Окно —
На улицу настежь, и платье
Развешивает.
Все равно,
Пусть видят и это распятье.

Гудит самолет за окном,
По тазу расходится пена,
Впервой надрывается днем
Воздушной тревоги сирена.

От серого платья в окне
Темнеют четыре аршина
До двери.
Как в речке на дне —
В зеленых потемках Марина.

Два месяца ровно со лба
Отбрасывать пряди упрямо,
А дальше хозяйка-судьба.
И переупрямит над Камой…

Во время одной встречи Тарковский прочитал Цветаевой только что сочиненные им стихи:

Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих —
Горе и печаль.

И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит, наконец,
У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,
Холодна рука
И не модные шуршат
Синие шелка.

И вино поет из тьмы,
И звенит стекло…
Как тебя любили мы —
Сколько лет прошло.

Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:

«Каблучки мои в пыли.
Выцвела коса,
И звучат из-под земли
Наши голоса».

Уже в 50-е годы от писательницы М. Белкиной он узнал о том, что существует ответное стихотворение поэтессы «Ты стол накрыл на шестерых…». Это стихотворение – подлинный шедевр цветаевской лирики – было одним из самых последних ее творений. Помечено оно 6 марта 1941 года.

Обругал самого Рокоссовского

Сохранилась фотография, запечатлевшая А. Тарковского и А. Твардовского на фронте. Я попросил Арсения Александровича рассказать о войне.

11 раз писал он заявления с просьбой взять его в армию, и каждый раз получал отказ. Потом, наконец, добровольца мобилизовали. Работал он в армейской газете «Боевая тревога». В его задачу входило сочинение юмористических статей и рассказов. Но приходилось и участвовать в боях.

Главное было – не раствориться, не растеряться в этом аду и хаосе.

– На нас шли немецкие танки. Я прыгнул в окопчик, сверху свалился другой человек и стал душить меня от ужаса. И тогда на живом узоре моей памяти завязался еще один узелок: никогда, никогда не терять своего человеческого образа. Даже в такой обстановке, даже на войне, даже на краю гибели…

А как много доброго открыл Тарковский на фронте в людях! Сколько встреч, запомнившихся на всю жизнь, преподнесла война! Командиром его группы войск был Константин Константинович Рокоссовский. Однажды, заглянув в палатку к гвардии капитану Тарковскому, заснувшему после ночного задания, он приподнял край шинели, накрывавшей спящего человека, и в ответ получил пару ругательных слов – Арсений Александрович не сразу понял, кто его потревожил. Командующий, смутившись, произнес «Виноват», отдал честь и вышел. Вроде бы случай, почти курьез, но он прекрасно дополняет образ прославленного маршала.

За участие в боях с фашистами Тарковский награжден орденами и медалями. После ранения разрывной пулей он перенес ампутацию ноги.

Рассыпанная первая книга

Весной 1945 года А. Тарковский выписался из госпиталя и начал усердно заниматься переводами. В Союзе писателей СССР состоялся его первый творческий вечер. Выступавшая на нем Маргарита Алигер[2] сказала: «Перед нами поэт милостью божьей, нужно издать его книгу».

Здесь, кстати, могу заметить, что наверняка не все любители поэзии знают о драматической судьбе невышедшей первой книги Арсения Александровича. Я с трепетом перелистывал сигнал[3] этого сборника в квартире Тарковских на Маяковке. Сходивший с ума от прикосновения к любой редчайшей книге, как я мечтал пополнить этим раритетом свою коллекцию! Но не решился выпросить ее у автора, понимая, как он ею дорожит. История такова. Тарковский подготовил к изданию книгу стихов, которая получила одобрение на собрании секции поэтов в Союзе писателей. Несмотря на отрицательную рецензию критика Евгении Книпович, рукопись была подписана к печати в издательстве «Советский писатель» и дошла до стадии сигнального экземпляра, когда 14 августа 1946 года грянуло постановление ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Директор издательства решил на время, пока, как говорится, не улягутся страсти, задержать выпуск книги. Поэтому матрицы в типографии «законсервировали» на несколько месяцев. А позже руководство приняло решение заново отрецензировать рукопись. И тогда спохватились, что в книге нет ни одного стихотворения о Сталине и лишь одно – с упоминанием имени Ленина. Набор рассыпали.

Тарковский, и до того мало заботившийся о судьбе своих стихов, о своем «литературном хозяйстве», начисто потерял интерес к изданию книг. И только благодаря настойчивости Татьяны Алексеевны сборник стихов «Перед снегом» был собран, отнесен в издательство «Советский писатель», получил в высшей степени одобрительные отзывы М. Алигер и Е. Златовой и увидел свет в 1962 году (Арсению Александровичу было уже *55),* сразу же став событием в современной поэзии.

Арсений Тарковский был по-детски равнодушен к популярности, к каким-либо окололитературным пересудам. Радовался он лишь тогда, когда получалось хорошее стихотворение и оно кому-то нравилось. В особенности человеку, мнение которого Арсению Александровичу небезразлично.

Писал Тарковский мало. «Избранное», вышедшее в 1982 году, в сущности, вместило почти все, что им сделано. Интересно, что

некоторые годы выходили особенно плодотворными. 57-й, например. Чем это объяснить? Ветрами времени? Близостью с добрыми людьми? Вдохновением?

На мой вопрос, когда он понял, что поэзия – его призвание, Арсений Александрович ответил: «Наверное, с рождения. Во всяком случае, с самых юных лет. И к Сологубу-то я бросился потому, что стихи – это то, чем я жил уже в ту далекую пору».

Первое впечатление бывает обманчивым

В один из вечеров я попросил Татьяну Алексеевну рассказать о молодом Тарковском, о том, как они встретились.

– Однажды, это было весной 42-го года, я пришла в Союз писателей за пайком и увидела красивого молодого человека в военной форме. Он поразил меня тем, что, как птица, перелетал из комнаты в комнату, и я успела подумать: ну и стремительность.

Позднее в том же Союзе я услышала рыдающий голос Сусанны Мар: «Какой кошмар! Тарковскому ампутировали ногу». И я, грешным делом, произнесла про себя: «Господи, что же так кричать, голова-то цела, а ведь сколько людей и головы сложили». А в мае 44-го в переделкинском Доме творчества я увидела мужчину, который тоже был похож на птицу, но только со сломанным крылом. Спросила: «Кто это?» Ответили: «Разве вы не знаете, это Тарковский». И тут у меня все связалось в одно: военная форма, стремительность, вопли женщины. Не успела я опомниться, как меня извещают: «Сегодня он будет читать свои стихи, приходите». Я в те дни переводила своего любимого О Генри и, поддавшись какому-то внутреннему сопротивлению, на вечер не пошла, устроилась с рукописью на верхней террасе. Чтение стихов происходило на нижней. И вот до меня донесся красивый мужской голос: «В жаркой женской постели я лежал в Симферополе…» «Боже, какая пошлость, – подумала я, – как хорошо, что я не пошла на вечер». Но голос продолжал звучать, и я невольно прислушалась. И буквально в течение минуты все изменилось: я поняла, что первое впечатление было обманчивым. Случаются неудачные строки и у хороших поэтов, а на самом деле там, внизу, звучат настоящие стихи. Я спустилась вниз и не пожалела: все, что читал Тарковский, произвело на меня огромное впечатление.

На вечере мы и познакомились, а позже, в 1946 году, поженились.

«Анна Андреевна, я не Дантес!..»

С Анной Ахматовой Тарковский впервые увиделся на квартире поэта Г. Шенгели в 1946 году. Его пригласили специально для этой встречи. Знакомство началось с шуточного эпизода. Арсений Александрович взял в руки небольшую шпагу, которой баловался хозяин дома, и Анна Андреевна пошутила: «Кажется, мне угрожает опасность?» «О, нет, Анна Андреевна, я не Дантес», – почему-то выпалил гость. Всегда находчивая Ахматова растерялась: «Я не знаю, как мне ответить на такой комплимент».

Тарковский прочитал какие-то стихи, и Ахматова заметила, что они похожи на стихи Мандельштама. Следующая встреча произошла в Голицыне в Доме творчества; а потом они виделись все чаще и чаще.

– Арсений *Александрович, я слышал, будто бы Анна Андреевна выглядела королевой, гордой и непреклонной?*

– Нет, королевой она не была. Во всяком случае, мне так не казалось. Правда, однажды, когда ей сказали, что Эльза Триоле приглашает ее в Париж, Ахматова действительно по-королевски парировала: «Не понимаю, почему она меня приглашает, я же не зову в Москву римского папу».

Однажды я поссорился с ней из-за Модильяни. Я посмел сделать замечание по поводу ее воспоминаний о встречах со знаменитым художником – они мне не понравились. «Лучше бы вы стихи писали, а не пишется, думали бы о Боге», – сказал я Ахматовой.

– Арсений пришел домой ужасно расстроенный, – вступает в разговор Татьяна Алексеевна. – «Я поссорился с Ахматовой», – сказал он убитым голосом. – Тогда я посоветовала ему завтра же купить большой букет цветов, стать перед ней на колени и извиниться. Но Арсений Александрович ничего этого не успел сделать. Раздался телефонный звонок. «Это говорит Ахматова, – послышалось в трубке. – Вместо того, чтобы ссориться, браниться, нам нужно поддерживать друг друга добрым словом».

Разве королева могла так поступить?! Далеко не каждый смертный в такой ситуации простил бы обиду. Ахматова была цельным, мудрым человеком.

В архиве Тарковского сохранилось две телеграммы от Ахматовой. Они связаны с выходом его первой книги «Перед снегом». Прочитав ее, Анна Андреевна сначала телеграммой поздравила поэта, а потом позвонила и сказала, что если теперь, не дай бог, с ним что-нибудь случится, ей будет жаль его гораздо больше. Ахматовой нравились его стихи. Особенно стихотворение

«Когда б на роду мне написано было лежать в колыбели богов». Вечером Тарковский оставил ей рукопись этого стихотворения, а утром она позвонила ему и похвалила стихи.

Дружба с великой поэтессой была сердечной, искренней. Ее смерть потрясла Тарковского. Он сопровождал усопшую в Ленинград, присутствовал при отпевании в Никольском Морском соборе, хоронил в Комарове. Тогда же появились стихи:

Когда у Николы Морского
Лежала в цветах нищета,
Смиренное чуждое слово
Светилось темно и сурово
На воске державного рта.

Но смысл его был непонятен,
А если понять – не сберечь,
И был он, как небыль, невнятен
И разве что – в трепете пятен
Вокруг оплывающих свеч.

И тень бездомовной гордыни
По черному Невскому льду,
По снежной Балтийской пустыне
И по Адриатике синей
Летела у всех на виду.

Хотел застрелиться из-за потерянной строки

Арсений Тарковский – известный переводчик. Блистательный мастер стихотворного перевода, он высоко оценен на этом поприще и критиками, и читателями. Одна из самых близких его сердцу работ и самая, пожалуй, значительная – перевод стихов выдающегося туркменского поэта XVIII века Махтумкули.

Тарковского пригласил Союз писателей Туркмении, и с осени 1946 по июнь 1947 года они с женой жили в Ашхабаде.

– Еще по подстрочникам, – вспоминает Татьяна Алексеевна, – которые, как известно, – лишь первоначальное «сырье» для переводчика, он поразился глубине мысли Махтумкули. Бегал по комнате, читал и все время приговаривал: «Ты только послушай».

Однажды был такой смешной эпизод. Арсений Александрович закончил перевод стихотворения «Скажите лжецам и глупцам», вскочил со стула и, радостный, возбужденный, в восторге упоения от самого себя, закричал: «Я, как Пушкин, готов кричать: „Ай да Арсик, ай да сукин сын! Мне тоже хочется скакать на одной ноге!“» – и прочитал мне стихотворение:

Скажите лжецам и глупцам:
Настало их подлое время.
Скажите безумным скупцам:
Казна – бесполезное бремя.

Он – в восторге, я – в восторге, но вдруг Арсений подходит к столу, хватается за голову: «Я застрелюсь, я утоплюсь!» – «Что такое?» – «Я пропустил одну строку». – «Ну так переведи ее!» – «Ее перевести нельзя». – «Почему?» – «Я использовал все имеющиеся рифмы: племя, стремя, бремя, время, семя, темя». – «Не может быть, чтобы в русском языке не было еще одной такой рифмы». – «Нет, больше нет, не успокаивай меня, я полон отчаяния».

Подхожу к столу, начинаю сравнивать с подстрочником. Где же пропущенная строка? Оказалось, все на месте, ему просто почудилось, что строка выпала, настолько он был возбужден.

Но любопытно другое: когда мы приехали в Москву и по словарю русских рифм проверили мои сомнения, оказалось, что прав был Арсений Александрович, действительно, подобных рифм больше нет в русском языке.

Александр Фадеев: «переводы Тарковского надо немедленно издать!»

Александр Фадеев взял перевод Махтумкули на прочтение и, спустя несколько дней, собрал секретариат Союза писателей, пригласив на него директоров издательств «Советский писатель» и Гослитиздат. Когда все собрались, он предложил Арсению Александровичу прочитать что-нибудь из сделанного в Ашхабаде, после чего безапелляционно произнес: «Я считаю, что эти переводы необходимо немедленно издать, причем сразу же в двух издательствах. Кто „за“?» Все подняли руки. И произведения Махтумкули, до того малоизвестные русскому читателю, сразу же стали популярными. А сегодня невозможно представить нашу литературу без замечательных творений одного из лучших поэтов Востока.

– Осенью 48-го года мы снова собрались в Ашхабад, – продолжает вспоминать Татьяна Алексеевна. – Вместе с нами должен был лететь один наш коллега. Мне почему-то хотелось добираться поездом, и я долго уговаривала Арсения Александровича и нашего товарища именно так и сделать. В конце концов мужа я сумела уговорить. Когда же мы прибыли в Ашхабад, нашему взору предстала страшная картина разрушительного землетрясения. Поезд приехал буквально перед самым последним толчком. Как потом выяснилось, наш коллега, прилетевший самолетом, погиб.

Из Туркмении Тарковские выехали в Каракалпакию, где поэту предложили перевести знаменитый эпос «Сорок девушек». О нем упоминается еще в сочинениях Геродота. В Нукусе хватили лиха. Время было трудное, страна оправлялась от военных невзгод. Жили в неуютной гостинице, без каких бы то ни было удобств. Двери не запирались, окна нараспашку, невдалеке выли шакалы. Еда самая скудная. Ко всему прочему, Арсений Александрович заболел малярией.

И все-таки работу свою он завершил. Это был еще один выдающийся переводческий вклад в дело дружбы литератур и народов нашей страны. При обсуждении в Союзе писателей СССР ученый-фольклорист Л. Климович заявил: «Нередко читаешь тот или иной эпос, и тянет ко сну, так вот почти впервые я прочитал до конца такую большую и увлекательную вещь». Это была высокая похвала мужественному труду замечательного переводчика.

«Твой сын, – несчастный и замученный Андрей Тарковский…»

И еще об одном обстоятельстве, связанном с жизнью и судьбой Арсения Тарковского, хотелось бы рассказать. Так случилось, что во время наших с ним встреч пришло сообщение, что во Франции, на чужбине, умер сын поэта, известный кинорежиссер Андрей Тарковский.

Отношения между сыном и отцом Тарковскими, двумя своеобразными художниками, всегда были теплыми, близкими. Сын тянулся к отцу, который со своей богатой жизненной и творческой биографией всегда был для него авторитетом. Он очень любил поэзию отца и не раз включал его стихи в свои фильмы. По воспоминаниям, режиссер Тарковский, верный своим творческим принципам, не давал отцу никаких поблажек, требовал максимальной отдачи. Так, одно из стихотворений, используемых в фильме «Зеркало», Арсений Александрович читал перед камерой 11 раз.

Нужно сказать, что тема отца и сына, отца и матери проходит через все фильмы Тарковского. А рядом с этой темой, вернее, сквозь нее, проходит другая – дума о Родине, об Отчем доме. Хорошо об этом сказал в печати литературный критик Игорь Золотусский:

«Человек, теряющий дом, покидающий дом, оторванный или отрывающийся от дома, становится голью перекатной, былинкой на ветру, его уносит в мировой океан, но и мировой океан также чувствителен к отступничеству, к отрыву от родительских гнезд. Вспомним финал „Соляриса“ – блудный сын на коленях перед отцом».

Мыслями о родном доме пронизаны и последние работы Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение».

В одну из наших встреч Татьяна Алексеевна вынесла из соседней комнаты и положила передо мной несколько исписанных страниц. «Вот, наконец, нашла, мы хотим, чтобы вы его прочитали…» Это было последнее письмо Андрея Арсеньевича отцу. Написал он его в ответ на послание Тарковского-старшего, в котором говорилось, что всякий художник, имея право на творческую свободу, осуществлять ее должен прежде всего на родной земле.

В марте 1982 года по официальной договоренности Андрей Тарковский выехал в Италию для работы над совместным итало-советским фильмом. Позднее срок поездки был продлен:

режиссер не успевал завершить задуманного.

Нелегко складывалась его творческая судьба на родине, нелегко было ему во многом и на чужбине.

Вот это письмо:

«Дорогой отец!

Мне очень грустно, что у тебя возникло чувство, будто бы я избрал роль „изгнанника“ и чуть ли не собираюсь бросить свою Россию… Я не знаю, кому выгодно таким образом толковать тяжелую ситуацию, в которой я оказался „благодаря“ многолетней травле начальством Госкино, и в частности Ермашом – его председателем.

Может быть, ты не подсчитывал, но ведь я из 20 с лишним лет работы в советском кино – около 17 был безнадежно безработным. Госкино не хотело, чтобы я работал! Меня травили все это время, и последней каплей был скандал в Каннах, где было сделано все, чтобы я не получил премии (я получил их целых три) за фильм „Ностальгия“».

Этот фильм я считаю в высшей степени патриотическим, и многие из тех мыслей, которые ты с горечью кидаешь мне с упреком, получили свое выражение в нем. Попроси у Ермаша разрешения посмотреть его, и все поймешь, и согласишься со мной.

Желание же начальства втоптать мои чувства в грязь означает безусловное и страстное желание, мечтание их отделаться от меня, избавиться от меня и моего творчества, которое им не нужно совершенно.

Когда на выставку Маяковского в связи с его двадцатилетней работой почти никто из его коллег не захотел прийти, поэт воспринял это как жесточайший и несправедливейший удар, и многие литературоведы считают это событие одной из главных причин, по которым он застрелился.

Когда же у меня был пятидесятилетний юбилей, не было не только выставки, не было даже объявления и поздравления в нашем кинематографическом журнале, что делается всегда и с каждым членом Союза кинематографистов.

Но даже эта мелочь – а их десятки, – унизительна для меня. Ты просто не в курсе дела.

Потом, я вовсе не собираюсь уезжать надолго. Я прошу у своего руководства паспорт для себя, Ларисы, Андрюши (жена и сын Андрея Тарковского. – *Ф. М.)* и его бабушки, с которыми мы смогли бы в течение трех лет жить за границей, с тем чтобы выполнить, вернее, воплотить мою заветную мечту: поставить оперу «Борис Годунов» в «Ковент Гарден» в Лондоне и «Гамлета» в кино. Недаром я написал свое письмо-просьбу в Госкино. Но до

сих пор не получил ответа.

Я уверен, что мое правительство даст мне разрешение и на эту работу, и на приезд сюда Андрюши с бабушкой, которых я не видел уже полтора года; я уверен, что правительство не станет настаивать на каком-либо другом антигуманном и несправедливом ответе в мой адрес.

Авторитет его настолько велик, что считать меня в теперешней ситуации вынуждающим кого-то на единственно возможный ответ просто смешно; у меня нет другого выхода: я не могу позволить унижать себя до крайней степени, и письмо мое – просьба, а не требование. Что же касается моих патриотических чувств, то смотри «Ностальгию» (если тебе ее покажут) для того, чтобы согласиться со мной в моих чувствах к своей стране.

Я уверен, что все кончится хорошо, я кончу здесь работу и вернусь очень скоро с Анной Семеновной, и Андреем, и Ларой в Москву, чтобы обнять тебя и всех наших, даже если я останусь (наверняка) в Москве без работы. Мне это не в новинку.

Я уверен, что мое правительство не откажет мне в моей скромной и естественной просьбе (в случае же невероятного – будет ужасный скандал. Не дай бог, я не хочу его, ты сам понимаешь). Я не диссидент, я художник, который внес свою лепту в сокровищницу славы советского кино. И не последний, как я догадываюсь (один бездарный критик, наученный начальством, запоздало назвал меня великим). И денег (валюты) я заработал своему государству больше многих.

Поэтому я не верю в несправедливое и бесчеловечное к себе отношение. Я же как остался советским художником, так им и буду, чего бы ни говорили сейчас виноватые, выталкивающие меня за границу.

Целую тебя крепко-крепко, желаю здоровья и сил.

До скорой встречи. Твой сын – несчастный и замученный Андрей Тарковский.

Лара тебе кланяется.

Рим. 16.IX.83.

Как известно, разрыв с родиной стал смертельным для Тарковского. Режиссер не готов был к вынужденной эмиграции. Оправдались слова отца о невозможности для художника творить в чужой стране.

Но время – хоть и безжалостная, но справедливая вещь. Оно все расставляет по своим местам. Многих имен знаменитых и почитаемых когда-то в Советском Союзе режиссеров ныне не помнят, зато имя Тарковского, как имена Достоевского и Чехова, в мире ассоциируется с Россией.

Его фильмы «Иваново детство», «Сталкер», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Ностальгия», «Жертвоприношение» – признанные шедевры мирового кинематографа. Великий шведский режиссер Ингмар Бергман назвал Тарковского режиссером, который сумел выразить то, что ему самому всегда хотелось, но не удавалось. Известны его слова: «Всю свою жизнь я стучался в дверь, ведущую в то пространство, где он движется с такой самоочевидной естественностью».

Стихи Арсения Тарковского давно стали неотъемлемой частью отечественной культуры.

27 мая 1989 года поэта, как и его сына Андрея, унесла смертельная болезнь.

Отпевали его в храме Преображения Господня в Переделкине…

Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру.
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово…

Глава 2. О Василе Быкове, Трава после нас

«…я простой, измотанный жизнью белорус…»

Творчество Василя Быкова еще долго будет вызывать интерес читателей. Его произведения, написанные, в основном, «про войну», сразу обжигают людское сердце, тревожат душу, заставляют думать, бередят память.

Мне очень хотелось повстречаться с писателем, поговорить с ним. Скромный, даже застенчивый, многозанятый общественными делами человек, не любящий суесловия, парадности, Василь Владимирович никак не мог выбрать время и настроение принять корреспондента. Тогда я послал ему телеграмму с вопросами, зная, что он приедет в Москву на пленум Союза писателей СССР.

МИНСК ТАНКОВАЯ УЛИЦА ДОМ ДЕСЯТЬ КВАРТИРА 132 ВАСИЛЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ БЫКОВУ ТЧК ПРОСИМ ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ОГОНЬКА ФЕЛИКСА МЕДВЕДЕВА ТЧК ПЕРВЫЙ НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ ЧТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИТАТЕЛИ КАК БЫ ПООСТЫЛИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ НА ВОЕННУЮ ТЕМУ ТЧК ЕСЛИ ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ ТО ЧЕМ ЭТО МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ТЧК…

Василь Быков

Мой неожиданный журналистский прием оказался удачным: Василь Владимирович письменно ответил на некоторые вопросы и передал их по приезде в Москву, потом мы встречались в гостинице «Россия», где он жил, и два дня просидели вместе на писательском форуме в Центральном доме литераторов и еще на лавочке в скверике Союза писателей СССР. Так появилось это интервью.

Москва, улица Воровского, 52. Союз писателей СССР, лавочка в сквере

– Не так давно в печати я с опаской предсказывал скорое наступление такого охлаждения. Дело в том, что мы давно и прочно привыкли существовать в ритме различных общественно-политических кампаний, которые с удивительно отрегулированным постоянством на протяжении десятилетий сменяют одна другую. Мы с шумом и упоением отпраздновали сорокалетие нашей победы в Великой Отечественной войне, когда, по-видимому, и произошло неизбежное перерасходование энергии почитания и восторгов. Наступил естественный спад – спад внимания, интереса к проблемам прошлой войны и литературы о ней. На многие, даже очень ценные вещи у нас нет твердого, устоявшегося взгляда, мы в значительной мере подвержены моде, кампаниям, постоянно жаждем новизны, эпатажа и, если их нет, очень скоро отворачиваемся к другим проблемам и сомнительным ценностям…

– В редакцию пришло письмо от женщины, которая не читает книг о войне, в которых герои умирают. Что вы думаете о таком читателе?

– Если не иметь в виду, быть может, какие-то особые личные обстоятельства в судьбе этой женщины, думаю, что она принадлежит к читателям определенного рода, которые сформулировали свое отношение к искусству как к комфортному мероприятию. Неважно, что должно приносить удовлетворение: роман ли, кинофильм или концерт. Если же произведение вызывает чувства другого плана, то оно считается плохим или каким-то не таким. Бог с ними, таких читателей немало и у нас, и за рубежом. Плохо, что в последнее время похожие мысли высказывают специалисты, критики, которые, уже после того как наша литература заговорила о негативных явлениях недавнего прошлого, почувствовали тоску и печаль по хорошим людям, по комфортным отношениям. Наверное, автору было бы приятнее написать о хороших людях, о хороших отношениях и доставить тем самым наслаждение читателю, но чего стоит такая литература, особенно в наше время? Литература, которая способна не разбудить, а усыпить. А разве в этом назначение искусства?

– Григорий Бакланов в недавнем интервью сказал, что, как показывает опыт, «самые значительные книги о войне написаны ее участниками». И это означает, что невоевавшие, то есть все те,

кому сегодня до пятидесяти, не должны браться за военную тему. Вы согласны с такой точкой зрения?

– Трудно не согласиться с Баклановым, хотя это мнение вряд ли понравится многим молодым писателям. Но в таких случаях в качестве оптимального выхода я указываю на пример молодой белорусской писательницы Светланы Алексиевич, родившейся после войны. Она не стала о войне сочинять небылиц, а с магнитофоном в руках пошла к воевавшим женщинам и записала сотни их исповедей-рассказов, из которых и создала книгу «У войны не детское лицо». Эта ее книга прозвучала свежо и искренне даже в белорусской литературе, в которой о войне, как известно, написано хорошо и немало. Потом появилась и новая книга Алексиевич – воспоминания подростков, переживших войну. Это ли не пример плодотворности данного метода для невоевавших, но обнаруживших свою приверженность теме войны? Следование же по другому пути – пути чистого воображения, сколь бы плодотворным оно ни было, не может застраховать от вторичности, приблизительности, эмоциональной упрощенности, особенно заметных в сравнении со столь мощно звучащими произведениями о войне, написанными ее непосредственными участниками.

– Василь Владимирович, по мнению некоторых критиков и писателей, именно вы наиболее естественно выражаете правду и сущность войны…

– Сам я так не считаю. Наоборот, я думаю, что именно другие авторы, особенно в русской литературе (Симонов, Смирнов, Бакланов, Бондарев, Воробьев, Крутилин, Астафьев, Адамович, Гусаров и др.), написали больше, а главное, лучше меня, начавшего позже и во многом так или иначе уже учитывавшего их опыт. Может быть, некоторая моя заслуга состоит в том, что я смелее пошел на упрощение и заострение отдельных характеров и положений там, где другие авторы стремились к большей художественности, романной основательности. Но еще неизвестно, кто в конце концов окажется в выигрыше, а кто в проигрыше, это определит лишь неумолимое время.

– Один из критиков в свое время обвинил вас в «ремаркизме». Вы не обиделись, не оскорбились? Как вообще вы воспринимаете критику в свой адрес? К сожалению, некоторые наши маститые писатели стали воспринимать даже незначительные критические замечания в свой адрес как личное оскорбление, почти навет.

– Разумеется, я обижался на многие несправедливые обвинения в свой адрес, но только не на этот укор. В то время я уже хорошо знал, что навешивание ярлыков и обвинение во всяческих «измах» – отработанный прием определенного толка

критиков, но что касается Ремарка и особенно его известного романа, то я слишком уважал этого автора, чтобы обидеться за причисление к его последователям. Ремарк – большой писатель-гуманист, пришедший к нашему читателю в благодатное для нас время и добротворно потревоживший своими образами наши вдруг посветлевшие головы.

– Есть правда о войне, выраженная в ваших книгах. Есть правда нашей истории, правда о сегодняшнем быстротекущем дне. Читатели воспринимают вас как яростного правдолюбца, честного, мужественного художника. Скажите, можно ли ожидать от вас книги, я бы сказал так, не о войне?

– В последнее время у меня все чаще появляется такое желание, для него, я думаю, в окружающем мире достаточно оснований. Но что касается недавнего прошлого и его поразительных проблем, то, будучи реалистом, не перестаешь сожалеть об отсутствии у тебя дарования бессмертного Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, своеобразный талант которого с таким блеском изображал всю степень алогичности многих общественных явлений, успешно просуществовавших до наших дней.

– На обелиске одной из братских могил под Кировоградом в списке погибших значится ваша фамилия. Случай уникальный для фронтовика, оставшегося в живых. Как это произошло?

– Зимой 44-го года в ночном бою под Кировоградом был разгромлен стрелковый батальон, в котором я служил. Место это на короткое время захватили немцы. Наши части были отброшены, батальон почти целиком подмяли немецкие танки, командир погиб, многие солдаты – тоже. Потом фашисты отошли, но начавшиеся в степи снегопады замели места боев и тела погибших. Хоронили убитых жители окрестных деревень только в марте, когда растаял снег. Наш фронт к тому времени был уже далеко, на Южном Буге. Поэтому всех погибших опознать не могли. У кого были документы, тех и опознали. А те, у кого документов не оказалось, остались безвестными. В деревне Большая Северинка захоронили в братской могиле около 150 человек, и далеко не все имена были установлены. Я же в том бою был ранен и после нескольких дней приключений попал в госпиталь Пятой танковой армии, то есть в госпиталь другой армии. На поле боя осталась моя полевая сумка, а в ней – мои документы. Таким образом, по штабным документам я числился убитым, поскольку в свою часть не вернулся.

– Я слышал, что вы ведете довольно аскетический образ жизни, что вы жесткий, сухой человек. Скажите, таким вас сделала война, переживания?

– В вашем вопросе до известной степени отразились наветы моих недоброжелателей. Вовсе я не аскет и не сухой человек, но вот я думаю, как глубоко был прав Джон Стейнбек, сказавший однажды: «Ужасное это дело – утрата безвестности». Наверное, всякому живому человеку, не только писателю, трудно бывает мириться с тем, что его жизненное, отпущенное ему судьбой время беззастенчиво транжирится, растаскивается, расхищается для вздорных, ненужных дел и мероприятий. Могильщик писательского времени – телефон – тиранит сверх всякой меры. Я стараюсь избегать хотя бы части его вздорных требований, но нередко сдаюсь, загнанный в угол многоопытными организаторами никому не нужных мероприятий, и, сидя где-нибудь на очередном заседании и уныло слушая пустопорожнюю болтовню упоенных собой краснобаев, горько упрекаю себя за бесхарактерность. Выкроить полдня тихого одиночества для работы становится все труднее в век безудержного бюрократического ускорения – кажется, самой безусловной реальности, ставшей уже бытом и бытием для многих.

– Вас тянет туда, где вы бывали в годы войны, где сражались, где прошла часть вашей молодости?

– Кое-где я побывал. В Венгрии, например. Места, конечно же, изменились, многое трудно узнать. Конечно, тянет туда, где воевал, где прошла часть молодости. Но я считаю, не надо стремиться на встречу с прошлым, потому что неизбежны разочарования. Потому что настоящее никак не соответствует образу, созданному в твоей памяти. И вы знаете, я понимаю, почему Марк Шагал, когда приезжал в Советский Союз, не посетил Витебск. Он, наверное, поступил правильно. Этот умный старый человек понимал, что он не отыщет того, чего нет. Ведь послевоенный Витебск – это совершенно изменившийся город. Хотя в нем есть дом и улочка, где жил Шагал, но это вовсе не значит, что именно такими они существовали в его памяти. Поэтому, чтобы не разрушать в себе дорогое, не надо заново искать его.

Кстати, уж коль я заговорил об этом великом художнике, замечу, что белорусская интеллигенция благодарна Андрею Вознесенскому, напечатавшему свой очерк о Шагале в «Огоньке» и в этом порыве опередившему любого из нас. Конечно, поначалу мы должны были написать о Шагале у нас в Белоруссии. Но у нас, к сожалению, до сих пор существует разброд по отношению к имени, к творческому наследию ныне всемирно известного художника. Снова повторяется прежняя, почти библейская истина: нет пророка в своем отечестве. Уходит из жизни художник, и мы постепенно, с оглядкой на что-то или кого-то

начинаем его признавать. Осенью я разговаривал с руководством Витебской области о создании музея Шагала, вроде бы возражений особых не было, но и дел конкретных тоже не видать.

– Василь Владимирович, не связано ли ваше пристрастие к Шагалу с тем, что на творческую стезю вы вступили поначалу как художник? Ваши биографы сообщают, что вы учились в художественном училище. Сохранились ли работы той давней поры? И еще – почему вы не сразу стали писать?

– Все дети имеют влечение к изображению мира в любой доступной форме. У меня же это началось со знакомства с одним человеком, приехавшим после гражданской войны откуда-то из Сибири в то местечко, где я тогда жил. Вместо обычного скарба он привез с собой предметы для художества, несколько картин. Его пейзажи были первыми в моей жизни «живыми творениями художника». Помню, что с особым удовольствием перелистывал я старые журналы с репродукциями картин известных мастеров. С детства меня влекло к рисованию. Но условий для развития дальнейшего интереса к этому не было.

А работы мои давние не сохранились. Во время войны я еще кое-что делал по рисовальной части. Но однажды сгорел «студебекер» с нашим солдатским имуществом, в том числе мой мешок, где был альбом с рисунками. С тех пор рисованием я не занимался.

– Не погиб ли в вас талантливый художник? Впрочем, считается, что талант в одиночку не ходит. Скажите, что заставило вас взять в руки перо? Вспомните об этом.

– Первый рассказ я написал на Курильских островах, где продолжал службу в первые послевоенные годы. Я, да и не только я, а многие из фронтовиков ничего о войне не читали и читать не хотели. Война была еще слишком жива в нашем сознании. Мы старались как можно скорее от нее отрешиться, прервать эту связь с прошлым. Но по прошествии некоторого времени я стал читать книги о войне, написанные писателями довольно известными, но останавливал себя на том, что эти рассказы о войне меня не удовлетворяют. Вот почему я попробовал из чисто полемических побуждений написать свой первый рассказ. Мне казалось, то, что я читал, никак не соответствовало моему личному опыту, как-то все было не так и не то. Потом еще и еще. Конечно же, они были слабыми, плохими. Пытался их напечатать, но из этого ничего не вышло. И на много лет я забросил попытки стать писателем. В 1955 году, демобилизовавшись, стал работать в газете, начал писать прозу и даже опубликовал первую книгу рассказов. Правда, это были юмористические рассказы. Позже написал несколько вещей на молодежную тему. И только в конце 50-х

прочно засел за военную тему.

Произведения Василя Быкова широко известны. Но далеко не все знают, что о самом писателе написаны монографии. В них, конечно же, есть и биографические сведения. Кое-что читатель, интересующийся творчеством Быкова, черпает из его статей и интервью с ним, которые, кстати, он давал не всегда охотно. Поэтому я расспрашивал Василя Владимировича о его детстве, семье, родителях. Спросил, есть ли у него дети и доволен ли он ими. Спросил о восприятии его творчества, его широкой, я бы сказал, мировой известности у него на родине, в Белоруссии. Последний вопрос в этой связи был таким: «Понимают ли ваши земляки, люди, с которыми вы встречаетесь, живете, из судеб которых черпаете материал для книг, понимают ли они значение литературы, писательского слова? Есть ли у них ощущение вашей необходимости? Или все-таки им важнее хлеб насущный…»

– Родители мои – крестьяне. С ними я жил до войны. Отец умер 25 лет назад, мать 3 года назад.

У меня два сына, один – военный, другой – врач. Доволен ли ими, трудно сказать. Потому что у родителей к детям отношение все-таки пристрастное. И поэтому трудно избежать крайностей, недооценки или переоценки их. Но я полагаю, что их жизнь – это их дело. Коль они выбрали для себя этот путь, им же отвечать за него. Я не вмешивался. Потому что знаю, что любой советчик всегда рискует. Рискует тем, что его совет может привести не туда, куда он хотел, куда надо бы, и тогда его совесть будут скрести кошки.

Известность ко мне пришла, может быть, в последние годы. Да я вообще думаю, что такие вещи, как известность, слава, простые люди не воспринимают. Я помню, как-то приезжал в родные края и там с одним дядькой мы ездили рыбу ловить на озеро. Я тогда в газете работал. Он спросил: «Я знаю, ты пишешь, ну а работаешь ты где?» Я говорю: «В редакции работаю». – «В редакции? Так ты пишешь там. А работаешь где же?» Вот какой состоялся разговор. Человек, который всю жизнь работал физически, не может понять, как это за то, что ты водишь перышком по бумаге, тебе еще и деньги платят. Это так, дескать, твоя блажь личная, а работа – это другое. Хлеб ты должен зарабатывать своими мускулами. Боюсь, что значение литературы в жизни народа все больше падает. Я вспоминаю годы своей юности, детства, когда книга была редкостью в деревне. И если она была, ее читали. Ее читали все: знакомые, родственники, товарищи, соседи. Читались все книги в библиотеках. Теперь же

другая обстановка. На селе в книжных магазинах – много книг. Мы недавно пережили книжный бум. Сейчас он вроде бы спал. Но даже во время бума, я думаю, покупали много, но читали не так много. И сейчас село обходится телевидением, из которого черпает всю информацию об окружающем мире. Читают мало в школах. Поскольку у нас вся классика экранизирована, школьники стараются обойтись без чтения книг. Это, конечно, плохо. Но какого-то выхода я здесь не вижу. Во всяком случае, в ближайшее время.

– Я понимаю, Василь Владимирович, что у вас есть свой читатель. Но вас никогда не посещает мысль, что может наступить такое время, что вообще люди перестанут читать? В том числе и ваши книги. Такое может случиться, как вы думаете?

– Вполне. Почему же нет. И об этом надо думать всем, кто причастен к книгоиздательской политике. С одной стороны, издатели не могут наводнять книжный рынок продукцией, которая не имеет спроса, не находит сбыта. Это было бы противоестественно экономически и, наверно, морально тоже. Но, с другой стороны, издатели не должны потакать современному массовому вкусу. Если идти по этому направлению, как на Западе, тогда литература превратится в китч, псевдолитература будет иметь наибольшее распространение. Потому что, как ни странно, за многие десятилетия нашего культурного строительства культурный уровень массового читателя не очень-то поднялся. К сожалению, мы продолжаем насаждать произведения, которые никак этих усилий не достойны.

– Сейчас публикуются произведения, которые по разным обстоятельствам долго не выходили к читателю. Но раздаются голоса, в том числе и среди писателей: зачем такие вещи печатать, зачем заниматься литературным некрофильством. Что вы думаете об этом?

– То, что публикуются вещи «из стола», абсолютно правильно. Более того, было бы просто преступно игнорировать и дальше то хорошее, что было в нашей литературе. Неужели людям непонятно, что хотя бы во имя справедливости это надо сделать. Потому что на многие десятилетия читатели были вышиблены из круга российской словесности по разным причинам. Одно время не издавали Есенина, другое – совершенно эпохальные вещи Бунина. Если бы продолжалась эта линия, какие бы невосполнимые потери понесла наша словесность! У нас есть довольно старый обычай: очень уважать мертвых. Пока человек жив, его могут не издавать, третировать, но после смерти вдруг обнаруживается, какой, оказывается, жил замечательный художник. Это относится к тому же Шукшину. Многие помнят, с

каким восторгом были встречены первые рассказы Шукшина, печатавшиеся в «Новом мире», в «Октябре», потом – полоса отчуждения. А теперь, когда его нет с нами, опять начинаем гореть любовью к его творчеству.

Так вот, я считаю, что совершенно правильно «Огонек» публикует поэтическую антологию, которую ведет Евгений Евтушенко. Я считаю, что это нужно продолжать и, может быть, давать материал даже шире, полнее. Надо понять, что, возможно, тот или иной поэт был не очень большого дарования, но он был, жил в свое время, что-то значил, и разве можно его начисто вычеркнуть из литературы? Это несправедливо. Тем более, уж если это касается таких величин, как Гумилев, Ходасевич, Мандельштам, – крупнейших поэтов начала века.

– Не оригинальный, но злободневно важный вопрос: что вы думаете о перестройке?

– Я думаю, что какие-то конкретные изменения ждут нас впереди. Все новые веяния, тенденции доходят до глубинки с большим опозданием. Вот я на днях был в одном районе, разговаривал с первым секретарем райкома. Он говорит: «Что делать? На почве в ночное время заморозки. Кукуруза, посеянная в такую почву, непременно погибнет. Ее нужно будет пересевать. Но из области установка: закончить сев к такому-то числу. И это не только установка, а требование отчета о количестве засеянного. Да еще за каждый день. Что делать?» Я ему говорю: «Так вы же имеете право сослаться на известные постановления по этому вопросу, давшие вам свободу действий». – «Право-то правом, а к такому-то числу сев должен быть закончен». Вот вам пример. Значит, по-прежнему, как и десять, и двадцать, и сорок, и пятьдесят лет назад, продолжается одно и то же. Сильный, волевой нажим, определенные железные сроки, и ни дня позже, не считаясь ни со здравым смыслом, ни с погодными условиями.

– В последнее время появились мнения вот о чем: не перебираем ли, дескать, мы через край с гласностью, не слишком ли обнажаем наши раны, затянувшиеся и свежие?

– Я почти явственно вижу лица людей, выражающих подобное мнение, хорошо знаю их по годам «застойного» времени, они немало «потрудились», чтобы сделать его почти необратимо застойным. Застой, неподвижность, окаменелость в теории и на практике – это их родная стихия, так неожиданно порушенная ныне ветром гласности. Если разобраться и трезво оценить наши трудности в деле перестройки, то, наверное, обнаружится, что самое сложное в ней – именно преодоление махровой природы бюрократизма, упрямо цепляющегося за отработанные до высокого совершенства приемчики прошлого, главным из которых

является пресловутое «не пущать».

В течение последнего времени мне пришлось многое наблюдать на примере судьбы одного из самых энергичных поборников перестройки, человека с международным авторитетом, писателя-публициста, активного борца за мир и взаимопонимание между народами, всем известного Алеся Адамовича. Его активность во всех отношениях недешево ему стоила, отобрала массу физических и душевных сил, и вот все кончилось мелкой, но чувствительной для него местью: недопущением на очередной форум в США, куда он был приглашен с группой советских ученых. Чиновники из Академии наук БССР отказали ему в оформлении выездных документов под тем предлогом, что он слишком часто ездит и много выступает. Они уже регламентируют участие в перестройке, по-видимому, составляя графики неучастия в ней. Они сами молчат годами и того же добиваются от других, жадно дожидаясь момента, когда раздастся трубный голос отбоя, прекратится «разгул демократии» и, как они говорят, все войдет в привычные берега мертвечины и сонного, однако такого комфортного для них благополучия. И еще. Если благородные идеи перестройки нашли в чем-либо свое наибольшее проявление, так это действительно в бурно развернувшейся гласности, пожалуй, достигшей в стране своей высшей отметки. Наша журналистика (внутренняя, конечно, международная отстает от нее пока на десятилетия) неожиданно и прямо-таки самоотверженно вырвалась в авангард гласности и вскрыла столько заботливо взлелеянных бюрократией социальных язв, развернула такую борьбу за правду и справедливость, что если даже она ничего больше не сделает, то оставит о себе память на десятилетия.

В то же время, оценивая общий ход гласности, нельзя не заметить, что в последнее время появились признаки некоторой ее пробуксовки; накопление количества не всегда приводит к качественным изменениям, забрезжила опасность девальвации слов, правильных и нужных по существу, но не подкрепленных конкретными делами, что угрожает закончиться тривиальной говорильней. Последнее было бы весьма сожалительно, если не катастрофично для всего сложного и безмерно трудного дела перестройки.

– Я слышал такую легенду о Фолкнере. Когда он умер, в доме, где он жил, обнаружили комнату, почти сплошь заваленную письмами читателей. Писатель не любил переписки. А вы, Василь Владимирович, отвечаете на письма или они вас не волнуют?

– Стараюсь отвечать, но не всегда могу это сделать. Особенно это относится не столько к письмам, сколько к бесконечной

веренице бандеролей с рукописями, авторы которых напрасно полагают, что стоит известному писателю позвонить или написать «куда следует», и их рукопись тут же будет запущена в производство. Но есть письма, на которые не ответить невозможно, хотя по существу, отвечать надо бы не мне, а кому-либо другому, кто имеет власти больше, чем писатель. Но дело в том, что писатель в нашей стране по давней, не нами заведенной традиции в какой-то мере все-таки продолжает оставаться народным трибуном, своеобразным адвокатом народа, к которому обращаются люди, когда все другие возможности исчерпаны и больше обратиться не к кому. Пишут не только жалобы, не только по личным вопросам – государственные проблемы волнуют ныне не в меньшей степени.

С Василем Быковым

Я сказал Быкову, что однажды выдающегося американского писателя Уильяма Сарояна спросили: может ли исчерпаться материал для творчества? Сароян ответил: нет, не может, ибо материал – это я сам. Пока я жив, мне будет достаточно материала для книг. Василь Владимирович прокомментировал этот разговор следующим образом: «Сароян, как известно, большой художник нашего времени, и в таком качестве он сказал сущую правду. Как всякий реалист, он черпает свой материал из окружающего мира, но не меньший мир заключен в нем самом, для его выражения не надобно ничего больше, кроме самого себя и своего дарования».

А мне подумалось, что Василь Быков мог бы это же самое

сказать и о себе. Во всяком случае, как кажется, материала, пережитого и перечувствованного им на войне (настолько он богат, многогранен, трагичен и гуманистичен), в нем, в человеке и художнике, предостаточно. Об этом говорят и все новые и новые произведения, связанные с войной, и последние из них – «Знак беды», «Карьер», «В тумане», ставшие значительными достижениями современной литературы.

– Вы человек, не раз смотревший в глаза смерти. Скажите, о чем сегодня должен писать художник, чтобы помочь спасти мир от разрушения, от гибели? Или важнее не о чем писать, а как?

– На этот вопрос недавно хорошо ответил все тот же Алесь Адамович, выдвинувший в качестве гипотетического императива нашего времени появление так называемой сверхлитературы. Правда, его тут же оспорили и, конечно, зря, потому что неверно поняли сам термин, истолковав его как призыв к чему-то ирреальному, небывалому в искусстве. Адамович же имел в виду вовсе не новый стиль или жанр, но – новое качество. Он подразумевал под этим вполне реалистическую литературу, но литературу очень высокого гуманистического звучания – такую, которая в наше время, чреватое гибелью всего человеческого рода, сквозь потоки полуправды, лжи и прямого одурачивания миллионов пробилась бы к сознанию человечества, вынудив его остановиться у последней черты. Не знаю, как Адамович, но я склонен считать, что из произведений последних лет романы Чингиза Айтматова и Владимира Дудинцева приближаются к литературе такого рода, и в этом, несомненно, обнадеживающий знак для литературы будущего.

– Из одного интервью с вами я узнал, что вам близок по духу французский писатель-экзистенциалист Камю. Мне такое признание показалось интересным. Не могли бы вы подробнее пояснить, на чем основана эта близость?

– Не то чтобы близок. Ведь, как известно, Камю причисляют к экзистенциалистам, хотя сам он всячески это отрицал. Но в данном случае не так важно, что думает о себе автор. Все-таки он принадлежит к этому течению, что общепринято. Самое главное – произведения писателя. Наше время сложно во всех отношениях. Сложность этого времени, его драматизм и трагизм Камю чувствовал, может быть, лучше других. И он создал, наверное, одно из лучших произведений нашего века – роман «Чума». Роман этот, конечно, при внимательном чтении отвечает на многие вопросы, которые стояли до нас и которые, наверное, останутся и после нас. Я теперь очень понимаю Твардовского, который когда-то говорил и писал, что «Чума» Камю является евангелием

XX века. Это совершенно справедливо. Потому что в условиях беспросветных и безнадежных, в которые нас поставила научно-техническая революция, термоядерная эпоха, человеку не остается выбора. Он может только или оставаться человеком, или перестать существовать. Так вот, со всей категоричностью, я думаю, очень убедительно Камю в своей «Чуме» показывает, что значит быть человеком в этих условиях.

– Ваши творческие принципы, кредо?

– Следование правде жизни – жесткой, нелицеприятной, грязной или чистой, прекрасной или уродливой – такой, какой она существует во всех ее взаимосвязях и проявлениях. У искусства есть лишь один способ добиться позитивного изменения в обществе – это показать общество таким, каким оно является на деле. Многолетний опыт развития нашей литературы красноречиво свидетельствует, что самым старательным образом сконструированный так называемый положительный герой не способен научить ничему ровным счетом, разве что доставит несколько комфортных минут читательскому сознанию, и все благие намерения автора повиснут в воздухе. Лишь показывая человеку его истинное лицо, можно понадеяться на какие-то более или менее результативные импульсы с его стороны.

– Скажите, вы, как человек нелегкой и жизненной, и писательской судьбы, ощущаете правоту своего дела, правоту вашего таланта?

– В моей биографии нет ничего необычного или сколько-нибудь примечательного – обычная биография человека моего поколения, юность которого совпала с годами кровавой войны, затем пошли годы армейской службы, работы. Я, может быть, счастлив лишь тем, что первые пробы пера, как и вхождение в большую литературу, счастливо совпали с наступлением благоприятственной атмосферы, вызванной решениями известных партийных съездов, очень благотворно повлиявших на литературную судьбу многих.

О правоте? Вы знаете, естественно, в том деле, которым я занимаюсь, хотел бы оказаться правым. Если не перед лицом истории, то хотя бы в глазах моего изрядно прореженного войной поколения.

– У писателей фронтового поколения, таких как Астафьев, Бакланов, Бондарев, издано по четыре тома собрания сочинений. У вас тоже. Много это или мало?

– Я работаю немного. Не каждый день. Между повестями у меня всегда какие-то промежутки. Иногда они затягиваются на год-два. Иногда меньше. Можно интенсивнее работать. Но, с другой стороны, зачем? По крайней мере, «ни дня без строчки» –

это не мой девиз. Я полагаю, что надо писать тогда, когда повесть или роман в значительной мере созреет в душе и потребует своего выхода. Если заранее этого не ощутил, то нечего торопиться. Обычно в таких случаях потом все приходится переделывать.

– Как вы считаете, может ли человек сжечь себя в искусстве, сгореть в пламени всепожирающего творческого подвига?

– В наше время вряд ли. Современный человек сверх меры трезв и рационалистичен для того, чтобы позволить своему таланту сжечь себя без остатка, игнорируя свое привередливое, капризное эго.

– Самое сильное потрясение вашей жизни: встреча, событие, чья-то книга, чей-то поступок?

– Самое большое потрясение, я думаю, ждет меня, как, впрочем, и все человечество, впереди: это успех или неуспех нашей перестройки. При любом исходе тут не избежать потрясения положительного или отрицательного свойства, потому что слишком много на нее поставлено.

– Однажды я по-журналистски позавидовал Татьяне Земсковой, задавшей Валентину Распутину прямо в лоб такой категоричный вопрос: вы большой писатель? Так вот, я от многих слышал суждение, что Быков по-настоящему большой писатель нашего времени. В частности, так мне говорил Вениамин Александрович Каверин. Простите, но… вы – большой писатель?

– Если мерить провинциальными масштабами, то тут я, наверное, лишь чуточку больше некоторых, но если иметь в виду Льва Толстого или Достоевского, то – увы…

– Ощущаете ли вы, что годы бегут, что вам седьмой десяток, что многих друзей вы уже потеряли, что жизнь прожить – действительно не поле перейти?

– В последние годы я все чаще стал ощущать, что мне далеко уже не двадцать, – большей частью, разумеется, в физическом смысле. Кроме того, пришло явственное осознание безмерной наивности молодых лет по отношению ко многим явлениям жизни. Наверное, в этом и заключается некоторый признак поумнения. И постарения тоже…

Некоторым образом, я был счастлив тем, что встречался, общался, может быть, даже дружил с очень хорошими людьми, которые и память о себе оставили хорошую. Теперь казнюсь, что мало с ними общался. Многих мог бы назвать. Твардовского, Сергея Сергеевича Смирнова, который был прекрасным человеком, немало сделавшим после войны для ветеранов. С большой нежностью и горестью вспоминаю Кайсына Кулиева, поэта, замечательного человека. Жаль, что мы редко виделись, я –

человек сдержанный, а Кайсын Кулиев был весь распахнут навстречу, и все его добрые чувства проявлялись сразу. Сейчас чувствую, что надо бы больше дорожить людьми, хорошими людьми, их добрыми чувствами. Чтобы не сожалеть потом, что мало успел сказать им добрых слов. Помните, у Вяземского: «Она себя лишь любит в мире, а там хоть не расти трава…»? Все-таки жизнь слишком коротка, и надо думать о добре. Не себя любить, а ближнего своего, человека любить. Чтобы потом, после всего, после тебя взошла на земле зеленая трава памяти. Трава после нас.

Май *1987*

Василь Быков умер 22 июня 2003 года.

В 1998 году писатель, выступавший с резкой критикой режима Лукашенко, вынужден был уехать из Минска. По приглашению ПЕН-клуба Финляндии полтора года он прожил в Хельсинки, в 2000 году переехал в Германию. Дети и внуки его книжных героев – немецких фашистов – предоставили писателю-фронтовику, всю жизнь писавшему о войне, не только политическое убежище, но и возможность жить и работать. В эмиграции написал несколько военных рассказов и притч, повесть «Волчья яма», посвященную последствиям чернобыльской катастрофы, как всегда у Быкова, прежде всего нравственным. Из Германии перебрался в Прагу. За месяц до кончины вернулся на родину.

Из последнего интервью Василя Быкова:

– Вы по-прежнему остаетесь политическим изгнанником…

– Я вынужденно живу за границей. Режим, который создался у меня дома, не дает мне жить и работать там. Как можно жить в стране, где действуют «эскадроны смерти»? Они созданы правительственными структурами и уничтожают людей. Прежде всего, конечно, пропадают те, кто находится в оппозиции власти. Естественно, средства массовой информации России об этом говорят сквозь зубы.

– Белорусская власть не пыталась купить вас?

– Не проходило и недели, чтобы эта власть руками своих или российских писак не поливала меня грязью, не компрометировала, не пыталась изничтожить. Поэтому, о какой купле может идти речь? Заключенного концлагеря не покупают – его истребляют. Думаю, что для подобных режимов известность тогда в цене, когда художник служит власти, обслуживает ее интересы. В других же случаях человека просто передают полицейскому ведомству, и ему уже приходится бороться не за

интересы общества или во имя какой-то идеи, а лишь за свою возможность элементарно выжить.

«Я не лидер и не „совесть нации“, я простой, измотанный жизнью белорус, который хочет одного – остаться честным», – так написал Василь Быков в последней своей биографической повести «Долгая дорога домой».

Глава 3. Соблазн и шок по Сан-Лорану

Его имя – легкое и изящное, как стремительный полет лани. Его жизнь – сказка. Его творения – легендарны. Возможно, как никто другой на свете, он понимал женщину. Чувствовал ее. Жил для нее. Он нашел в себе дерзость сказать: «Я придумал ее прошлое, подарил ей будущее, и так будет даже после моей смерти». Ив Сен-Лоран… Непревзойденный король высокой моды. Признанный мэтр дизайна женской одежды. Великий кутюрье Франции. Соблазнитель миллионов сердец. Одежда из его коллекций признана самой дорогой в мире. Он одевал Катрин Денев и Клаудиа Кардинале, Софи Лорен и Изабель Аджани, Майю Плисецкую и принцессу Диану. Его модели, и это исключительный случай, при жизни, еще в 1983 году, были выставлены как музейные экспонаты в Нью-Йорке. Его марка – это огромная империя, шагнувшая уже и в Россию.

В своем деле Ив Сен-Лоран всегда был первопроходцем. Он поражал публику тем, что открывал новое, неизведанное. Понятие проторенных дорог для него не существовало. Он первым вывел на подиум прозрачность, доказал, что стиль сафари – изящен, как мечта об охоте на леопарда. Он ввел в женский гардероб смокинг и, вопреки всем канонам академизма, создал «платье-поп», шелковую пижаму, пальто из ковровой ткани, «платье-шар», «платьерок», «плащ-змею». Он разработал основу, которая уже десятки лет присутствует в коллекциях модельеров: блайзер, бушлат, матроски, плащи, брючный костюм. Единственное, что он не придумал – и очень об этом сожалел, – так это джинсы. Мэтр моды ненавидел каноны и ограничения, его приводила в ужас сама мысль о том, что женщина в его одеждах будет чувствовать себя скованной.

И всему этому Ив Сен-Лоран отдал 40 лет творческой жизни, этот юбилей праздновался всей Францией целых 12 месяцев. Его мама, Люсьен Матье Сен-Лоран, сказала: «Молодость моего сына резко оборвалась в 1957 году». Тогда, после смерти Диора, он, еще почти юноша, был признан наследником великого мастера моды, самым молодым на свете кутюрье.

При своей мировой славе и всевозможных почетных титулах и званиях Сен-Лоран был скромен и застенчив. Он жил почти замкнутой жизнью, не читая газет и лишь изредка включая телевизор. Он все больше и больше ощущал одиночество и все реже старался выходить на улицу. Он боялся внешнего мира,

людей, толпы. «Я чувствую себя хорошо лишь дома, с собакой, карандашом и бумагой». Одиночество неугомонных гениев – это их крест. Мало что известно о личной жизни короля моды, ведь он не посещал светских раутов. Слухи ходят разные, один экстравагантнее другого. От причастности мэтра к «голубому» племени до какой-то в молодости сумасшедше-разнесчастной любви, не отвратившей, однако, его таланта от служения прекрасному полу. Знатоки утверждают, что некоторые модели Сен-Лорана будут актуальны всегда, пока будет существовать мода.

А между тем, еще не так давно, что слышали мы, потребители изделий «Большевички» и «Скорохода», о божественном Сен-Лоране?! Разве что любителям поэзии были знакомы строчки Андрея Вознесенского:

Когда ты одета лишь в запах сеновала,
то щедрее это платьев Сен-Лорана…

А ведь великий кутюрье так доверительно произнес: «Между улицей и мной существует настоящая любовь…»

Я разговаривал с Ив Сен-Лораном дважды: в мастерской художника Ильи Глазунова, когда мэтр приезжал в Москву, и в Париже – в Доме моды на авеню Марсо, в одной из его резиденций. Он запомнился мне задумчивым, усталым, отрешенным человеком, одетым в неброский костюм, общавшимся безо всякого вызова и апломба. Но передо мной был величайший революционер XX века, гордость Франции, кумир миллионов.

«Моя работа – не искусство, максимум – ремесло…»

– Господин Сен-Лоран, некоторые на Западе думают, что русская мода, как и десятки лет назад – неуклюжие валенки, лагерная телогрейка и буденовка с железной звездой на околыше. Знают ли в мире нашу моду, какие известны имена российских дизайнеров, правда ли, что Валентин Юдашкин знаменит в Париже?

– Мне кажется, вы зря сомневаетесь. Русские модельеры всегда были на слуху у модниц, а иные совершали открытия в мире одежды, стиля, театрального костюма. Я, например, многим обязан вашему Сергею Дягилеву, который широко известен во Франции, в Париже, где есть даже площадь его имени. Я не уверен, что в Москве есть улица или площадь, скажем, Коко Шанель или замечательного русского художника Эрте[4], прославленного у нас. Так вот, я многому научился у Дягилева. Конечно, он жил до меня и я не мог застать его потрясающих Русских сезонов в Париже, говорят, что это были праздники подлинного искусства, праздники такта и вкуса. Они потрясали современников.

Вообще русское искусство удивительно… Меня увлекает создание костюмов для литературных героев, в том числе и для героев русской литературы – Анны Карениной или Наташи Ростовой. Нередко так случается, что знакомство с тем или иным романом дает мне идеи для будущей коллекции одежды. Когда-то я создал серию «Русский балет», в основе которой лежит музыка композитора вашей страны. Я шил платья для Лили Брик, легендарной музы Маяковского.

– Мне неловко об этом спрашивать, я не понимаю многого из того, как создается раритетная одежда, но, скажите, все ваши платья, костюмы, рубашки – это штучный товар, это все делается вручную до последнего стежка? Если это так, тогда служащие ваших ателье – тоже в своем роде творцы. Любопытно, сколько вы им платите?

Мэтр улыбнулся наивности вопроса и, видимо, чтобы меня не обидеть, ответ начал издалека:

– Мои одежды современны и демократичны. Я их придумываю, но создают их и другие люди, их множество, и все они в какой-то мере творцы. Но главное здесь – чтобы я был удовлетворен результатами общей работы. Я чувствую себя хорошо только тогда, когда все идет хорошо в моих делах, но

никогда ничем до конца не бываю доволен. Мне помогают мои портнихи, которые стараются выполнить свою работу на отлично, угодить мне и получить собственное творческое удовлетворение. Да, вначале делается ручная часть пошива одежды, потом машинистки на станках и днем, и ночью продолжают работу. Ничего не могу с собой поделать, но часто мне не нравится то, что выходит из-под их рук. И я заставляю их все уничтожить и снова и снова работать даже над тем, во что сам не верю. И если бы я не был искренним в своих поисках, в стремлении к лучшему, к совершенному, эти женщины презирали бы меня. Но они чувствуют мою ответственность за нашу общую работу, за которую, кстати, они получают вполне достойные деньги.

– Господин Сен-Лоран, мне кажется, что вы везучий человек. Вам везло на знакомство и дружбу с выдающимися людьми своего времени. Не стану их перечислять, это был бы длинный список. Но вот одно только имя – бессмертный Кристиан Диор. В моем представлении, если вы – знаменитый король моды, то Диор – ее *Бог. Я вас не обидел?*

– Ну что вы, что вы, по сравнению с великим Диором, который перевернул все представления о красоте одежды и функции моды, мы – его способные или не совсем способные ученики. Моя работа с Диором была для меня равносильна свалившемуся чуду. Он был и впрямь живым Богом, которым я бесконечно восхищался. Он сумел создать уникальные мастерские, он окружил себя исключительно исключительными людьми. А это, знаю по себе, очень непросто. Иногда кажется, что невыполнимо. Кристиан Диор был гениальным учителем. Я обязан ему значительной частью своей жизни, своих успехов.

– После смерти великого модельера в 1957 году вас стали считать его преемником. Так что вы – скромный человек, господин Сен-Лоран.

– Спасибо, но иные считают меня и впрямь скромным и незаметным человеком. Но я горжусь тем, что уже в 1958 году показал свою первую коллекцию в Доме моды Диора.

– Силуэт «трапеция», придуманный вами, имел тогда огромный успех у поклонников радикальной моды, вы сразу же революционизировали французское моделирование.

– Я был доволен, что моя первая выставка имела успех, это послужило толчком, трамплином для будущего творчества. И все под знаком великого моего учителя.

– Ваша работа – это искусство или нечто иное, более приземленное?

– Нет, моя работа – не искусство. Максимум – ремесло, художественная профессия.

– Но, с одной стороны, пошив платья или брюк – это вроде бы производство, машинки, станки, иголки, выбор материала, а с другой – вы же из этого сора, как говорила наша Анна Ахматова, создаете поэзию, произведение искусства. Так, где же истина? Мне все-таки кажется, что вы – творец, создатель, гений, а все остальное – только наиболее приближенное к вашему замыслу воплощение.

– Но я не могу принижать всех, кто создает красоту. Да, мне в голову приходят всякие идеи, но от замысла до его полного воплощения проходит время, недели, месяцы, годы. И модель обдумывается, совершенствуется, изменяется только при совместной работе.

– Еще в 1967 году вы заявили, что хотите найти для женщин одежду, столь же удобную, элегантную и функциональную, что и мужской костюм. Вы можете сегодня подтвердить, что ваша мечта сбылась и женщины, которые предпочитают одеваться по сен-лорановски, стали свободными, красивыми и раскрепощенными?

– Но именно тогда же я заявил и другое: красота сама по себе не представляет для меня никакого интереса. Для меня важен соблазн, натиск, если хотите, шок. Шок в свободе, во вроде бы кажущейся привычной неожиданности женского тела. Я придаю больше значения жесту, нежели взгляду; силуэту, нежели ярко очерченным и, наверное, соблазнительным губам. Мне всегда хотелось, чтобы звучал колорит, а не цвет. Для меня важнее многого в одежде для женщины – мечта о ней и ее мечта о других.

– Этот вопрос из разряда банальных детских игр или же из дежурно-кокетливого ассортимента репортерских вопросов к кумиру. Но обращенный именно к вам, он не звучит риторически. Ваш любимый цвет?

– Что же, я люблю черный цвет. Это видно по моим моделям. Да, черный цвет – это моя власть, мое убежище.

– Глядя на эскизы сфантазированных вами одежд, мне кажется, что главное для вас – не рисунок как рисунок, где заметно художественное несовершенство, а нечто иное…

– Да, да, вы правильно заметили, я ведь не учился в художественной школе, я чувствую, что рисую неважно, для меня главное – полет фантазии, а в нем выразительность.

– Любопытно, какой главный урок вы извлекли из общения с вашими великими предшественниками по ремеслу? Скажем, чему вас научила Коко Шанель?

– Ее советы просты, но гениальны! Она всегда говорила о том, чтобы мы, мужчины-модельеры, не забывали, что внутри платья находится женщина.

– Хотите, я вам напомню о вашем представлении идеально одетой женщины примерно двадцатилетней давности: черный свитер или кофточка и черная юбка, зеленый муслиновый шарф вокруг шеи, браслеты на руках, черные чулки и туфли. А как сегодня вам видится прекрасная француженка?

– О, с той поры многое изменилось, и я тоже. Я так много думал о женских нарядах и так много раз менял свои представления о женщине внутри платья, что кажется, меняя силуэты, спешил лишь за одной жизнью. Впрочем, если говорить о женщине русской, то на свадьбу дочери вашего Славы Ростроповича мое ателье пошило старинную русскую одежду: сарафан, кокошник и ленты в волосах, украшенные драгоценностями.

1987, Москва

2000, Париж

P.S. 1 июня 2008 Франция потеряла выдающегося мастера моды, автора коллекций, во многом сформировавших стиль XX столетия.

Ив Сен-Лоран скончался на 72-м году после тяжелой болезни в своей резиденции в Париже. Прах великого кутюрье по завещанию был развеян в одном из его любимых мест – ботаническом саду виллы Мажорель в Марракеше (Марокко).

Глава 4. Габриэль Гарсиа Маркес в журнале «Огонек»

«В момент истины человек одинок»

– Сколько человек будет участвовать в беседе? – спросил меня Габриэль Гарсиа Маркес, протягивая руку мексиканскому послу.

– Двое, – сказал я, – главный редактор журнала и корреспондент отдела литературы.

Виртуозы Владимира Спивакова настраивали свои инструменты, от обилия звезд и знаменитостей со всего света кружилась голова, в мраморном зале Центрального дома кино было вавилонское столпотворение…

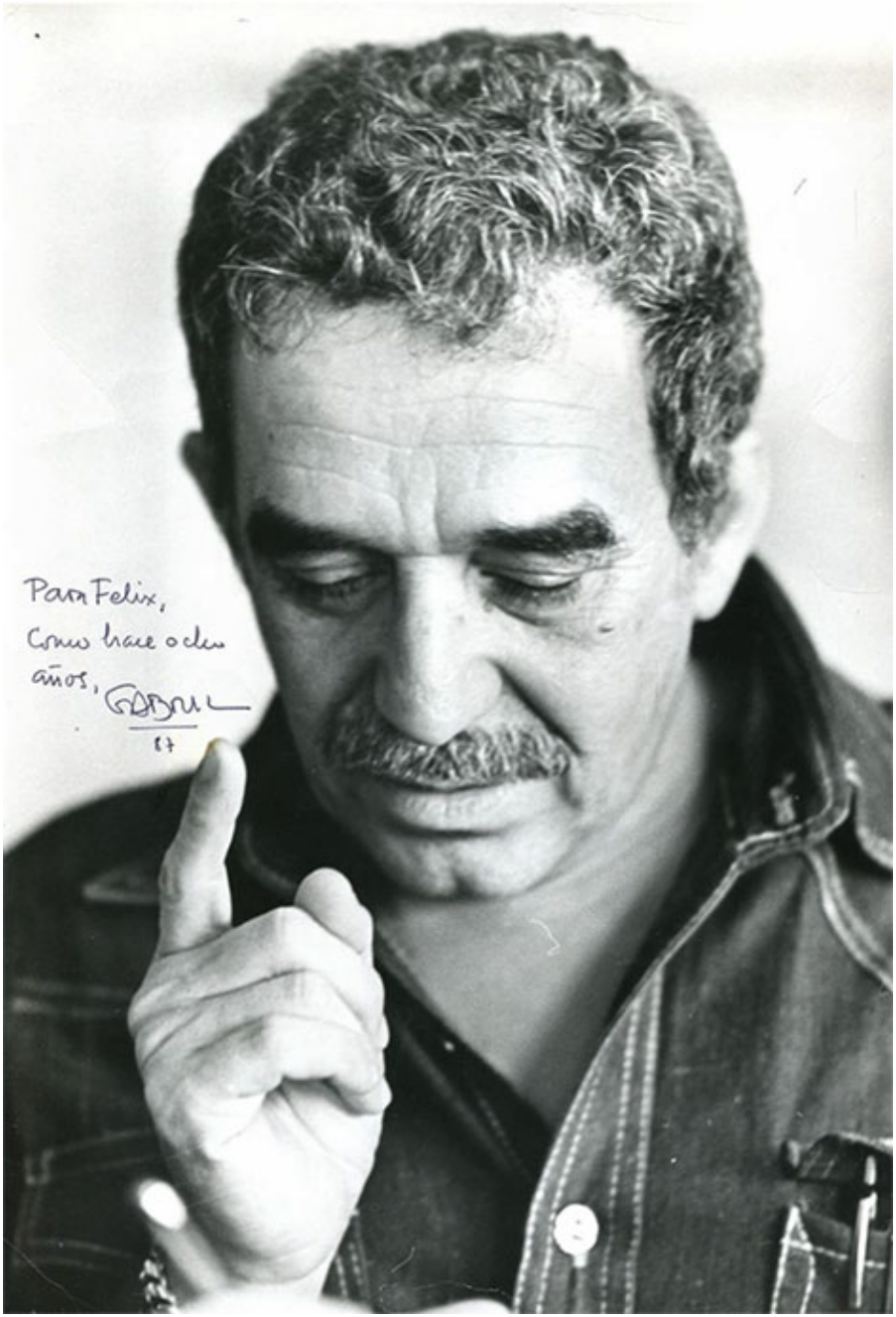
– Мало…

– Тогда мы можем пригласить на встречу всю редакцию – около ста сотрудников.

Маркес на секунду задумался и решительно заключил:

– Десять человек.

Вместе с переводчицей Мариной Акоповой мы подсчитали, что за время пребывания в Москве в качестве гостя Московского кинофестиваля Габриэль Гарсиа Маркес дал около 75 интервью. Это при том, что интервью он давал неохотно и журналистов недолюбливал, сетуя, что никак не может понять одного: почему журналисты всех стран мира договорились задавать одни и те же вопросы. Он уже устал на них отвечать.



Габриэль Гарсиа Маркес

Я заметил, что каждый приезд всемирно известного колумбийского писателя в Советский Союз был окутан тайной. Вполне могло случиться, что тебя официально известят: «Маркес в Москве». На самом же деле он преспокойненько пребывает в эту минуту где-нибудь в Барселоне или на Кубе. А бывало и

наоборот: звонишь в Союз писателей: «Я слышал, что в Москву приехал Маркес…», ответ: «Нам об этом ничего не известно». Это Союзу-то писателей. Выясняешь: действительно, Маркес пьет кофе в гостинице «Россия» на 17-м, его любимом, этаже и в Москву он приехал по линии Союза кинематографистов.

Вот и на этот раз, как рассказали мне, Маркес сам купил в Париже билет, и только тогда в Москву пошла телефонограмма о точном времени его прилета.

Вспоминаю о встрече с писателем в 1981 году, когда он также был гостем Московского кинофестиваля. Интервью, которое мне поручили взять для «Огонька», не получилось: я ходил возле Маркеса кругами, слушал его разговоры с другими, перемолвился с его женой, о чем-то спросил сыновей писателя, наблюдал его московскую жизнь, но прямого контакта с ним не получалось. Тогда, собрав, как мне казалось, минимальный материал, я решил назвать свою статью «В трех шагах от Маркеса». В конечном итоге статья была напечатана позднее, когда пришло сообщение о присуждении писателю Нобелевской премии. (Кстати, лишь в этот его приезд я выяснил причину моей неудачи: Маркес не хотел давать интервью корреспонденту журнала, как ему тогда кто-то нашептал, «излишне тенденциозно-официозного». Тогда «Огонек» возглавлял Софронов.)

На этот раз все было иначе. И гораздо проще. Как только начались переговоры о возможном приезде в СССР Маркеса, он заявил, что непременное его желание – по приезде в Москву встретиться с издателями журнала «Огонек», о котором он наслышан много хорошего.

Итак, суббота, 11 часов. Мы встречаем нашего визитера у подъезда гостиницы «Россия». И – в редакцию. Неведомым способом прослышав о посещении Маркесом «Огонька», поклонники его таланта, коллекционеры автографов уже стерегут мгновенье.

– Ноу, – качает головой Маркес, – ноу, потом, в гостинице.

– Хорошая шутка, – говорит Марина Сергеевна, – в гостинице поймать его невозможно.

Десять сотрудников, ни больше ни меньше, как условились, заняли места за столом. Я пододвинул диктофон поближе к переводчице – ведь больше всего меня интересуют ответы Маркеса. Но Марина Акопова уточняет: на этот раз писателю самому хочется побеседовать с журналистами.

Мгновенно сориентировавшись, мы показываем гостю только что вышедший из печати номер. Марина Сергеевна переводит вынесенный на обложку заголовок одной из статей – «У природы много адвокатов». Разглядывая фотографию – малюсенький

силуэт вертолета над кронами высоченных деревьев – Маркес кивает головой. Экологические проблемы его тоже волнуют.

Комментируя материал о постройке в Киеве совместно с французской фирмой швейной фабрики, и делая движение рукой, как бы деля себя напополам, Маркес с присущим ему чувством юмора констатирует:

– Одну половину шьете вы, а другую – французы…

Писатель заинтересовался интервью с академиком Аганбегяном. Он просит перевести ему анонсы, понимающе кивает: «Кому выгодна устаревшая техника?», «Почему „не работает“ заработанный рубль?», но вдруг машет головой: «Как это вернуть качество продукции? А разве оно у вас утеряно?» Как можем, растолковываем этот сакраментальный, вечно больной вопрос нашего производства. И тут Маркес, посерьезнев, спросил:

– А экономическая реформа, о которой здесь пишется, уже принята? Ведь важно действие, а в нем – результат.

В связи с опубликованием статьи А. Стругацкого «Каким я его знал» о режиссере Андрее Тарковском Маркес вспоминает:

– Я познакомился с Тарковским в Италии. Но я так и не понял, почему он уехал из России.

Сообщаем, что несколько номеров назад в журнале было напечатано последнее письмо режиссера из Италии своему отцу, в котором он прямо говорит о причинах, побудивших его задержать возвращение на родину.

– Когда я познакомился с ним, – продолжает Маркес, – в вашей стране была широкая кампания против диссидентов. Но западная пресса никогда не говорит о конкретных причинах отъезда того или другого человека. Всегда сообщается, что это просто еще один диссидент.

Уточняем, что Андрея Тарковского нельзя назвать диссидентом, и что в огоньковской публикации впервые публично объяснены причины его отъезда.

Переводчица вставляет, что Маркесу было бы интересно почитать этот материал.

Перелистываем страницы «Огонька»: «Поэтическая антология», «Русская муза XX века. Борис Пастернак».

Маркес узнает портрет великого поэта, его имя широко известно.

– Я был в Переделкине на могиле Пастернака и испытал большое удовлетворение… Я думал, что эта могила как-то дискриминирована, отделена от других могил, но этого нет, она полна достоинства…

Недавно я видел картину «Онежская быль», она произвела на меня большое впечатление, – говорит наш гость, глядя на щемяще

грустные фотографии к материалу «Оставьте нам деревню» – об участи «неперспективных» сел.

– А в Латинской Америке нет такого?

– Да, опустение деревень происходит и у нас. Люди бегут в город. Страна совершенно изменилась. Во-первых, потому, что начисто опустела сельская местность. Опустела по двум причинам: из-за привлекательности городской жизни и из-за того, что в колумбийской деревне ведется ожесточенная война. Эта война – социальная борьба между бедным крестьянством и крупными землевладельцами. Отсюда такой трагический исход – опустошение родных гнезд. Сельскохозяйственной продукции становится все меньше и меньше. А в городах – чудовищная перенаселенность. Люди, пришедшие из деревни, без работы превращаются в нищих, в преступников. Проблема, о которой вы сообщаете в этом номере, и в Колумбии становится все острей и острей…

– Значит, можно сделать вывод, что этот процесс в чем-то схож с тем, что происходит и у нас?

– В данном случае капитализм и социализм, несмотря на свои принципиальные различия, сошлись. Я думаю, что между капитализмом и социализмом должно быть что-то общее, но все-таки не это, – улыбается Гарсиа Маркес.

– А о чем эта статья? – оживляется собеседник, глядя на улыбающегося с фотографии малыша.

– Этот материал называется «О пеленке, распашонке и семейном бюджете», он о судьбе молодоженов, у которых маленький ребенок. О трудностях их семейной жизни в самой начальной стадии. Журнал проследит за жизнью Сережи Фокина до его совершеннолетия.

– Это очень важная публикация, это очень интересно. Как журналистский эксперимент, как исследование.

Оказалось, что мы «сели» на больную тему Маркеса. Дело в том, что Маркес – преданный семьянин. В жене, в детях он ищет опору, надежду и находит ее. Вспоминаю, что в прошлый свой приезд писатель привозил и своих сыновей.

– Где они сейчас, сеньор Маркес, чем занимаются, почему вы не взяли их в Москву?

– Старший сын – кинооператор. Второй – дизайнер. Оба они унаследовали творческие возможности отца, но применили их в более практической сфере. Они вообще более практичны – в маму, наверное…

– Родители влияли на выбор их жизненного пути?

– Но, прежде всего, есть генетические предрасположенности, которых мы, естественно, избежать не могли. Мы всегда

старались влиять на своих детей. Вы знаете, мы старались влиять на них еще и потому, что им всегда было трудно жить из-за их отца. Старший сын, например, учился в Гарвардском университете. И вот за все годы учебы он старался, чтобы как можно меньше из его окружения людей знали о том, кто он. Кто его отец. Но вместе с тем существовали влияния, которые просто неизбежны. Это атмосфера дома, например. Ведь дети помнят, как играли они с Пабло Нерудой, Хулио Кортасаром, Карлосом Фуэнтосом. Им, конечно, не забыть разговоров о литературе, об искусстве… Сегодня они во всех комнатах слушают рок-музыку, молодежные современные ритмы. Слушают так громко, что я тоже вынужден слушать. И они, таким образом, тоже влияют на меня. Правда, когда я слушаю классическую музыку, музыку великих композиторов, я тоже очень громко включаю динамики. И таким образом, – Маркес улыбается, – они любят и то, и другое.

– *Как и вы?*

– Куда мне деваться…

Конечно, влияние среды неизбежно в воспитании. Но дети никогда не пытались писать. Младший несколько лет учился играть на флейте. Я был этим очень доволен. Я был так доволен, что усиленно поощрял его, подталкивал. И, в конце концов, он перешел на графический дизайн. А старшему всегда нравилась фотография. Пока сыновья подрастали, я думал о том, что кем бы они ни стали, они должны быть достаточно культурными людьми… Вообще-то я доволен своими детьми. Старший получил диплом историка в Гарварде, но, чтобы подшутить надо мной, специализировался по средневековой Японии. А когда вернулся домой, начал заниматься фотографией. Так вот, отвечая на ваш вопрос, повторяю, что ни я, ни Мерседес не пытались оказывать на детей никакого давления, но среда, безусловно, на них во многом повлияла. И конечно, на них повлияла позиция, которую занимали писатели, художники, часто бывавшие у нас в доме…

Маркес задумался, сделал паузу:

– Я импровизирую, потому что никогда на эту тему не говорил, меня об этом не спрашивали.

Честно говоря, я был удивлен этой ремаркой. Во многих западных странах институт семьи стоит слишком высоко на пьедестале духовных ценностей. И разве дотошным журналистам не интересно было знать подробности взаимоотношений известнейшего писателя со своими детьми? А может быть, сам Маркес не был расположен к беседам на эти темы?

Меня немного удивило, что писатель не отреагировал на публикацию в журнале статьи об английском художнике Обри Бердслей (в сущности это первая серьезная за многие-многие

годы публикация **на Западе,** может быть, не знаком с творчеством Бердслея?).

– А этот большой репортаж, с *продолжением в трех номерах, посвящен Афганистану.*

Маркес, став еще серьезней, живо заинтересовался темой.

– Как раз об этом хотел с вами поговорить подробнее. Меня очень волнует, как попал в Афганистан ваш корреспондент, как он прорвался к театру боевых действий? Было ли у него оружие или нет? Я знаю, что западные корреспонденты не имеют права брать с собой оружие, когда выполняют подобные задания органов печати. Как к нему относились военные? И нельзя ли познакомиться с храбрым репортером?

Но Артема Боровика, автора документального очерка «Встретимся у трех журавлей», не было в редакции. Поэтому комментарии давал заведующий международным отделом «Огонька» Дмитрий Бирюков, рассказ которого Маркесу многое прояснил. Примерно в течение получаса он интересовался историей данной публикации, а потом сказал:

– Я не знаком достаточно подробно с ситуацией в Афганистане, чтобы сказать, каким способом ее можно нормализовать, и если Михаил Горбачев не сделал это до сих пор, значит сделать это достаточно трудно. Я только понимаю, в связи с чем может исчезнуть на Западе обвинение против Советского Союза. Я думаю, что Соединенные Штаты Америки сделают все, чтобы никогда не исчезла возможность обвинения, чтобы не создавалось такого положения, при котором вас бы не обвиняли, не укоряли. Думаю, что они всегда будут цепляться за эту возможность. Пока вы комментировали публикацию, я все время думал о том, как сложно журналисту быть объективным. В особенности, когда речь идет о международных делах, глобальных проблемах. Ведь те доводы, которые излагает ваша сторона на вопрос, почему советские войска не покидают Афганистан, имеются и у американцев при ответе на вопрос – почему советские войска должны покинуть Афганистан. Эти их доводы излагаются теми же словами и теми же аргументами… Вот почему в этом вопросе и вообще в такого рода нелегких вопросах трудно достичь объективности.

В связи с публикацией интервью, которое дал «Огоньку» блестящий педагог-новатор Михаил Щетинин, рассказываем нашему гостю о проблемах школы в Советском Союзе; поясняем, что в интервью ставится вопрос о том, что наша школа плохо воспитывает гражданина; поясняем, какой «подвиг» совершил в свое время Павлик Морозов.

– Я боюсь, что проблема воспитания гражданина, хорошего

человека – это проблема обучения во всех странах. И она меня очень занимает. Я хочу сказать, что дважды в моей жизни были моменты, когда я почувствовал необходимость знать русский язык. Первый раз, когда читал Достоевского и понимал, какой плохой перевод мне попался. И второй раз сейчас, потому что мне так хочется прочесть весь этот номер «Огонька». Я чувствую, что в каждой статье, в каждом материале есть информация, которая многое бы мне прояснила из того, что меня интересует в вашей стране. «Огонек», кажется, еженедельник? С одной стороны, это много, четыре раза в месяц читатель получает достаточно интересную и важную информацию. С другой стороны, это мало: сегодняшняя жизнь очень насыщена, события меняются с калейдоскопической быстротой.

Поясняем Гарсиа Маркесу, что журнал имеет и книжное приложение, в котором, кстати, несколько лет назад были изданы произведения писателя. Предлагаем нашему гостю выпустить в приложении к «Огоньку» собрание сочинений, рассказываем о тиражах наших изданий, о количестве подписчиков на них, о гонорарной политике. Подняв эту проблему, мы не знали, на какую больную «мозоль» наступили, какую больную тему затронули. Гарсиа Маркес перестал улыбаться и начал высказывать свои сомнения и претензии.

– Дело вот в чем. До определенного времени Советский Союз не состоял в официальных отношениях с другими странами в области издательских прав. И теперь ваши издатели считают вполне законной акцией издание тех книг западных авторов, которые выходили в СССР до подписания соглашения, без оплаты автору гонорара. Скажите, справедливо это или нет?! Система оплаты писательского труда у вас необычайно оригинальна и отличается от всех систем мира. Во всем мире мне, как, естественно, и другим авторам, платят за тираж, а не за количество страниц, как у вас. У вас писатель получает одинаковую оплату за тираж в десять тысяч экземпляров и за тираж в тридцать миллионов экземпляров. Справедливо ли это? Во всем мире иная система, мягко говоря, более подходящая, хотя она и не всегда выполняется: это выплата процента от реализованных экземпляров. Ваши же издатели не принимают в расчет читательский интерес публики. А главное именно в нем. И в нравственном культурологическом смысле, и в коммерческом. Поясню свою позицию следующим образом. Я очень доволен тем, как печатаются и как читаются мои книги в Советском Союзе. И я сказал об этом Михаилу Горбачеву, когда встречался с ним. Я считаю большой для себя честью, что одним из моих читателей является ваш руководитель. Я сказал Горбачеву и о тиражах книг.

Так вот у вас мои книги издаются чаще, чем в других странах, включая и испаноязычные страны. Повторяю, я этим очень удовлетворен. Мне показывали мои книги, изданные у вас. Правда, только показывали… За них я, к сожалению, ничего не получил. Поймите меня правильно, я зарабатываю вполне достаточно для того, чтобы жить и делать все то, что мне нравится. Когда я сейчас говорю об этом и когда я обращаюсь к советским властям с претензиями по поводу платы за мой труд, я делаю это не из-за каких-то меркантильных побуждений. Повторяю, деньги у меня есть. Я думаю, что ваша система оплаты литературного труда несправедлива по отношению к западному автору. Я не знаком с условиями, по которым печатают произведения советских писателей. Я мало знаком с материальными условиями жизни советских литераторов. Там, на Западе, писатели живут на заработки от продажи своих книг. Многие из них печатаются и в Советском Союзе. И многие из печатающихся у вас действительно нуждаются в деньгах. В социалистических странах правительства зачастую хотя бы теоретически пытаются решить проблемы жилья, здоровья, образования… На Западе же за все это надо платить. Поэтому западному писателю деньги гораздо нужнее. Вот откуда мои претензии к вашему агентству по авторским правам. Я еще раз подчеркиваю: мне кажется абсолютно неправильной система гонорара, когда платят за количество страниц в том или ином произведении. Я думаю и о себе, и о своих книгах. Да, я понимаю, что Советский Союз испытывает затруднения в валюте. Это не секрет. Хорошо, платите в рублях, в советских рублях. У вас многое можно купить на рубли. Вы в конце концов – одна из самых могущественных держав в мире. Я готов пожертвовать деньги, которые я получу за свои романы, на любое хорошее дело. Я это могу сделать. И прежде всего, чтобы доказать свое бескорыстие. И потом я часто так поступаю, мне нравится это делать, нравится благотворительствовать. Если честно, мало в мире писателей, которые зарабатывают столько денег, как я. Может быть, оттого, что они мало рекламируются, а мало рекламы, мало и денег. Многие не могут защищать свои права, как я. Писатели – творческие люди, они разбросаны по всему миру и слабо объединены, чтобы защищать свои права, свои возможности.

Маркес многозначительно произнес:

– Извините, но я обо всем этом в Советском Союзе говорю впервые. Я решил сказать о вашей гонорарной политике именно в «Огоньке». Хотя Михаил Горбачев разговаривал со мной так приветливо и заинтересованно, что я уверен, он готов был

говорить на любую тему. В том числе и на эту.

– Вы хотите, чтобы об этих проблемах мы напечатали в журнале?

– Именно поэтому я и говорю о них так подробно. Я хочу, чтобы вы напечатали все, что я говорю.

– Эпоха перестройки позволит, по-видимому, решить и эту задачу. Во всяком случае, наши ведущие писатели выступают именно за такую форму оплаты, о которой вы говорите, сеньор Маркес.

– Мне кажется, что у вас сейчас огромное количество людей, которые в силу инерции не хотят пошевелиться, что-то предпринять, чтобы защитить даже свои интересы… На Западе издатель всегда рискует. Риск состоит в том, что в момент подписания договора он платит автору аванс, но если книга не продается, издатель на этом может потерять. Мне тоже авторские отчисления платят заранее, авансом. А потом платят обычную ставку – десять процентов с каждого проданного экземпляра. Правда, мне еще выдается прогрессирующая ставка: восемь процентов до продажи определенного количества экземпляров. А дальше уже десять процентов, пятнадцать и так далее. Но я при этом не могу сказать, что это совершенная система, ведь здесь возникает другая проблема: подсчет ведет издатель, и писателю трудно узнать, что к чему в этих расчетах. Но мне это неважно, потому что моя личная проблема все равно решается в мою пользу. И я выигрываю в том смысле, что выигрывают мои читатели. Но в Советском Союзе есть еще одна проблема: очень мало экземпляров моих книг продается по обычным ценам. То есть по номинальным ценам. Мне рассказали, что мои книги исчезают, не доходя до посетителей книжных магазинов, и возникают на черном рынке, цены на котором слишком высоки для обыкновенного читателя. Честно говоря, я не понимаю, как все это происходит. А мне, между прочим, даже авторских экземпляров не присылают.

Воспользовавшись волнующей нас темой разговора, я попросил у Маркеса предоставить какое-либо произведение для публикации в «Огоньке».

– Сеньор Маркес, мы и гонорар в рублях не забудем заплатить, и авторские экземпляры выделим.

– Я подумаю, у меня есть одна вещица для вас. Мы позже вернемся к этому разговору.

Забегая вперед, скажу: Маркес не забыл о своем обещании.

Через несколько дней после отъезда писателя из СССР, из Барселоны, где проживал литературный агент писателя, пришла

телеграмма следующего содержания: «В качестве агента Г. Гарсиа Маркеса подтверждаю разрешение автором в Москве публикации в журнале „Огонек“ рассказа „Следы твоей крови на снегу“. Публикацию разрешаю только в журнале „Огонек“ один раз. Журнал не имеет права передать рассказ: ни полный текст, ни какую-либо его часть другим печатным органам без предварительного согласия автора. Русский текст должен быть передан в редакцию Галиной Дубровской, которой автор поручил перевод рассказа. Будем очень признательны, если журнал перешлет десять экземпляров журнала с переводом рассказа автору и в наши архивы. Мы хотели бы также получить десять экземпляров журнала с интервью Г. Гарсиа Маркеса. Просим подтвердить получение этой телеграммы с извещением о получении разрешения на публикацию и сообщить номер вашего телекса».

…Маркес перевернул кассету в своем миниатюрном магнитофоне – параллельно со мной он записывал всю нашу беседу. Отпил кофе, который явно остыл, – Маркес, забыв обо всем на свете, горячо говорил о волнующей его проблеме. Кстати сказать, деньги, за которые он ратовал, нужны ему были еще и для поддержания созданного им фонда латиноамериканского кино, президентом которого он является. Этому фонду он придает большое значение. Если латиноамериканский роман, как считает Маркес, да и все те, кто читает книги известнейших в мире писателей – Льоса, Кортасара, Фуэнтеса и многих других, достиг своих высот, то латиноамериканское кино еще очень слабо развито. Патриот своей родины, патриот своего континента, Маркес хлопочет о подъеме культуры латиноамериканцев.

Гегель назвал когда-то Латинскую Америку «страной будущего». Наверное, он был прав в том хотя бы смысле, что нужно было дождаться рождения художника такого крупного масштаба, как Маркес, чтобы это утверждение стало фактором всемирной духовной жизни. Так вот, Маркес мечтает еще и на свои деньги создать великий латиноамериканский кинематограф. Нарушив клятву никогда в жизни не возглавлять никакую организацию, он стал президентом фонда нового латиноамериканского кино. Кстати, писатель влюблен в кино, недаром в молодости он учился на режиссерском факультете Римского экспериментального киноцентра.

– Сеньор Маркес, готовясь к встрече с вами, я еще раз перелистал ваши произведения, и мне снова показалось, что все они – об одиночестве. Об этом же чувстве, возникшем при чтении ваших произведений, говорил мне и один советский критик.

Главный герой ваших книг – человеческая отчужденность, отъединенность, непонимание, духовная изоляция… Одним словом, «сто лет одиночества»…

– Вам так показалось? Вы знаете, я тоже об этом думал… Правда, вы сказали о критике. Я стараюсь не читать критику на мои книги. Почему? Потому, что если это плохая критика, то читать ее не стоит. А если это хорошая критика, то она может воздействовать на тебя, навязать свою точку зрения. Однажды давно, когда я еще интересовался критикой на себя, я прочел статью об одном из своих первых рассказов. Прочитал и поверил рецензенту, а потом, когда я писал роман «Сто лет одиночества», почувствовал, что мой герой получается таким, каким хотел бы его видеть тот критик. И с той поры я не читаю критических статей. Так вот об одиночестве… Я не знаю, существует ли оно в моем творчестве, но знаю, что оно существует в писателе. Потому что, когда писатель садится за стол, ему никто не может помочь, ни один человек, никто, никто… Он остается один на один с белым чистым листом бумаги, и это и есть одиночество. В момент истины человек одинок…

– Постойте, постойте, сеньор Маркес, как хорошо вы сказали: «В момент истины человек одинок». Эти слова, с вашего разрешения, я использую в качестве заголовка.

Маркес смеется:

– Пожалуйста. Только скажите, вы заплатите мне за это интервью?

Марина Акопова переводит, что Маркес шутит, его волнуют, как вы поняли, более существенные вещи.

Я бросил взгляд на часы, подходило к концу время, отведенное для разговора, а вопросы к собеседнику не иссякали. Маркес заметил мое волнение:

– Что вы нервничаете? Что вы тут все нервничаете? У вас перестройка – поэтому вы так спешите? А я все равно уже опоздал на встречу с женой и на дипломатический раут. Что у вас там еще? Только не политические вопросы. Я уже много на них отвечал.

Нужно сказать, что поначалу, когда Маркес прилетел в Москву, он был раздражен, мягко говоря, несоблюдением правил приема такой важной персоны, как всемирно известный писатель Габриэль Гарсиа Маркес. И прежде всего со стороны Госкино. Неувязки, недоговоренности, нечеткости следовали одна за другой. Я сам был свидетелем, как приглашенный на ретроспективу фильмов А. Тарковского в киноконцертный зал «Октябрь» Маркес пулей вылетел из зала, не пробыв в нем и двух

минут. В чем дело? Оказалось, что устроители ретроспективы не согласовали с Маркесом возможность его выступления, чем он был страшно раздосадован.

Другой свидетель поведал мне о том, как на одном из просмотров наши, как говорится, завсегдатаи буквально сгоняли Маркеса, возможно, севшего не на свое место, из первого ряда, вертя перед его носом своими законными билетами. И таки прогнали. Правда, и здесь Маркес нашелся. Нехотя поднявшись с места, он сказал:

– Завидую режиссеру, на фильм которого даже Маркесу не находится места.

– Я где-то прочитал такой эпизод из вашей творческой биографии: когда вы закончили повесть «Полковнику никто не пишет» и «убили» главного героя Буэндиа, ваша жена Мерседес по вашему лицу поняла, что с полковником покончено, он убит. После этого вы два часа плакали. Для вас это была большая трагедия?

– Я, признаться, часто плачу. Запираюсь в своей комнате и, чтобы не видела жена, плачу… Я очень сентиментальный человек.

– Я случайно узнал, что в своей творческой работе вы используете компьютер. Так ли это? (Современному читателю этот мой вопрос покажется странным, но в конце 80-х годов в нашей стране компьютеры еще были диковинкой. – Ф. М.).

– Но я не делаю из этого секрета. О месте компьютеров в нашей жизни я долго говорил с вашим академиком Велиховым, и эта встреча меня удовлетворила и увлекла. Скажу больше, если бы я раньше придавал значение роли компьютеров, я написал бы намного больше. Вычислительные машины очень помогают человеку.

– В одном из интервью вы сказали, что у вас очень мало близких друзей. Есть ли среди них друзья в нашей стране?

– Информация, которую вы почерпнули, была, по-видимому, дана в плохом переводе. На самом деле я горжусь тем, что у меня есть несколько друзей, с которыми дружу всю жизнь. Это трудно, потому что с приходом славы приятельские отношения обычно рассыпаются, но я сумел сохранить некоторые из них. Так же, как и свою семью, что было очень трудно… Я много путешествую, и всегда одно из желаний в поездках – увидеться с друзьями. Эти встречи незабываемы, ибо только в кругу друзей я чувствую себя самим собой. Во всяком случае, я считаю себя самым верным товарищем моих друзей и глубоко убежден, что ни один из них не любит меня так сильно, как я. Что касается друзей в Советском Союзе, то они у меня есть, но я не буду называть их поименно, потому что могу кого-то забыть, а это его обидит.

И все-таки в самом конце встречи мы заговорили о политике и спросили Маркеса о его впечатлениях от происходящего в Советском Союзе.

– Ваша перестройка очень важна и для левых сил латиноамериканских стран. Многие в нее верят. И важно, чтобы вы довели дело до конца. Это будет самым важным событием в современной истории.

1987

P.S. Кстати, до сих пор не могу забыть о забавном инциденте, связанном с Маркесом. В 80-е годы я вел в Центральном доме архитектора книжно-литературный клуб, заседания которого посещали многие москвичи. Ноябрьская встреча была назначена на 11 число. Шел 1982 год. К тому времени имя Габриэля Гарсиа Маркеса было одним из самых популярных среди живых классиков XX века. В начале ноября Маркес получил Нобелевскую премию, и я решил в молниеносном порядке провести вечер, посвященный этому событию. Обзвонили членов клуба, отпечатали пригласительные билеты, пригласили известных людей…

Незадолго до начала вечера ко мне подошли два незнакомца и, отведя в сторону, жестко проговорили: «Вы с ума сошли? В такой день собирать митинги?! Надо отменить мероприятие. Умер Брежнев…» Передо мной были «литературоведы в штатском».

Но выполнить их «рекомендацию» я не мог: зал заполнялся гостями, на вечер приехали известные деятели культуры – декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, поэт Евгений Евтушенко, журналисты международники Мэлор Стуруа и Генрих Боровик… Мне страшно хотелось провести это интереснейшее заседание! И не послушав незваных гостей, я открыл вечер. «Мероприятие» прошло с огромным успехом. В культурной жизни Москвы оно стало событием, о котором потом долго говорили.

Как ни странно, меня не арестовали, клуб не закрыли и директора дома не уволили. Почему? До сих пор не могу ответить на этот вопрос. Возможно потому, что после смерти «дорогого Леонида Ильича» Кремлю было не до… меня.

Глава 5. У Расула Гамзатова в Дагестане

Он стоял у самолета, седоголовый, тяжеловатый, смущающийся, уставший человек. Он излучал радушие и доброжелательность. К нему запросто, по-свойски подходили люди. Он жал им руки, перекидывался словом, находил секунды уединения. И все называли его «Расул». Скольких гостей принял он на своей хлебосольной земле, сколько раз вылетал отсюда в столицы мира посланцем солнечного Дагестана!

Расул Гамзатов. Поэт. Философ. Сын Гамзата Цадасы. Отец Патимат, Заремы и Салихат. Дед четырех внучек. Балагур-рассказчик. Дипломат. Поклонник Бахуса. Эпикуреец. Хитрован. Сама наивность. Открытая душа, распахнутый щедрый характер. Человек-эпоха. Удачливый, везучий. Обласканный Сталиным. Гаргантюа и Пантагрюэль одновременно. Санчо Панса и Дон Кихот. Собеседник Шолохова. Друг Твардовского, Фадеева и Симонова. Живой классик. Легенда. Непоседа, объездивший полмира. Проведший часы общения с Фиделем Кастро и Индирой Ганди. Вечный слуга двух самых преданных ему женщин на свете: поэзии и жены Патимат. Коммунист. Наш прославленный современник. Автор сотни книг. Почти памятник.

Народный поэт Дагестана. Лауреат Государственных премий. Лауреат Ленинской премии. Секретарь правления Союза писателей СССР и РСФСР. Член Президиума Верховного Совета СССР. Герой Социалистического Труда…

С Расулом Гамзатовым

Я пробыл с Расулом Гамзатовым восемь дней. По горным дорогам, на вертолете, на машинах мы объездили большую часть Дагестана. Эта страна потрясает. Удивляет. Лишает сна. Красота ее неописуема.

Расул Гамзатов – один из ее добрых хозяев. В стихах, книгах, в его слове о родной земле, о нашем времени, о том, что происходило в недавнем прошлом и происходит сегодня в умах и сердцах советских людей, – многое из того, что передумано, пережито…

До русской дороги и обратно или над и под крылом орла

– Я рад, что мы беседуем с вами в доме моего отца, в его ауле Цада. Это когда-то оторванное от всего мира высокогорное селение связано теперь со всем миром. Отсюда широко и далеко видно. Однажды меня спросили, где находится мой родной дом, и я ответил словами одного из горских мудрецов: «Над и под крылом орла».

При жизни отца здесь побывало много известных гостей: писателей, деятелей культуры. И уже ко мне в гости приезжали Александр Твардовский, Константин Симонов, Василий Гроссман, Эммануил Казакевич, Александр Крон, Сергей Михалков…

Иногда говорят, что меня, дескать, поэтом сделали переводчики. Что ж, я рад, пусть будет так. Правда, об этом я не думал и не думаю. Со всеми своими переводчиками я учился в Литинстатуте в послевоенные годы, дружил с ними еще тогда, когда никто не знал, кем и чем мы будем на этом свете. Я благодарен им, что они помогли мне обрести всесоюзное имя, стать известным русскому читателю.

Да что говорить, у меня есть национальное чувство, а националистических чувств нет, и не может быть. Да и не только у меня, у всего моего народа.

Вот видите, идет дорога. Называется она русская дорога. Нам, мальчишкам, говорили когда-то: «Бегите до русской дороги и обратно». Горский народ всегда шагал до русской дороги и возвращался обратно в свои аулы. По русской дороге все дагестанцы пошли – и весь мир увидели, и историю свою утвердили, традиции прославили. Революция много дала и России, и всем народам, ее населяющим.

Есть такое выражение: в того, кто выстрелит из пистолета в прошлое, будущее выстрелит из пушки. Сейчас идет перестройка, ломка старого, но я считаю, что нельзя все ломать. Хорошее надо беречь, хранить, восстанавливать. В рубке с плеча можно многое потерять, и потерь этих нам не простят.

Будто в груди у меня два сердца бьются: одно «за», другое «против». Будто надвое я разделен, на вечер и утро. По-моему, очень плохо, если бывает в стране так, что все от одного человека зависит. Был культ личности, а потом стал культ должности. Я не принадлежу к тем людям, которые при гостях гостей хвалят, за них пьют, объясняются им в любви, а когда гости уходят, начинают их ругать вдогонку.

Молчать о людях, которые принадлежат истории, несправедливо. И я хочу знать, чему я так верил, почему меня обманули и в чем? Если и вправду в то время, в которое мы жили, были преступления, их прощать нельзя и оправдывать их не следует. Но делать это не без оглядки, а учитывая и взвешивая конкретные обстоятельства. Многие трагически ошибались, они думали, что государство укреплялось. Если оно и укреплялось, то человек-то мельчал. Считаю, что и сегодня мельчает, ибо в него внедрилась болезнь, которую Ленин называл комчванством, бюрократизмом.

В последнее время все чаще и чаще я слышу такие вопросы: «Что же мы так? Неужели все у нас плохо?» За рубежом меня спрашивают об этом, в ауле родном, да и сам я спрашиваю себя: «Что же получается: работали, трудились, жили, пели, танцевали – и все руководители после Ленина были, оказывается, „плохие“? На этот вопрос четкого ответа я еще не слышал. Ответить же на него надо. И ответить правильно».

Вы спрашиваете меня о том, как, будучи в течение двух десятков лет членом Президиума Верховного Совета СССР, я тоже голосовал за те или иные ошибочные указы, постановления, за награждение тех или иных «героев», как мы теперь знаем, недостойных людей. Если честно, я часто сомневался, я думал: сколько золота идет на эти ордена и медали, сколько средств тратится. Но подход к делу и здесь был бюрократическим: в десятой пятилетке стольких-то наградить, в одиннадцатой пятилетке – стольких-то. Разве так можно?! Вот и функционирует без продыху ведомственное издательство Верховного Совета СССР. А что издает? Стенографические отчеты сессий Верховного Совета на пятнадцати языках. Эти же указы затем издаются на местах. А надо ли так? Ведь лежат те фолианты, напечатанные на хорошей бумаге, мертвым грузом. Конечно, голосовали за многие решения, правильные, человечные, справедливые. Только как жалко, что, несмотря на эти решения, преступность снижается медленно, что с алкоголизмом приходится вести яростную борьбу, что здравоохранение у нас не на высоте. Я раздвоен. Одна истина остается по левую сторону, другая – по правую. Наверное, разные поколения по-разному думают, по-разному оценивают события.

Я вырос в Дагестане, в семье, в которой Ленина мало изучали. Больше Сталина цитировали. И первое стихотворение я о нем написал, совсем мальчишкой напечатал ту оду. Редактор газеты восклицал в передовой статье, что в горах не будет человека, который это стихотворение не выучит наизусть. Как тогда праздновали день приезда Сталина, ведь он автономию

республики объявил!

За поэму, написанную о событиях тех лет: о приезде вождя, получении автономии, рождении республики – дне, который каждый считал днем своего рождения (я это искренне написал), – я получил тогда Сталинскую премию. В то время у моего народа все было связано с ним одним. Быстро меняется история: сегодня дата празднования автономии в республике перенесена.

С другой стороны, я считаю, что у меня украдено время. Часть жизни украдена. От меня многое, оказывается, скрывали. Я жил в ауле, ходил в школу, и от меня скрывали какую-то часть истории, целый ее пласт. Одних поэтов скрывали, а других преподносили. Полностью я не знал тогда даже Маяковского. Я воспитывался на стихах Жарова, Безыменского, Виктора Гусева. Жизнь была огромным театром, и что происходило за его кулисами, о том я не ведал. Я просто всему наивно верил. И когда в 1937 году четырнадцатилетним мальчишкой из газет я узнавал о репрессиях, то мне воистину казалось, что сажают врагов народа. Было такое, было…

Меня часто спрашивают, сильно ли было влияние отца? Как тут ответить? Я считаю Гамзата Цадасу великим поэтом, но стихотворцем я стал, когда самостоятельно, без его влияния серьезно занялся поэзией.

В 1945 году, после войны, я приехал в Москву, поступил в Литературный институт. Приехал из многоязычной республики. В Дагестане националистических тенденций никогда не было, национальное, может быть, было, а националистическое – никогда. У нас считалось (не приписываю себе, у нас так говорят), кто соседа ругает, это дурак дома, кто другую нацию ругает – это глупец нации, кто другую страну ругает – это дурак страны. Уважение к старшим, хорошее отношение к женщинам, гостеприимство – все это извечные горские традиции. Детство мое было счастливым – отцовский дом всегда был открыт гостям.

К отцу приезжали Николай Тихонов, красавец Владимир Луговской. Одиннадцать лет мне было, когда первые свои стихи им читал. А они читали свои стихи отцу. Это они открыли отца всему свету. Позже приютили меня в Москве. При сдаче экзаменов в институт в первом же сочинении я сделал 60 ошибок, ровно столько, сколько сделал и мой сосед по парте. Много возились со мной, много. Я не знал в ту пору самого элементарного: кто такие чукчи, евреи, кто такие русские. Я просто об этом не думал. Каждый день открывал для себя что-то новое. В Большом театре Уланову в первый раз увидел – открытие. Тарасову во МХАТе – открытие. Пастернака встретил – открытие. Эренбурга услышал – открытие.

Собрания, обсуждения, осуждения – тоже открытия. Как молодой коммунист, я участвовал в одном из них и тоже кого-то там клеймил. Рядом со мной сидели иные известные писатели, которые тоже разоблачали. Обо всем увиденном я написал отцу. Тот срочно вызвал меня в Дагестан. «Ты читал произведения писателей, которых клеймишь?» – спросил он. «Нет, не читал, – ответил я, – но пишут же о них в газетах». Отец строго посмотрел и произнес: «Ну какое же ты право имеешь, не читая писателя, судить его».

Не скажу, что тогда я очень уж послушался отца, но в дальнейшем старался не поступать так опрометчиво. А собраний много было. По Пастернаку, по Твардовскому, по музыке, по космополитизму…

Но что же стало с моим народом в те годы? Вся партийная организация республики была разгромлена, вся интеллигенция, которая революцию делала. Сжигались книги, библиотеки, которые люди, ставшие по чьему-то произволу виноватыми, собирали долгие годы. Еще не так давно мне хвастались те, кто сжигал в свое время целые вагоны книг так называемых буржуазных националистов.

Радостно сегодня, когда Россия как нация, большая великая нация, отмечает юбилей Куликовской битвы, «Слова о полку Игореве», Пушкина… Но, к сожалению, значение истории подчас принижается. В Махачкале отменено, например, изучение дагестанской истории в университете. Как же так можно? Изучение истории своего народа не мешает изучению истории других народов. Лично я, например, очень благодарен арабской культуре, потому что мой отец был образованнейшим человеком. Ромена Роллана, Толстого, Чехова, других авторов он читал в переводе на арабский.

Я считаю, что любая культура заслуживает того, чтобы преклоняться перед нею. Как долго у нас считалось, что лучшее разрешение национального вопроса – умалчивание о нем. Все делалось так, будто вопрос этот давно уже снят с повестки дня.

Как же мы хотим приукрасить себя в своих собственных глазах!

Проблема отцов и детей во всем мире существует. У нас же делали вид, что она разрешена окончательно и бесповоротно.

Будто бы все у нас гладко, без сучка, без задоринки. До того дотянули, что тяжело стало ошибки исправлять.

Многое я пытался выразить в своих стихах. Я, правда, не публицист. Гражданственность у нас по-разному толкуют. Сейчас идет перестройка. Оглядываясь назад, нужно идти вперед – это необходимо. Иначе нельзя. Только стремление свое не показывать

надо, а доказывать.

Но в каждом хорошем начинании, к сожалению, появляется иногда порча. Сейчас наблюдается то, что я бы назвал однобокостью: крикуны, говоруны, ниспровергатели. Под видом гласности – голосистое кликушество. А истина-то – в серьезной дискуссии, в сопоставлении разных взглядов.

С другой стороны, если оглянуться назад, одноцветность очень помешала развитию литературы. Какая радость – возвращение многих писателей!

Далеко не каждый сегодня принимает на себя ответственность за происходящее. Очень эгоистичны мы стали. Больше о себе думаем, забывая о ближнем. Как же приблизить нашу идеологию к душе и сердцу каждого?

Если мы каким-то преступникам амнистию объявляем, почему в литературе амнистий не объявить! Как Бунину когда-то. Мы простили его и по-прежнему любим. А если бы не вернули, не простили?! Чего-то не хватало бы нам без Бунина, брешь зияла бы в литературе.

Появление новых «старых» имен не должно умалять других авторов, которых мы знаем и любим. Литература – не та сфера, где, если кто-то пришел, другой должен уступать место. В литературе места всем хватит.

В Дагестане тоже иные думают: а не проглотит ли русская литература нашу национальную? Уверен, что нет. Это абсурд. Именно русская литература, революция утвердили нашу культуру, возвратили нам во многом нас самих.

О многом из того, что мы сейчас переживаем, еще Ленин предупреждал нас. О комчванстве, например. Коммунист у меня всегда ассоциировался с чистотой взглядов. Но сколько среди них было и есть еще случайных людей. Бумажных коммунистов.

Я был участником, делегатом семи партийных съездов. Особенно мне запомнились XXII и XXVII съезды. Потому что на них говорили о человеческом достоинстве, о совести, о правде, о взаимоотношениях людских. Я участвовал и во всех писательских съездах, начиная со П-го. II съезд и последний, VIII-й, были, по моему мнению, самыми интересными. Я не хочу умалять значения остальных съездов, они были в чем-то важными, но не было на них критических выступлений, все больше аплодисменты звучали, больше было показного, неискреннего единодушия. Не хватало на них яркого острого слова Валентина Овечкина, Александра Твардовского, Михаила Шолохова.

Мне запомнились все речи Фадеева, произнесенные с чувством, с достоинством, со страстью.

В рабочем кабинете под трель телефонных звонков

– Недавно я был в Англии и от многих там слышал, что духовная столица мира сегодня – Россия, Советский Союз. Еще недавно мало интересовались тем, что у нас происходило. А нынче на нас смотрит действительно весь мир. Смотрит с надеждой, с озабоченностью: победит ли перестройка? Я тоже задаюсь этим вопросом. Да, мы против культа личности, против насилия, против нарушения прав человека. Но я вижу ростки культа должности, препоны со стороны чиновников.

По нашим аульским законам вначале всегда старшего спрашивают, того, кто больше звезд видел. А сейчас собрания откладываются, свадьбы откладываются… Ждут, пока районный милиционер придет, он «должность» привезет с собой, без которой нельзя начинать мероприятие. Я, естественно, не против должностей, но не следует преувеличивать их значение в каждом людском деле.

Ко мне как к депутату приходят люди: «Помогите попасть к тому-то и к тому-то». Мне уже кажется, что к министру простому человеку попасть невозможно. Тысячи людей ищут правду. Тысячи людей стоят в очередях канцелярий, пребывая в бесконечных ненужных командировках, отпусках за свой счет.

Наша борьба с бюрократизмом превращается подчас в говорильню. По-прежнему много различных бумаг, много пустых решений! Каждый день какие-то инициативы появляются. Но надо же старые начинания доводить до ума, не забывать о них. Чувствую, что заседаний больше стало, во всяком случае, в наших писательских организациях. И многие нерезультативны. Ибо царят на них занудство и тоска.

Литературное мастерство стало наследственным даром. В Литературном институте учились отцы, а нынче учатся их дети и внуки. Я бы назвал это родственным эгоизмом.

Эгоизм этот и в науке есть. И в искусстве. И в дипломатии. Даже в торговле. Слышал я такое недавно: на родственном совете решили одного представителя своего клана «сделать» Героем Социалистического Труда и все труды и заслуги приписали ему одному. Что бы вы думали? Удалось.

Не нравится мне суета некоторых уже немолодых писателей, которые поскромнее должны бы себя вести. Они считают, что перестройка благодаря им наступила. Да, настал черед Пастернака. Но ведь не секрет, что иные из этих «немолодых»

голосовали за исключение Пастернака. А ведь они знали уже тогда все его стихи, все его произведения, знали, что он подарил России прекрасные переводы Шекспира, Гете, Бараташвили. Отчего же молчали?

О Твардовском много сегодня говорят и пишут. Твердят, что музей Твардовского надо открывать и все такое… Но, дорогие мои, сходите на его могилу, посмотрите, в каком она запущенном состоянии. Хоть бы цветок положили. Где были те или иные из нынешних смелых, когда после публикации «Нового мира» сочинялись коллективные письма под названием: «Привлечь к ответственности за…»? Где были они, когда травили Твардовского, уже больного, били лежачего?! Почему же тогда не защитили большого поэта?

Последние годы мне посчастливилось: я очень дружил с Твардовским. Я не люблю хвастаться документами, но есть его письма ко мне, он приходил ко мне в гостиницу, я бывал у него дома. Что меня лично в нем привлекало? Отличное знание всей европейской поэзии, восточной поэзии, Хафиза, влюбленность в китайскую поэзию. Он был скромен. И в статьях своих, и в разговорах, и в делах. Был самостоятелен, самобытен. Никогда не стремился кому-то понравиться.

Вспоминаю знаменитый бар около Литинститута. Частенько я там бывал. Приходил и он. Не забыть задушевных разговоров. Мои стихи, честно говоря, он никогда не хвалил, а «Мой Дагестан» напечатал.

Стал я членом редколлегии «Нового мира», а «Литературная Россия», членом редколлегии которой я тоже был тогда, написала гнусную статью о «Новом мире» и об Александре Трифоновиче. Твардовский мне сказал: «Я написал протест, и ты, если хочешь, выбирай между мной и „Литературной Россией“».

Он меня другом считал, но я не могу назвать его другом. Он для меня слишком могучий человек. Он не любил почему-то ездить в республики, но ко мне приезжал в аул, вместе с женой Марией Илларионовной.

Я не видел его ни разу записывающим что-либо в записную книжку. Все старался запомнить. Как хорошо, что в моем архиве сохранилось много снимков о пребывании Твардовского в Дагестане! Глядя на них, я ощущаю, каким духовно богатым он был в тяжелые моменты своей жизни…

Поэму «Два сердца», написанную давно, я дал Твардовскому на прочтение. Он ответил мне письмом, которое я, конечно, храню. Письмо было суровым. Александр Трифонович резко меня критиковал. Я не обиделся на него за это, хотя считаю, что он не во всем был прав. Зря Твардовского некоторые считают

безгрешным. Безгрешных людей нет. И я его уважаю так, как, быть может, мало кто уважает. Это великий писатель. Но у него тоже были грехи. Быть может, в чем-то он был неискренен. Время было иное. Вообще история разберется.

Письмо его, хочу вернуться к этому, меня удивило. Он корил меня за то, что я беру тему из загробной жизни, что я якобы у кого-то другого перенял художественные приемы. Возможно, на себя намекал. Если так рассуждать, Твардовский в своем «Теркине на том свете» тоже не нов. Сколько до него было написано об аде и рае. Потом я понял, в чем дело, почему Александр Трифонович так разъярился на меня. Его покоробило то, что свою поэму я читал другой персоне. А ему об этом сказали. Да, читал, но ведь это было моим правом. Персона – тогдашний редактор «Известий» Алексей Аджубей. Поэма моя пролежала в столе 25 лет.

Твардовский называл себя другом, но на самом деле он был учителем. Но этого он никогда не подчеркивал. Не выпячивал свое наставничество, свое учительство. Его поэзия была на стороне слабых, рядовых людей. А мы очень часто были на стороне сильных. Хотя это противоречит природе, природе литературы, мы как бы сало мажем маслом.

Меня тогда трогало, как дружили Фадеев, Федин, Светлов, Смеляков. Все встречались в ЦДЛ, за чаем или бокалом вина, подолгу засиживались за дружеской беседой. Хотя, помню, Твардовский мне однажды сказал: «В ЦДЛ не ходи. Если хочешь выпить, иди в другое место».

Среди развалин древнего Дербента

– Откуда только пошла гулять пресловутая формулировка «преклонение перед Западом»? Преклоняться перед Гете, перед Флобером, перед Гейне, преклоняться перед японской поэзией или китайской поэзией Ду Фу – разве это плохо?!

С другой, правда, стороны, влияние Запада и Востока нивелирует национальные черты.

Быстрые побеги дает лишь национализм, подлинный интернационализм труднее воспитать. Вот примеры. Дагестанец женится на русской. Это преподносится как факт интернационализма. А дело-то все в самом элементарном и банальном, что полюбили друг друга молодые люди. Или – в колхозе работают люди пяти различных национальностей и живут они мирно, дружно, не дерутся. Плоды интернационализма, кричат твердолобые догматики. Значит, если колхозники намылят друг другу шею, не поделив, допустим, очередь за импортной косметикой, – это национализм? Глупость! Вообще мне кажется, что в Дагестане проблемы интернационального воспитания разрешены лучше, потому что в многоязычной нашей республике сама жизнь этого требовала. Конечно, великий русский язык стал для всех нас объединяющим вторым языком. Да, я поддерживаю двуязычие, билингвизм. Двуязычие для наших народов – это как два родных языка. Но двуязычие нельзя насаждать. Я говорю о своем народе, а личное дело грузин или эстонцев – принимать билингвизм или нет. Я считаю, что чем больше языков знаешь, тем лучше. Для малочисленных народностей это особенно важно. Вспомним сказанные кем-то слова: сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек. Я рад был бы сейчас и английским владеть, и французским. Но увы… Новое поколение, думаю, будет образованнее нас, а значит, – «интернациональнее».

Языки, с материнским молоком впитанные, не исчезают со временем. И идет сейчас процесс не исчезновения, а утверждения языков. Только в последние годы в Дагестане созданы детские журналы на пяти местных языках.

Правда, в городских школах сложно наладить изучение языков. Города у нас многоязычные, на всех языках сразу преподавание в школе не организуешь, поэтому обучение идет на русском языке. Но в этом ничего плохого нет, это естественный процесс.

Я с подозрением гляжу на людей, которые высокомерно говорят про историю других народов: «Приукрашивание…» В

Узбекистане – древняя история. В Грузии – древняя история. В Армении – древняя история. Разве можно сомневаться в этом? Да и зачем? Что есть, то есть. Чья-то история моложе, чья-то древнее, глубже. Надо изучать друг друга. А не завидовать, не развращаться злобой. Это же прекрасно, когда народы будут знать историю друг друга. Ведь столько еще непознанного в любой истории.

Да, русских людей повсюду привечают, как старших братьев. Но элемент недоверия вызывают назначения, допустим, в хлопковые районы людей из Рязани. Это дает пищу для разжигания националистических настроений.

Сейчас нужен культ человека. Не культ должности, а культ человека. Даже в 1937 году мы пели: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Но вольно дышать – это не только жить у себя дома, но и мир посмотреть, по Парижам поездить, лондонского тумана вдохнуть. Надо чаще выезжать за границу. Не общаясь с зарубежными странами, не имея научных, литературных, культурных связей, как можно двигаться вперед? Хорошо, что много в этом отношении сделано XX и XXII съездами партии. Надо срочно облегчить человеку оформление поездок за границу, снять нервозность в этих делах. Сколько комиссий проходим, бумаг оформляем, чтобы выехать за рубеж! Ощущаю это на себе. В конце концов, я не прогуливаться еду, а по литературным, государственным делам.

Образование получить у нас – подчас тоже бюрократическая волокита. Зачем, к примеру, человеку из республики при поступлении в вуз писать сочинение на русском языке? Меня старославянский язык обязывали учить. А он мне ни разу не пригодился. Наверное, знание старославянского – не лишнее, но лично у меня такой надобности не было. Так вот, за сочинение с ошибками абитуриент из республики не попадает в институт. Считаю, что это несправедливо.

Как необходимы сегодня связи между людьми, народами! Есть у нас телефонная связь, есть почтовые связи. Вот душевных связей больше надо, они самые главные.

На месте пленения Шамиля

– Очень больной для дагестанцев вопрос – судьба Шамиля, которого даже Маркс считал героем освободительной борьбы. Национальным героем. В свое время Чернышевский, Добролюбов, многие другие высоко оценили его борьбу против колонизаторов. Он первым не нападал на Россию. Это царские генералы приказывали сжигать селения, аулы. И Шамиль возглавил борьбу за свободу. Почему его и сегодня иные продолжают считать «реакционным деятелем»? Писатель Пикуль бросил совершенно бездоказательное обвинение в адрес Шамиля, публично объяснившись в ненависти к нему. Но кто виноват, что появился такой герой – Шамиль? Ответ один – царь, его завоевательские устремления. Если нападает враг, нельзя сидеть сложа руки. Это не в характере горца. Первым Шамиль никого не обижал. Только вот «обижал» царя в течение 25 лет, пока боролся с его экспансией, выражаясь современным языком…

Давно уже я написал и до сих пор не могу напечатать поэму «Шамиль». Не скажу, что это хорошая поэма, что это моя большая удача, но искренне верю тому, о чем рассказал. Некоторые люди у нас боятся имени Шамиля больше, чем волка в степи. Больше, чем самого царя, который воевал с ним. У одного руководящего работника я спросил: «Почему вы так боитесь Шамиля?» – «Из-за того, что я Шамиля не упомянул, ничего не случится, а за то, что упомянул, меня снимут с работы», – ответил он мне. И в самом деле это так. В Дагестане шла пьеса о шамилевских битвах. Никто из руководства ее не смотрел. Между тем пьесу сняли по телефонному звонку.

Чего мы боимся? Истории? Правды? Самих себя? Или снова и снова страшимся жупела национализма? Но у Дагестана своя национальная история, а в этой истории – свои герои, судьбы, свои сложные социальные коллизии. Зачем же «вырезать» историю, она ведь не кинопленка. Дагестан – республика, а не только заготовительный пункт. Имя Шамиля нельзя вырвать из нашего прошлого. Нельзя! К движению Шамиля, к его действиям с симпатией относились не только дагестанцы, но и лучшие русские люди, лучшие писатели России, социал-демократы. Этому движению сочувствовал великий украинец Тарас Шевченко, его приветствовали ученые Азербайджана, Грузии, Казахстана. И в нашем современном Дагестане нет такого поэта, который бы не помянул добрым словом имя легендарного народного вождя.

Мне дорога Россия. Я перевел многих русских писателей. Но

почему же иные русские писатели, ученые бесцеремонно вторгаются в нашу историю, искажая ее, уродуя. Ведь нельзя отнять то, что в душе у народа.

Мы привыкли к «Хаджи-Мурату» Толстого; нельзя требовать от Шамиля и от Хаджи-Мурата, чтобы их сложные судьбы «вписывались» в сегодняшний день. Они противоречивы. Ведь их борьба с царем длилась четверть века. Сами противники его уважали. Нельзя быть вульгаризаторами истории. Каждый народ в свое время воссоединился с Россией при разных исторических обстоятельствах. Если будем рассматривать их борьбу за независимость как борьбу против русского народа, это будет глубокой ошибкой. Оскорбительной не только для коммунистов, но и для всех мыслящих людей.

В свое время вместе с Гией Данелия и Владимиром Огневым я написал сценарий к фильму «Хаджи-Мурат», Данелия должен был снимать эту картину. Но нашлись люди, которые сразу же приклеили нашей работе ярлык: дескать, она мешает дружбе народов. Но почему мешает? Лев Толстой не мешает, а я мешаю? О Шамиле существует очень много литературы, в том числе повесть Петра Павленко, давно не переиздававшаяся. С именем Шамиля связаны те или иные страницы нашей современной истории. Многие поплатились карьерой, судьбой, а то и жизнью только за то, что сказали правду об отношении к Шамилю, о его роли в истории дагестанского народа. Если кто-то думает, что для интернационального воспитания нужно именно так искажать историю, то он глубоко ошибается. Такое отношение озлобляет человека, с уважением относящегося к истории. Перестройка должна коснуться и имени Шамиля. Это очень важно.

В запасниках галереи

– Мы смотрим на картины знаменитого дагестанского художника Халила Мусаева. Судьба его трагична. Родился он в селе Чох. Рано раскрылся как талантливый художник. Первым из дагестанских художников иллюстрировал русские, советские журналы. Он писал прекрасные картины: образы горянок, природу, талантливо писал, с большой душой. В 1921 году Халил поехал учиться в Германию, там женился. На Родину не вернулся, остался на чужбине. Умер Мусаев в Нью-Йорке в 1949 году. Его картины на Западе получили признание, имя его широко известно в Европе, в Америке. А вот в Дагестане имя Мусаева запрещено. Те, кто любит искусство, знают о нем, знают его творения. Но официального признания он не получил до сих пор. Разве так можно? Судить человека, который не сделал ничего плохого своей Родине, своему народу?! В Дагестане не так уж много выдающихся художников. Разве можно бросаться такими, как Мусаев?! Он был, кроме всего, смелый, мужественный человек. У нас до революции запрещали рисовать человеческие лица. Халил рисовал людей – героев, певцов, красивых женщин. Он любил человека, горца, горячего, пылкого патриота. Повторяю, мы уголовников амнистируем, а вот талантливых людей, оставивших в истории свой след, амнистировать боимся. Почему?

Во всемирно известном селении Кубачи [5]

– Еще одна проблема гложет меня. Судьба золотого и серебряного дела в Дагестане. Всего четыре мастера осталось… А там – конец, некому перенять секреты уникального народного промысла в республике. Сейчас мастер – как поэт-единоличник. Индивидуальное хозяйство поэта – его душа. И у златокузнеца также. На весь мир известен дамасский кинжал. У нас не хуже – амузгинский. Клинками, изготовленными в Амузги, пользовались полководцы, маршалы, сам Шамиль. Но вот аул переселили, и исчезли мастера. Да и аул сам исчезает, две-три семьи остается. А мастера эти были в свое время такие же прославленные, как кубачинские. Сегодня уникальные поделки находятся только в музеях. Ленин называл дагестанских художников – великими. Как же вышло, что в Дагестане не оценили этих мастеров? Приезжают туристы из-за рубежа, восхищаются, смотрят, ищут редкостные изделия. А мы к ним, можно сказать, равнодушны. Почему? По какому праву прервали нить времен? Это всесоюзного значения вопрос, всемирного значения. Сегодня наши народные мастера – это не художники, с горькой усмешкой говорю я, потому что работают они для плана, стаканчики делают, рога. А скажите, как запланировать любовь? А мастерство? Иногда Министерство культуры заключает с мастерами договор. Все заказы отражают современный стиль. В плохом смысле. Со слезами я слышу стоны мастеров: «Мы умрем, нас не жалко уже никому, нам некому передать свое искусство…»

По дороге в театр на вечер, посвященный 110-летию Гамзата Цадасы

– Меня тревожит массовость в искусстве, в литературе. Ведь искусство – не спорт. Одних писателей сейчас чуть ли не одиннадцать тысяч. На писательских съездах (стыдно было участвовать в этом) самый большой спор разгорался не из-за какой-то важной творческой или государственной проблемы, а во время голосования, вокруг кандидатур. Но если по высокому счету подходить, разве имеет значение та или иная кандидатура? Значение имеет только одно – талант. Как часто у нас случается: сначала мы раздуваем авторитет, а потом начинаем его поносить. Разве можно так подходить к духовным ценностям: то белым мажем, то черным. И наоборот. Как разобраться в этих метаморфозах поколениям молодых читателей?

О наградах и званиях… Я – народный поэт. Но я не хочу, чтобы меня народным называли. Твардовского не называют, Маяковского не называют, Блока не называют, Пушкина не называют. В России нет звания народного поэта… Во Франции, в Италии тоже нет. Если хочет народ, сам назовет. Ведь в слове «поэт» уже большая обязанность, ответственность, и это не звание, не должность.

До какого бюрократизма мы докатились: по телефонным звонкам запрещаем спектакли, песни, по телефонным звонкам даже звания присваивают. Один чиновник звонит другому и, не глядя друг другу в глаза, решают серьезные творческие общественно значимые, я бы сказал, народные дела. А хочется открытых обсуждений, серьезности подхода к судьбам поэтов, художников.

Хоть мы критически оглядываемся назад, но я с удовлетворением вспоминаю прошлые дни литературы, широкие обсуждения литературных произведений.

Какими демократическими были отношения друг с другом в годы моей молодости! Фадеева я видел много-много раз, но поначалу все стеснялся подходить к нему, скромность мешала. Но он был простым в отношениях с молодыми людьми, сам приходил в Центральный дом литераторов, не считал для себя зазорным. Иные же нынешние руководители считают ниже своего достоинства посидеть рядом с начинающими.

Думается мне, нам надо самокритично подходить к своим поступкам в прошлом и соотносить их с общественным поведением сегодня.

Я тоже ошибался. И у меня временем много украдено. Самобичеванием я не призываю заниматься, но «храбрецы на час» нам не нужны. Как пышно, приторно отмечался юбилей пятидесятилетия Союза писателей. Какие юбилейные дифирамбы пелись! Складывалось впечатление, что без одного-двух человек литературы не было бы вообще.

Сейчас поэму напечатать тяжелее, чем раньше. Сейчас редакторы считают, что больше 500 строк в поэме не может быть. Кто им дал такое право? Если бы так было, Твардовский поэмы не печатал бы, Блок поэмы не печатал бы. Почему нельзя печатать хорошие поэмы?! Тем более что многие из них – летопись революции. Ярослав Смеляков в журнале «Дружба народов» редактировал мою «Горянку», это четыре тысячи строк. Ее ведь напечатали. В «Литературной газете» Константин Симонов напечатал целиком мою поэму «Разговор с отцом». После этой публикации я получил от Фадеева письмо. Хорошее, доброе, доброжелательное письмо. Дело в том, что именно тогда у меня в нескольких местных журналах появились подборки стихов. А Фадеев, оказывается, за всем следил, по-отцовски внимателен он был к своим товарищам, коллегам-литераторам. Меня это очень удивило – как подробно он разбирал мои публикации. Но в письме было главное: «Не слишком ли вы торопитесь печатать? – писал он. – Надо торопиться работать, трудиться…» – был его совет.

«Не слишком ли торопитесь?» Почему дело обстоит так, что дагестанского или якутского писателя сразу принимают в члены Союза писателей СССР? Пусть он сначала проявит свое лицо в родных местах, получит признание народа. Раньше писатели шли на бедность ради поэзии, а сейчас бедные сразу хотят быть богатыми через поэзию.

Отношение к поэтам сейчас изменилось, чиновников стало много. Раньше Константин Симонов сам звонил или телеграмму давал начинающему автору. Это вдохновляло.

Поэзия – интимное понятие. Поэзия – не парад, со стихами человек уединяется, хочет побыть наедине с собой. И со словом. А у нас в поэзии митинговая любовь и телефонные поцелуи.

На встречах с избирателями я говорю о перестройке, об искусстве, о поэзии, а меня спрашивают, когда завезут колбасу и когда будет водопровод. Понимаю их, своих избирателей, задача перестройки – дать людям и кусок хлеба, и честное, искреннее слово правды. Здесь надо уметь совместительствовать. И хлеб важен, и лира необходима. Без хлеба поэзия может жить, но хлеб без поэзии – увы…

В аэропорту – при прощании

– Сейчас я закончил книгу под названием «Концерт». Жизнь – концерт, мир – концерт, история – концерт. Здесь и скрипки, и рояль, и рок-музыка, и орган… Я помню, что в последний предвоенный день, в субботу 21 июня 1941 года, по радио был большой концерт. Песни, музыка, мажор… А на границах уже высаживались немецкие десанты. И начался концерт войны, пляска смерти. По всей Европе рыли могилы и пели последние песни. Кодовое название одного из наших наступлений было «Концерт». Название книги можно принять за шутку, если бы не было настоящих «живых» концертов в фашистских лагерях смерти, в колымских лагерях.

Современная жизнь порой мне кажется непрекращающимся концертом. Развеселым, трагическим, будничным, одурманивающим. Читал я как-то эту поэму в одной аудитории. И меня спросили: «Почему в ней ничего нет о концертах Пугачевой, рок-музыки?» Я не знал – то ли смеяться, то ли плакать?

Мне кажется иногда, что нынешняя нестабильность, эскапада перемен, сменяемость эпох, личностей – все, что творится сейчас на наших глазах, – это тоже некий великий вселенский несмолкаемый концерт, действо с трагическими нотами. Труба, балалайка, орган… Одно возносится, другое – в пропасть.

Чем закончится этот великий концерт нашего бытия – знать бы.

Октябрь 1987

23 сентября 2011 года в центре Москвы, в доме № 27/5 на Тверской, где жил Расул Гамзатов, когда приезжал в столицу, была открыта мемориальная доска поэту.

Несмотря на сильный дождь, который сопровождал всю церемонию, люди подходили и подходили, привлеченные знакомыми строчками стихов, озвученными голосом Марка Бернеса:

Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Глава 6. Исповедь режиссера «Агонии» Элема Климова

«Памятника мне не надо»

Он был замкнутым, закрепощенным, закрытым, но при всем при этом зачарованным человеком. Все его фильмы – а их, всенародных, всепрокатных, всего-то пять-шесть – известны. Он был зачарован и пленен киноискусством. А еще ослеплен высокой и верной любовью к единственной своей женщине Ларисе Шепитько. До тошноты мечтал об экранизации булгаковской книги «Мастер и Маргарита». Его считали неудобным, тяжелым, странным… А он был всего лишь… гениальной личностью. Или почти гениальной. Интроверт, рожденный под знаком Рака. Максималист в творчестве и быту, он жил на пределе человеческих сил. После своих звездных фильмов, на пике успешной карьеры, на посту главного вожака Союза кинематографистов, в лучах огромной зрительской любви Элем Климов ушел… То есть затих, замолчал на много-много лет, а если конкретнее, на две эпохи. Он во многом разочаровался. Полагал, что ему уже нечего делать в кино, не занимался общественными делами, не суетился, не мельтешил, как многие. Не писал книг-воспоминаний, не общался с журналистами. Он оставался самим собой: не мчался за жизнью сломя голову, «не думал о секундах свысока». Иногда выходил на люди, сидел свадебным генералом на каком-то званом мероприятии, не желая обижать отказом именитых друзей. Растил сына Антона и с братом Германом писал сценарии. Но все больше уходил в себя.

И вот внезапный, и уже окончательный, уход от всего и от всех 26 октября 2003 года. Но Троекуровское кладбище приняло только его плоть. А главное и вечное – его душа, созданные им ленты, в которых он ставил невозможные задачи, пытаясь ответить на проклятые вопросы жизни и смерти, – с нами.

Мне повезло: я общался с Элемом Германовичем. У него дома, в Госкино, на каких-то вечерах. Последний раз – в Большом театре на вручении премии «Триумф». Однажды мы провели в работе трое суток. Разговаривали и днем, и ночью. Получилось «интервью жизни», огромное, на 50 страниц. Почти мемуары. Привожу отрывки из наших бесед.

Порой не на что было жить

– Я принадлежу к малочисленному поколению режиссеров кино, которое заявило о себе в начале 60-х: Тарковский, Шукшин, Шепитько, Иоселиани, братья Шенгелая, Параджанов, Кончаловский, то есть к тем, кто успел сделать свои первые и вторые фильмы, успел как бы пролезть в узкую историческую щель во времена кратковременного и странно противоречивого нашего ренессанса. Одна из моих первых картин называлась «Похождения зубного врача», фильм о судьбе таланта – извечно сложной судьбе. «Разве может быть в нашей стране сложная судьба у талантливого человека? – заявили мне. – Это опорочивание, оскорбление нашего строя». Тогда же я познакомился еще с одним выражением – «киноконтра». Так, не успев еще твердо встать на ноги, я уже окончательно попал в черный список, где пребывал отнюдь не в гордом одиночестве. Моих соседей по этому списку знает теперь весь мир, они – гордость нашего искусства.

В то же время стала заполняться пресловутая «полка», то есть появились запрещенные и полузапрещенные фильмы. Одним из них оказалась и моя картина о враче. Сколько же погибло замыслов, сколько сценариев не дали снять, сколько сломалось судеб! Это было страшно, потому что ты как бы лишался будущего. Или ты должен был приспосабливаться, изменять своим принципам. Некоторые так и поступали, предавали себя. Они по приказу начальства резали ленту, перемонтировали ее, сокращали, переозвучивали. Другие не резали, не шли на уступки. Конечно, с соответствующими последствиями для себя.

Что нас спасало тогда, что помогало выстоять? Одним словом не ответишь, да и у каждого это было по-своему. Мне повезло, что рядом со мной была Лариса Шепитько, у которой тоже все складывалось не лучшим образом. Два режиссера в семье, а нам порой не на что было жить. Постоянно брали в долг. Под будущие картины. А потом, когда этих будущих картин совсем не стало видно, нам перестали и в долг давать.

Лариса предсказала свою смерть

– Лариса ушла из жизни, находясь на вершине своей славы. Она только что пережила всемирный успех «Восхождения», ей разрешили снимать «Прощание с Матёрой», хотя отношение руководства к повести было тогда негативное. Потребовались большой дипломатический дар, которым она обладала сполна, весь ее ум, обаяние, чтобы добиться этой работы.

Смерть Ларисы была ужасна. Пять членов съемочной группы попали вместе с ней в автомобильную катастрофу на Ленинградском шоссе, неподалеку от Калинина[6]. Никто не выжил. Мне тогда предложили продолжить работу Ларисы. Я не мог отказаться. Это и помогло хоть как-то пережить огромное горе. Через неделю после похорон мы приехали на место съемок. Что делать? Как делать? Вначале попытались подражать. Одну сцену сняли так, другую. Поняли, что это не путь, надо находить свой подход к материалу, писать свой сценарий. По ночам мы с братом работали над ним, днем шли съемки. Погода ухудшалась, лето кончалось, шли дожди, неудачной была и осень. Доснимали до снега. Нам дали паузу до следующей весны, и в эту паузу мы сделали маленький фильм «Лариса». Потом закончили и основную картину. Мы решили назвать ее «Прощание». Мы прощались с друзьями, а я и с родным человеком.

Творческая судьба Ларисы уникальна. Редчайший случай в истории кино, чтобы на режиссерский факультет приняли молодого человека, да еще девушку семнадцати лет, сразу после десятилетки. И к кому?! К Довженко, выдающемуся мастеру! Вот интуиция! Как он почувствовал ее, каким образом?! Еще на вступительных экзаменах. Он опекал ее, как родной отец, и Лариса обожала Довженко, до последних лет жизни его боготворила.

Лариса была человеком предельной честности, озаренности и истовым художником. Поэтому не каждый чувствовал себя рядом с ней уютно. Но не было в ней никакой фанаберии, гениальничания, хотя и скромницей не прикидывалась. Она ведь тоже не сразу нашла себя, шла через преграды, спотыкания, пробы, но к своему «Восхождению» двигалась как к высокому и вечному. Не случись той трагедии, я уверен, она поднялась бы на следующую ступень своего творчества. Ведь она сама себя созидала. Напряженная жизнь духа меняла ее и внешне. С каждым годом она становилась все прекраснее. Но и сама предсказала себе, когда кончится ее земная юдоль: в 41 с половиной год. Она не раз говорила: «Меня скоро не будет, я

скоро умру». Так и вышло. Перед выездом в экспедицию на Селигер прощалась с друзьями навсегда. Ей был 41 с половиной.

«Агонию» разрешили через 10 лет после первого показа

– На «Агонию» меня подбил Иван Александрович Пырьев. Возможно, с подачи нового председателя Госкино СССР Ермаша. После скандально-полузапрещенного «Зубного врача…» он позвал меня к себе и со всей присущей ему прямотой заявил: «Ты понимаешь, Елем (он так меня называл), что тебе теперь до-о-олго не дадут снимать?» – «Что делать?» – «Приближается пятидесятилетие советской власти, тебе надо сделать юбилейный фильм». – «Не умею делать юбилейных фильмов и не научусь никогда». – Ты вот что, не горячись и прочти пьесу Алексея Толстого «Заговор императрицы». Я прочел и говорю: «Извините, не хочу обижать автора, но пьеса написана вблизи событий, в угоду обывательскому пониманию истории». – «Хорошо, – настаивал Пырьев, – возьми тома протоколов допросов комиссии Временного правительства, в которой работал Александр Блок. И Распутина, Распутина Гришку там не пропусти». Я прочел эти документы и понял, что у меня в руках удивительный материал.

Началась работа над сценарием, но от съемок нас отделяло еще семь лет. За это время нас дважды закрывали. Почему? Может, потому, что мы допускали неточности в пользу образного решения, иногда умышленно отступали от факта, может, у начальства в тот день голова болела, и оно по нашим головам било. Вот, скажем, сцена убийства Распутина, известная по воспоминаниям самих убийц. Это преступление – безумная ночь русской истории, целая эпопея. Только этой ночи можно было посвятить целый фильм. Имея подлинные фотографии юсуповского подвала, отделанного, как дорогая бонбоньерка, мы тем не менее сделали его более аскетичным, более средневековым. Чтобы у зрителей возникла ассоциация с чередой дворцовых политических убийств, преступлений во имя власти. Разрешительное удостоверение на показ «Агонии» мы получили 12 апреля 1975 года. Некоторое время все шло нормально, а потом появился тревожный слух: что-то с картиной неладно. Однажды ко мне подошел Тарковский и попросил показать фильм. Я организовал ему просмотр на «Мосфильме». Зал был свободен только в 8 утра, но Андрей пришел. После просмотра сказал: «Ты погиб». – «Почему?» – «Ты погиб потому, что „Агония“ далека от стереотипов советского исторического фильма, разрушение которых тебе не простят». Он оказался прав: на экраны страны «Агония» вышла только весной 1985 года, то есть

через 10 лет после показа на закрытии Московского кинофестиваля. За границу ленту продавали, у нас не пускали. Выходило, что нашему зрителю доверяли меньше, чем зарубежному. А между тем в одной из латиноамериканских стран «Агония» была арестована за «пропаганду революционных идей». Цинизм был еще в том, что действовали по принципу «все на продажу, все на валюту». У нас запрет шел, насколько мне было известно, от Суслова, Гришина и Косыгина. Преобладали «дачные мнения», дескать, слишком много Распутина, царь не тот (не карикатурен), нет роли партии большевиков. Прогноз Тарковского оказался верен.

Таковы перипетии одной работы, которой я отдал почти 20 лет своей жизни.

Дочь Косыгина укоряла в упоминании имени отца

В моем архиве хранится переписка Э. Климова с дочерью тогдашнего предсовмина А. Н. Косыгина Л. А. Гвишиани-Косыгиной. Она укоряла режиссера в упоминании имени ее отца как гонителя «Агонии», требовала подтверждений, источников, уверяя, что такого быть не могло. Климов ответил, что расправы над произведениями искусства производились от имени власти, и было это сугубо анонимно, лишь пальцем тыкали куда-то вверх. Работников искусства наверху не принимали, не объясняли «ошибок». А спускалось только мнение. «Я помню, – пишет Климов адресату, – что понедельник был самым тяжелым, черным днем в жизни Госкино, ибо чаще всего именно в этот день раздавались звонки после субботне-воскресных дачных просмотров. К вашему отцу я относился с симпатией. Тем не менее мне горько было услышать, что он высказал резкое отношение к нашему фильму на заседании Президиума Совета министров».

Однажды Элем Германович заметил в ответ на мой вопрос, почему бы не назвать имена гонителей-хулителей публично: «А зачем убивать людей? Самым совестливым из них, наверное, и так нелегко. А иные просто ничего не поняли из того, что происходит в нашем обществе. Только обозлились. Сужу об этом, потому что иногда приходится с ними сталкиваться, видеть глаза. В них ненависть. Но и в их грудь не хочется вбивать осиновый кол, называть имена, клеймить».

К. Кардинале и Ф. Кристальди предложили снимать «мастера…»

– Наверное, почти все наши режиссеры мечтали экранизировать булгаковский роман. Однажды на короткий момент это стало почти реальностью. Когда у нас снимался советско-итальянский фильм «Красная палатка», я подружился с Клаудиа Кардинале и ее мужем продюсером Франко Кристальди. Они-то и предложили идею странного сочетания двух режиссеров в фильме «Мастер и Маргарита». Линию Христа должен был снимать Федерико Феллини, а советскую – тогда мало кому известный Элем Климов. Роль Маргариты, конечно, оставалась за Кардинале… Проект, как вспышка молнии, просуществовал недолго, его осуществление тогда казалось фантастикой.

Хотите забавный случай про съемки «Матёры»? На озере Селигер готовились снимать сцену сельского праздника, танцы, песни. В отдаленную деревню послали ассистентов отбирать людей для массовки. Собрали бабушек, женщин и сказали: «Откройте сундуки, достаньте свои старинные одежды, будет съемка. Стоит пять рублей». Пришли наши разряженные бабушки и все принесли по пятерке. Раз в кино снимают, за это платить надо, думали они, ведь это большая честь. Разве они знали, что в то время в Америке участие в массовке оплачивалось ста долларами и бесплатным обедом.

– Элем Германович, я слышал, что вам памятник при жизни хотели поставить. Неужели правда?

– А… это было после «Агонии». Она уже «отдыхала» на полке, но надежды все теплились. Меня позвали в большой-большой кабинет. Хозяин кабинета, сочувственно ко мне относившийся и знавший мое положение лучше меня, сказал: «Вот что, а не сделать ли тебе юбилейный фильм к 60-летию Февральской революции с переходом в Октябрьскую, короче, о 17-м годе. Сделаешь – памятник поставим при жизни». Я спрашиваю: «А до иконы можно дотронуться?» (до Ленина. – *Ф. М.)* – «Нет, что ты, нельзя». – «А хотя бы пыль стереть можно?» – «Ни в коем случае». – «А правду о тех событиях показать, исторические персонажи ввести?» – «Нет, не стоит». – «Ну, – говорю, – тогда и памятника мне вашего не надо».

1988

Глава 7. Сергей Михалков: шлюзы, а не кингстоны

Подождите меня, я скоро вернусь!..

Из окон его квартиры на шестом этаже виден старинный особняк. В клумбово-скамеечном полукружье – сидящая фигура Льва Толстого. Когда смотришь вниз из-за гардин, упираешься взглядом в классика.

…Неожиданно его вызвали в высокую инстанцию, очень высокую, и мы прервали наш разговор. Два часа просидел я в его рабочем кабинете. Но времени даром не терял.

Грамота о присвоении звания Героя Социалистического Труда. Подпись: Н. Подгорный. Под стеклом – сверкающие в утренних лучах медали, знаки отличия. Любой нумизмат умер бы от зависти.

Портреты писателя маслом. Фотография: создатели Государственного гимна Советского Союза. Среди них – мой собеседник. В овальной рамке Лафонтен, чуть поодаль – Иван Крылов.

Резьба по кости на сюжеты его басен. На мамонтовом бивне. Бивню – 10 тысяч лет. Басням – 40 лет. «Дальновидная сорока», «Енот, да не тот», «Нужный Осел».

Картины художника П. Кончаловского – его тестя, В. Сурикова – деда жены.

На письменном столе – фотография Ленина.

Сергей Михалков

Грамоты о почетном гражданстве Пятигорска, Георгиевска, Габрова…

Фотографии улыбающихся, знаменитых на весь белый свет сыновей-режиссеров.

Книжные шкафы. Собрания его сочинений, объемистые сборники, тонюсенькие копеечные малышки. Прикинул общий

тираж: почти двести миллионов экземпляров. Прикинул…

Родословное древо. Истоки – в XV веке. Это не шутки. Одна из древнейших русских фамилий. Воеводы, служивые люди, дьяки, стольники, воины – защитники отечества. Дворянство.

В углу – огромные дорожные чемоданы. Хозяин их легок на подъем. Сегодня Грозный, завтра Париж.

Над дверью элементарная железная подкова. Символ удачи? Возможно, помогает.

– В этом кресле, – говорит Полина Николаевна, она ведет дом давным-давно и помнит хозяина всегда знаменитым, – любит сидеть наш классик…

Сергей Владимирович Михалков – человек-эпоха. Его биография невероятна. Я не знаю другого, чья жизнь была бы так объемна и многообразна…

Как распутать перипетии человеческой судьбы?! Тронул тонюсенькую ниточку, и потянулось: великое, смешное, трагическое… Сиротство, страсть к литературе, безответные чувства к русоволосой и голубоглазой, звонок из ЦК ВКП(б). Сталин, трагедии, знаменитые шальные друзья…

Невозможно представить наше время, да что там наше – последние полвека, без двухметровой, гвардейской фигуры дяди Степы – Михалкова. И знать стихи Михалкова, и не знать их – давно уже стало моветоном. Их читали наши бабушки и дедушки, их будут заучивать наши правнучки и правнуки. «Дядя Степа», «Дело было вечером, делать было нечего», «Упрямый Фома» – понятия, навечно прописанные в детской литературе.

Остроумный, невозмутимый, доверчивый, философски на все смотрящий с высоты своего роста и величия – Сергей Михалков. Я был поражен, как однажды он открывал крупнейший международный литературный форум. Публика чинно расселась: наши, не наши, молодые, уходящие, начинающие, великие; повынимали из карманов и дипломатов золоченые «Паркеры» и двухкопеечные карандаши; деловито пристроили наушники, включили каналы синхронного перевода, замерли и вдруг:

– Начнем, ребята!

Отец, сын и слуга своего времени, он был и прямолинеен, и парадоксален. Волей-неволей он готовил и нынешние перемены – ну хотя бы своим «Фитилем», одним из оазисов доперестроечного времени.

Он ошибался, но находил мужество не скрывать этого. Да, ошибался, точнее, сомневался, правильно ли поступал в том или ином случае. Успокаивало то, что знал: если поступил бы иначе, его бы просто не поняли. Наивно? Да. Но честно. Не скрывал. В дни позорной вакханалии вокруг имени Пастернака был с

большинством. Одобрял, голосовал. Потом понял, что не надо было так поступать. Некоторые до сих пор не поняли.

Добрый по натуре, участливый, он всегда считал себя обязанным доброжелательно вмешиваться в людские судьбы, если верил, что человек несправедливо обижен или ему необходима немедленная помощь. Использовал для этого все: служебное положение, депутатские возможности, свою популярность, имя, наконец. Лекарства, квартиры, издания, членство, билеты, выезды… Помочь, вызволить, облегчить… О чем он только не хлопотал! «Вертушка»[7] ему была не нужна: он снимал трубку, называл себя, и с ним разговаривали министры, недоступные для простого смертного столоначальники. Он никогда не робел перед вышестоящими чинами, разговаривал с ними независимо – за его плечами была богатая школа общения с людьми, облеченными властью.

Сергей Владимирович Михалков уверенно, неторопливо шагал по Москве. По жизни. По литературе. Его все знали и узнавали. Сверхпопулярность?

Его можно любить. Можно ненавидеть. Он прощал. Хотел снисходительности и к себе. Он нес нелегкую ношу служения своему времени. Его судьба была счастливой и драматической.

…Раздался звонок в дверь. Вернулся хозяин дома.

Мои вопросы к Сергею Михалкову были самыми элементарными: «когда?», «с кем?», «где?», «за что?», «почему?», «знал ли?», «участвовал ли?», «сомневался ли?», «верил ли?». Меня интересовали ответы. А комментарии и вопросы к ответам – за читателями.

Цепь случайностей

– Однажды на пресс-конференции в Италии меня спросили: «Почему вы, известный при Сталине человек, уцелели? Давид Кугультинов был репрессирован, а вы – нет?» Я ответил: «Даже самые злостные браконьеры не могут отстрелять всех птиц».

В отличие от судеб других литераторов моя жизнь действительно складывалась благополучно, хотя каждый из нас ходил по острию ножа. А теперь мы знаем, что неприкасаемых во времена культа личности не могло быть. Многие выдающиеся полководцы, государственные и партийные деятели, крупнейшие хозяйственники, видные деятели культуры безвинно пострадали в тюрьмах и лагерях.

Мне кажется, что жизнь человека состоит из цепи случайностей. Оглядываясь с высоты 75 лет на прошлое, перебирая в памяти события своей жизни на глазах у людей, жизни, вобравшей все перипетии нашей эпохи, я всерьез думаю о банальной вещи – о его величестве случае.

Мой отец, выходец из русской дворянской семьи, один из основоположников советского промышленного птицеводства, автор многих работ по этой теме, умер в 1932 году, не успев принять кафедру профессора в Воронежском сельскохозяйственном институте. Умер он в городе Георгиевске от воспаления легких, ему было 46 лет. Я к тому времени уже два года жил в Москве, работал на Москворецкой ткацко-отделочной фабрике разнорабочим. Потом уехал в геологоразведочную экспедицию в Восточный Казахстан. Писал стихи. Семья наша пока продолжала жить в Георгиевске, жила чрезвычайно скромно. На меня легла забота о матери и двух младших братьях. Они перебрались в Москву и устроились «на птичьих правах»: все мы разбрелись по родственникам и знакомым.

Но кто знает, как повернулась бы моя судьба, если бы отец был жив? Смог бы он с его происхождением, знанием иностранных языков, с его научным трудом под названием «Почему в Америке куры хорошо несутся», с его дружескими связями не стать «врагом народа»? Маловероятно. А значит, и я не стал бы писателем и вряд ли давал бы сегодня это интервью. Более того, уже начинающим писателем я дружил с Михаилом Герасимовым, Борисом Корниловым, Павлом Васильевым, Ярославом Смеляковым, которых постигла тяжелая участь. Мне, видимо, везло.

«Колыбельная» разбудила удачу

– Что значит «везло»? Спасал случай?

– Во многом. Ну вот хотя бы такой пример. Мне безответно нравилась одна девушка. Она училась со мной в Литературном институте имени Горького, который я, к сожалению, не окончил по семейным обстоятельствам – нужно было содержать семью. Работал я тогда в отделе писем газеты «Известия» и уже начал издаваться. Так вот, в «Известиях» у меня печаталось стихотворение «Колыбельная», которое я до сих пор публикую. В клубе писателей я встречаю свою девушку и в шутку говорю: «Хочешь, я напишу сегодня стихотворение и посвящу его тебе, а завтра ты прочитаешь его в „Известиях“»? Светлана, так звали мою знакомую, только усмехнулась в ответ. Я же поспешил в редакцию и назвал стихотворение «Светлана». Ну, думал, теперь уж наверняка сердце Светланы будет завоевано.

Но так вышло, что я «завоевал» сердце совсем другого человека. Я был назавтра вызван в ЦК ВКП(б), и ответственный работник Динамов мне сказал: «Ваши стихи, молодой человек, понравились товарищу Сталину. Он поинтересовался, как вы живете, не нуждаетесь ли в чем?»

Я поведал о своем неустроенном житье-бытье.

Так, благодаря случайным стечениям обстоятельств, в том числе и тому, что дочь Сталина звали Светланой, моя жизнь изменилась. А русоволосая девушка, ради которой «Колыбельная» превратилась в «Светлану», продолжала меня игнорировать…

На меня обратили внимание, мои стихи, опубликованные в журнале «Огонек», перепечатала «Правда».

Чем мы, молодые литераторы, жили в те годы? У нас на устах были слова: Абиссиния, челюскинцы, Испания, германский фашизм, Чкалов, Папанин, Громов… И мы откликались в своих произведениях именно на эти темы, и откликались искренне. Сталин был для нас человеком с большой буквы. Конечно, нас тревожило, что исчезают люди, что кого-то исключают из партии, арестовывают, ссылают, но мы думали, что это наверняка за дело. Разве могли мы не доверять официальной информации? И в то же время каждый из нас после очередного тревожного сообщения, безусловно, чувствовал себя тоже незащищенным.

В 1938 году Александр Фадеев написал обо мне статью в «Правде». Я тогда был уже автором «Дяди Степы» и по совету Фадеева, Маршака и Чуковского писал в основном для детей.

В 1939 году произошло заметное событие в литературной жизни – первое награждение большой группы писателей. Вместе с Маршаком, Шолоховым и Катаевым меня наградили орденом Ленина. Мне было тогда 26 лет. Как мне казалось, я крепко встал

на ноги, а присуждение в 1940 году Сталинской премии за книги для детей, может быть, стало для меня своеобразной «охранной грамотой».

22 июня 1941 года я с группой писателей находился в Риге. Услышав рано утром по радио объявление о том, что нужно ждать другого важного сообщения – выступления Молотова, я тут же сел в поезд и уехал в Москву. Я понял, что вот-вот начнется война, потому что услышал немецкую фразу: «Всем судам немедленно вернуться в порты своей приписки». Случилось неотвратимое. Бомбили станцию Даугавпилс, но наш состав благополучно проскочил. Приехал в Москву и встретившей меня около дома матери сказал, что иду в политуправление. До сих пор помню ее слова: «От службы не отказывайся, на службу не навязывайся». 27 июня по предписанию ГЛАВПУРа я выехал на Южный фронт.

«По русскому обычаю, надо „обмыть“ Гимн», – предложил Сталин

– А как вам «повезло» стать автором Государственного гимна Советского Союза?

– Да, повезло, но не автором, а соавтором. В 1943 году я со своим другом Габриэлем Эль-Регистаном работал в центральной газете ВВС «Сталинский сокол», куда меня направили после контузии в Одессе. Летом приезжаем в Москву с фронта. Совершенно случайно узнаю, что правительство приняло решение создать новый Гимн СССР. Для работы над текстом пригласили большую группу поэтов, в основном песенников. В тот же день я рассказал об этом Эль-Регистану. На следующее утро ко мне является мой друг и говорит: «Я видел сон о том, что мы с тобой авторы текста Гимна, я даже записал какие-то слова». И показывает гостиничный счет, на котором что-то записано. Так началось и мое участие в создании Государственного гимна СССР. Комиссия во главе с Ворошиловым и Щербаковым прочла и прослушала десятки текстов и вариантов музыки. Однажды Ворошилов приглашает нас с Регистаном в Кремль и сообщает: «Товарищ Сталин обратил внимание на ваш текст, будем работать с вами…» Как-то Сталин позвонил мне домой в час ночи, извинился за поздний звонок и сказал, что они слушали Гимн, что впечатление куцее – мало текста, нужен еще куплет. Я спросил: «О чем?» – «О нашей армии». «Мы армию нашу растили в сраженьях», – так родился этот третий куплет. За время работы мы неоднократно встречались со Сталиным. Вносили поправки по его замечаниям, пока наконец текст и музыка не были окончательно утверждены. В ночь на 1 января 1944 года новый

Гимн Советского Союза впервые прозвучал по Всесоюзному радио.

Надо сказать, что последнее прослушивание Гимна проводилось в Большом театре, где исполнялись гимны всех стран мира. После прослушивания нас пригласили в ложу правительства – к накрытому столу. Сталин нас встретил и сказал, что по русскому обычаю, надо «обмыть» Гимн. Посадил рядом. Здесь же были члены Политбюро: Калинин, Молотов, Ворошилов, Берия, Микоян, Хрущев, приехавший с Украины… Мы находились в ложе до пяти часов утра. Говорили в основном Эль-Регистан, я и Сталин. Остальные молчали. Когда было смешно, все смеялись. Сталин попросил меня почитать стихи. Я прочитал «Дядю Степу», другие веселые детские стихи. Сталин смеялся до слез. Слезы капали по усам. Во время разговора Сталин цитировал Чехова, он сказал такую фразу, я ее запомнил, что «мы робких не любим, но и нахалов не любим». Тосты поднимали мы и Щербаков. Сталин сделал нам замечание: «Вы зачем осушаете бокал до дна? С вами будет неинтересно разговаривать». Он спросил меня, партийный ли я. Я сказал, что беспартийный. Он ответил: «Ну ничего, я тоже был беспартийным». Нашими биографиями Сталин, видимо, не интересовался. Регистана он иронически спросил: «Почему вы Эль-Регистан? Вы кому подчиняетесь: католикосу или муфтию?»

Что мы могли сказать о Сталине тогда, в то время? Сталин был для нас – Сталиным… А мы, русский и армянин, Михалков и Эль-Регистан, два беспартийных офицера Красной Армии, – авторы текста Государственного гимна СССР. И только впоследствии мы узнали, что в то же самое время нашего друга, сотрудника газеты «Красная звезда» полковника Николая Николаевича Кружкова допрашивал в КГБ генерал Абакумов: «Твои дружки Михалков и Регистан давно у нас и во всем признались».

Об этом позже рассказал нам сам Кружков, к тому времени полностью реабилитированный и работавший, как и вы, в «Огоньке». Но нас никто не трогал. Очевидно, не очень просто было скомпрометировать в глазах Сталина тех, кому суждено было стать авторами слов только что утвержденного Государственного гимна СССР. Вот так и эта работа оказалась для меня «охранной грамотой».

Еще одна «небольшая» деталь: однажды, когда мы с Регистаном вышли из кабинета Сталина, за нами вышел Берия. «А если мы вас отсюда не выпустим?» – мрачно «пошутил» он.

В иных обстоятельствах эта «шутка» стоила бы нам дорого…

Вождь советовался, можно ли изменить знак

препинания

– Вы просто фаталист, Сергей Владимирович, и, мне кажется, вы во всем доверились судьбе?

– Нет, я не фаталист, но моя жизнь – это действительно цепь случайностей, игра судьбы. Вообще мне кажется, что кроме фашистского плена я ничего не боялся.

– Даже Сталина? Вообще, расскажите об этом человеке, вы же его лично знали. Что вы думали о нем тогда и что думаете о «великом из великих» сейчас, в наши дни?

– Однажды в музее Сталина в Гори меня попросили оставить запись в книге посетителей. Я написал: «Я в него верил, он мне доверял». Наивно? Может быть. Ну что я мог еще написать?! Так ведь оно и было! Это только сейчас история открывает нам глаза, и мы видим, что Сталин был непосредственно повинен в тех жертвах, которые понес советский народ.

Фигура Сталина – очень противоречивая: тиран, палач… Но трудно понять, почему он поддерживал хороших писателей, режиссеров, актеров? И в то же время не менее талантливые люди сидели в тюрьмах, уничтожались.

Я согласен с формулировкой Дмитрия Волкогонова: жизнь Сталина – «триумф и трагедия». Как осмыслить, например, такой эпизод? Однажды меня с огромным трудом разыскали на фронте и привезли к командующему Курочкину. Тот говорит: «Срочно звоните товарищу Ворошилову, он интересовался, где вы пропадаете?» Дозваниваюсь до Ворошилова. Слышу в трубке: «Товарищ Сталин просит у вас узнать, можно ли изменить знак препинания в такой-то строке?»

Что это?! Тысячи замученных людей, а тут знаки препинания.

– За какие произведения вы получили Сталинские премии?

– Первую – за стихи для детей. Вторую – за сценарий кинофильма «Фронтовые подруги». Третью – за пьесы «Я хочу домой» и «Илья Головин». Я был представлен и к четвертой премии – за басни. Но при обсуждении на Политбюро списка кандидатов на премию, который зачитывал Маленков, Берия с усмешкой спросил: «Это что, за „Лису и Бобра“, что ли?» Воцарилось молчание. Все ждали реакции Сталина, прохаживающегося по кабинету. После большой паузы Сталин произнес: «Михалков – детский писатель».

В опубликованном списке награжденных моей фамилии не значилось. Свидетелем этого обсуждения был Николай Тихонов, который мне о нем и рассказал.

– А за что вы удостоены Государственных премий?

– Одну премию я получил за организацию и работу

сатирического киножурнала «Фитиль», другую – за спектакль «Пена» в Театре сатиры.

– Вы назвали пьесу «Илья Головин», которая шла на сцене МХАТа имени Горького. Тот, кто знает содержание этой пьесы и время ее написания – сразу же после печально знаменитого постановления ЦК ВКП(б) о музыке[8], *– тот вправе спросить: пьеса явилась вашим откликом на это постановление?*

– Не скрою. Главную роль исполнял незабвенный артист Топорков. Музыку к спектаклю написал Арам Хачатурян, имя которого, кстати, тоже фигурировало в постановлении. В некотором смысле пьеса была конъюнктурной, так сказать, написанной по свежим следам жесткого несправедливого постановления. В моей пьесе утверждался примат народности искусства в борьбе с искусством абстрактным. Впрочем, я и сейчас стою на этой позиции. Спектакль имел успех. И, тем не менее, его появление на сцене выглядело желанием угодить партийной власти. Я сожалею об этом.

– Ваше отношение к Жданову, о котором сейчас много пишут и говорят?

– Жданова я лично знал плохо. Не общался с ним. Но его расправа с Ахматовой и Зощенко меня ошеломила. Я не понимал смысла его действий. Больше я о нем ничего сказать не могу, ибо только один раз видел его вблизи, когда он играл на рояле, а Сталин пел деревенские частушки. Это было 22 мая 1941 года, когда Сталин пригласил небольшую группу первых лауреатов Сталинской премии и показал им фильм «Если завтра война». Ровно через месяц она началась…

Хрущев – за сатиру

– А что вы сегодня думаете о Хрущеве?

– Хрущев, безусловно, очень много сделал в свое время для изменения обстановки в стране: началась реабилитация невинно осужденных во время культа, он первый заговорил о всеобщем разоружении. Самобытная личность, крепкий крестьянский ум! Помню, на одном из писательских съездов Хрущев делал доклад – большой, длинный. Довольно интересно было его слушать. Он говорил о многом. Но не обо всем… После доклада ко мне подошли наши чиновники от литературы, которые недвусмысленно заметили, что, мол, дело мое проиграно: «Хрущев о сатире ничего не сказал. Не сказал ни слова. Значит, нужна ли она теперь?» Вот такие были времена… Чиновники только и прислушивались к каждому слову свыше – не сказано, значит, не надо.

Я понимал, что надо исправлять положение, надо, чтобы Хрущев хотя бы несколько слов сказал о сатире. И вот на приеме в Георгиевском зале я подошел к Хрущеву и озвучил свою просьбу: «Что такое? – удивился Хрущев. – А почему я должен был еще что-то сказать?!» «А потому, – говорю я, – что каждое ваше слово начинают цитировать, изучать, и если вы ничего не сказали о сатире, значит, Никита Сергеевич, вы к этому жанру плохо относитесь, и это будет иметь роковые последствия не только для литературы…» «А где же мне это сказать?» – спрашивает Хрущев. «А вот сейчас и скажите прямо в микрофон». Хрущев подошел к микрофону и обратился к залу: «Вот тут товарищ Михалков говорит, что я ничего не сказал о сатире. Сатира нам нужна, она нам очень помогает!» и повернулся в мою сторону: «Ну вот я и сказал». Я опять обращаюсь к нему: «Надо, Никита Сергеевич, чтобы слова ваши попали в стенограмму доклада». Хрущев подозвал редактора «Правды» Сатюкова и дал указание: «То, что я сейчас сказал о сатире, вставьте в доклад». Этот эпизод липший раз возвращает нас к временам, когда руководящее мнение, компетентное или некомпетентное, волюнтаристски могло решать очень многое.

Вспоминается один из пленумов ЦК. Раньше на них приглашалось много гостей. Перед началом ко мне обратились некоторые товарищи, ратовавшие за сохранение памятников старины. То есть за то, что сейчас с таким успехом утверждается и поддерживается правительством. Они попросили меня передать Хрущеву письмо, в котором предлагалось создать общество охраны памятников культуры. Об этом я, собственно, и говорил с трибуны. Передаю письмо Хрущеву, а он не берет. «Не возьму», – говорит. Я настаиваю: «Никита Сергеевич, очень прошу взять, люди просили, и сам я всем сердцем за это дело». Он опять: «Не возьму!» Я – в дурацком положении: на глазах у всего пленума идет между нами обмен репликами. В конце концов, Хрущев уступил и с сердитым видом принял письмо. И вот я жду, когда кто-нибудь из выступающих меня поддержит. Ни один человек не поддержал! Ни один. В заключительном слове Никита Сергеевич говорит: «Вот тут Михалков и Паустовский защищают памятники старины», – и… выступил против содержания переданного мною письма. И тут же, на трибуне, что-то порвал. Не знаю, что именно: то ли текст письма, то ли какие-то свои заметки. По всей Москве поползли слухи: дескать, Михалков вылез и получил по мозгам. Злые языки всегда найдутся. Но все-таки общество по охране памятников истории и культуры было создано, и сегодня оно достойно служит Отечеству.

Правда, о том же пленуме остался в памяти и более веселый

эпизод. Два первых секретаря райкомов, серьезные люди, сидят и хохочут. Хрущев из президиума им говорит: «Вы что, на концерт пришли? Что вы там смеетесь?!» Один из них отвечает: «Извините, мы тут басни Михалкова читаем». Они книжку мою купили в киоске. Вот так всегда: серьезное и смешное бывает рядом.

– Как относился к сатире, к критике Брежнев?

– Я однажды спросил у Брежнева: «Леонид Ильич, ваше мнение о „Фитиле“»? Он говорит: «Неприятно смотреть». Как-то спросил Мазурова: «Кирилл Трофимович, „Фитиль“ смотрите?» – «Смотрю». – «Ну и как?» – «Три ночи потом не сплю». – «Ну так что, может, его прикрыть?» – пошутил я. – «Нет-нет, он нам нужен!»

А, выступая чуть позднее в Баку, Брежнев поддержал «Фитиль», когда я ему сообщил, что острый сюжет, затрагивающий честь мундира азербайджанских руководителей, не допущен в прокат.

Какие парадоксы! С одной стороны – застой, с другой – поддержка «Фитиля»!

Михалков – агент КГБ?

– Сергей Владимирович, в книге американского журналиста Баррона говорится о том, что вы и ваша супруга – агенты КГБ. Вопрос, я понимаю, деликатный, правда, не с точки зрения Баррона.

– Насчет жены не знаю. Но вспоминаю вот что.

Смерть Брежнева застала меня в Испании. Требуя комментариев к событиям, произошедшим в Советском Союзе, журналисты мне как депутату Верховного Совета СССР не давали прохода. Все спрашивали об одном: «Как вы смотрите на то, что во главе страны будет теперь шеф КГБ Юрий Андропов?» Когда наиболее приставучий газетчик довел меня до белого каления, на помощь мне пришел присутствовавший при беседе испанец. «Что ты к нему пристал? – набросился он на соотечественника. – При чем тут Комитет государственной безопасности? Да у них в СССР большинство людей думают о безопасности государства!»

Полная свобода ведет к анархии

Мне не раз приходилось встречаться с Леонидом Ильичом Брежневым. Он производил на меня впечатление доброжелательного и контактного человека. Но необъяснимо быстро Брежнев утратил связь с реальностью. Наверное, потому,

что по характеру был сибаритом. Как говорится, «красиво жить не запретишь». Но когда такой личности дается бесконтрольная власть, создаются все условия для удовлетворения ее сибаритских потребностей. А угодничество окружающих и вседозволенность стимулируют безнаказанность в тех слоях общества, для которых личное благополучие превыше всего. Нарушения социалистической законности: приписки, казнокрадство и коррупция, парадность, показуха, тотальный бюрократизм в годы застоя при попустительстве высших чинов в государственном аппарате разъединили общество, тормозили его развитие. Здоровые же силы практически не имели возможности противостоять этой беспринципности чиновников и руководителей. Колесо истории катилось не в ту сторону. Рождалось недоверие к тому, что провозглашалось с трибун, и к средствам массовой информации. Но вот Генеральным секретарем партии становится Юрий Владимирович Андропов, честнейший и скромнейший коммунист, все видевший со своего поста председателя Комитета государственной безопасности, но в условиях полного забвения демократизма и гласности не имевший возможности содействовать коренному изменению обстановки в стране. Для всего нужны соответствующие условия…

– Может быть, мы поговорим о роли личности в истории?

– Когда меня сегодня спрашивают за границей о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, я говорю, что сама жизнь выдвинула его на пост Генерального секретаря. Пришло время нового мышления.

Вспомним: при Сталине человека могли оклеветать, убрать с дороги, арестовать, уничтожить… При Хрущеве можно было попасть в такую немилость, в какую попали тогда, скажем, поэт Андрей Вознесенский, кинорежиссер Марлен Хуциев, скульптор Эрнст Неизвестный, некоторые другие. Несправедливый гнев руководителя партии – и поэта перестали печатать, художника – выставлять. Разгромные статьи в прессе предавали остракизму имя человека. В первую очередь вспоминаю о Борисе Пастернаке. В обстановке морального террора, развязанного вокруг имени Пастернака, многие писатели, в том числе и я, не нашли в себе гражданского мужества и согласились с решением об исключении его из Союза писателей. И приветствовали это решение. Сегодня горько об этом вспоминать. Время ставит все на свои места. При Брежневе многие, очень многие на себе почувствовали, куда уводит разрыв между словом и делом, – угнетала общая нестабильность. Только при Юрии Владимировиче Андропове атмосфера общественной жизни начала оздоровляться. Но судьба

отпустила ему так мало времени…

Что такое перестройка лично для меня? Это совсем иное отношение к жизни. Я, например, честно говоря, порою шел на поводу вместе со всеми. Не один, а вместе со всеми. Однако, когда громили Владимира Дудинцева за его прекрасный роман «Не хлебом единым», я единственный выступил в его поддержку. Это было в Дубовом зале Центрального дома литераторов.

Долго, например, я боролся за реабилитацию честного имени одного художника-оформителя, которого оклеветали, арестовали, обвинили, посадили, состряпав на него уголовное дело. Более четырех лет я писал, ходил во все инстанции, потому что был уверен: суд свершен над ним несправедливый. В конце концов, его не только реабилитировали, но еще и извинились перед ним. А между тем лично этого художника я не знал. Но меня тогда возмутило огульно сфабрикованное обвинение.

Дело в данном случае, конечно, не во мне одном, я не тяну на себя одеяло. Я просто знаю, что и во времена культа, и во времена застоя всегда находились честные, мужественные люди – коммунисты и беспартийные, которые пытались что-то делать во имя справедливости. Когда невозможно было доказать истину Рашидову, Щелокову, Чурбанову или Медунову, когда с трудом удавалось пробиваться к правде, тогда приходилось ждать подходящего момента для ходатайства, заступничества.

У меня есть басня «В нашем доме». В ней я рассказал о сантехнике Степане. За три рубля он сменит вам прокладку, за два рубля починит кран, если он течет. Без Степана дом не может обойтись. Но вот однажды затопило все этажи, и снова позвали того же Степана и говорят: «Можешь помочь, у нас наводнение». Степан отвечает: «Могу, но не лучше ли сменить всю эту систему?» Не систему строя, а сменить систему управления, систему хозяйствования, систему наплевательского отношения к людским заботам.

– А что вы думаете о понятии границ демократии и гласности?

– Любая свобода не отрицает порядка. Полная свобода в любом обществе переходит в анархию. Я написал об этом сказку для детей «Праздник непослушания».

Безграничной свободой наслаждаются, пожалуй, только настоящие йоги: они сидят, никого не трогают, никому не мешают – пребывают в нирване, это, как утверждают специалисты, свобода духа. Но если ты свой дух навязываешь другому?

Разве не готовили перестройку те писатели, которые создавали произведения острые, злободневные, смелые и

печатали их чаще всего с великим трудом? Я имею в виду Абрамова, Думбадзе, Бондарева, Гроссмана, Бека, Троепольского. То, что Шолохов долгое время молчал, разве не показывало, что он за перестройку? Он не воспринимал какие-то явления в нашей жизни, поэтому молчал. Сложными были судьбы Овечкина, Дороша, Радова. Впереди времени шли Дворецкий, Шатров, Володин, Рощин.

Для меня же перестройка открыла новые возможности сатирика и общественного деятеля. Стало легче противостоять несправедливости.

Я встретил Октябрьскую революцию в возрасте четырех лет. Сегодня мне – 75. Я воспитан советской школой, советским образом жизни, я – сын своего времени, прошел Отечественную войну; многого в своем времени, может быть, не понимал, да просто не знал, как и миллионы советских людей. И только после XX, а затем после XXVII съезда КПСС все мы прозрели.

Но я не могу затаптывать прошлое в грязь и присоединяться к тем, кто пытается спекулировать на трагических периодах в жизни моей Родины. Несмотря на пережитое, за 70 лет моя Родина стала великой державой. Народ страдал, воевал, побеждал, трудился, верил, терпел – народ выстоял.

К перестройке сегодня пристраиваются и те, кому вообще социалистический строй противопоказан и кто только и ждет повода, чтобы злорадно прошептать: «Эксперимент не удался!» И говорят они об этом, конечно, не прямо, а за спиной. Это тот «человеческий фактор» – балласт, который хочет отбросить нас в прошлое.

Однажды, это было в 1962 году, меня пригласили в Центральный Комитет партии, в отдел агитации и пропаганды. Говорил со мной Александр Николаевич Яковлев. Мне предложили организовать сатирический киножурнал. Когда меня спросили, что мне для этого надо, я ответил: только одно – доверять! Если же я не оправдаю доверия, то пускай этот киножурнал делает кто-нибудь другой. И вот уж 26 лет каждый месяц выходит наш «Фитиль». Когда же возникали цензурные проблемы, мы спорили, отстаивали нашу позицию, доказывали. И нас поддерживали. Как правило, «наверху» находились товарищи, которые говорили: «Продолжайте свое дело! „Фитиль“ полюбился народу». И вправду, «Фитиль» был в годы застоя (теперь это особенно видно) среди тех общественных сил, которые подготавливали демократизацию общества.

Сейчас много говорят о том, что критика воспринимается деятелями литературы и искусства болезненно, что у нас есть

«неприкасаемые», то есть люди, защищенные своими высокими постами, своими амбициями. Доля правды в этом есть. Но ведь любой литератор, любой деятель искусства всегда болезненно воспринимает критику в свой адрес. Однако критика критике рознь. На доброжелательную, объективную критику обижаться бессмысленно. В моей творческой жизни большую роль сыграла доброжелательная критика Александра Фадеева, Самуила Маршака и кинокритика Ильи Вайсфельда. Он в свое время был очень удивлен, когда я попросил его быть редактором моей новой пьесы, несмотря на то, что перед этим он довольно жестко покритиковал одну не самую удачную мою пьесу.

К сожалению, у нас под словом «критика» часто подразумевают ругань. Когда сегодня критика спрашивают: «Почему не критикуете такого-то?», это равносильно вопросу: почему не ругаете?

В последнее время общая тональность многих публичных выступлений вызывает у меня большую настороженность. Зачем, например, МОСХу накануне съезда художников, когда самое время на страницах собственного органа печати – газеты «Московский художник» – обсуждать проблемы изобразительного искусства, выступать с чудовищно безграмотными, развязными статьями против Владимира Маяковского?! Кому сие понадобилось? Ведь все подвёрстывается под имя Сталина! Можно ли всю литературу 30-х годов клеймить именем Сталина, пытаясь этим компрометировать многих литераторов? Для чего? Чтобы и Горькому, и Алексею Толстому, и Всеволоду Вишневскому, и Александру Фадееву предъявить счет: почему, дескать, они не были репрессированы, почему получали от правительства награды, почему их издавали в то время, когда другие сидели в тюрьмах и сталинских лагерях? Это – эмигрантский взгляд на литературу того времени, которое у нас принято называть эпохой культа личности.

Иной раз, полемизируя друг с другом, мы допускаем неточные формулировки, которые потом подхватываются, «обрабатываются», а то и преподносятся уже в виде определенной тенденции. Это все идет от старого, когда каждое слово непременно согласовывалось, писалось на машинке, а затем уже читалось с трибуны. Так постепенно мы разучились культурно дискутировать, терпеливо и аргументированно возражать оппонентам. Утрачены приемы ораторского искусства. Речи наши скучны, порой косноязычны. А между тем, есть у кого поучиться. Вспомним выступления Сергея Герасимова, Александра Фадеева, Александра Довженко, Виктора Шкловского, Бориса Эйхенбаума.

Как хорошо они говорили, как точно формулировали свои мысли! Культура их лексики вызывает зависть. Из ныне здравствующих к прекрасным ораторам я отношу академика Дмитрия Лихачева, режиссера Георгия Товстоногова, актера Михаила Ульянова… А что, если организовать молодежные клубы ораторского искусства? Ведь раньше преподавали курс риторики!

– Сергей Владимирович, у вас много наград. К семидесятипятилетию прибавилась еще одна – десятый орден. Что вы вообще думаете о наградах?

– Меня огорчают отдельные выступления в печати о наградах и премиях. Я считаю такие выступления тенденциозными, несправедливыми. Меня огорчает, что люди, получившие по праву свои награды, стали теперь как бы стесняться их. Я своих наград не стесняюсь. И когда мне некоторые товарищи, лжескромники, или те, которые хотят казаться очень современными, говорят, что они своих наград не носят даже по праздникам, у меня возникает вопрос: «А может быть, они и впрямь получили их не за дело?»

К счастью, открылась возможность публикаций произведений, ныне хорошо известных, которые совсем недавно не имели выхода к читателю. Важно, что шлюзы открыты. Шлюзы, а не кингстоны, как это хотят представить те, кто опасается напора этого потока.

Считаю, что вовремя не врученные награды – это крайняя несправедливость. Владимиру Дудинцеву за его роман «Не хлебом единым» я бы и сегодня дал Государственную премию. Я ратовал за награждение Анатолия Рыбакова, его роман «Тяжелый песок» считаю достойным произведением. Считаю, что премии заслуживает, и уже давно, Юрий Нагибин. А разве справедливо, что художник Илья Глазунов до сих пор не отмечен премией?!

Речь сегодня идет о консолидации всех сил, для того чтобы общим фронтом выступать за дело перестройки. Известно, что Сталин похвалил не самое лучшее произведение Максима Горького «Девушка и смерть». Основываясь на этом комплименте, порочить Максима Горького, что, кстати, уже просматривается в некоторых публикациях? Их авторы пытаются принизить роль и значение великого пролетарского писателя, а вслед за ним – и лучшее в литературе 30—40-х годов.

Я считаю, что сейчас, как никогда, надо развивать наши отношения со странами Запада. Очень важны контакты между деятелями культуры на любых условиях. К сожалению, этого многие не понимают, по обывательски относясь к тому, что, дескать, режиссер имярек почему-то ставит спектакль на зарубежной сцене, а не на советской, что артист такой-то

снимается в зарубежном фильме, а не в советском. Люди не понимают, по-видимому, что прошло время «железного занавеса». Чем больше мы будем сотрудничать с зарубежными театрами, киностудиями, книгоиздательскими организациями, тем успешнее будем пропагандировать наше мировоззрение, наш образ жизни, наши идеалы, нашу культуру.

Сегодня противников нового мышления радует любая наша ошибка, любой просчет. А просчеты, ошибки на пути переустройства общества неизбежны, как неизбежно и то, что они будут исправляться по ходу жизни.

В Италии меня спросили: «Почему в СССР только одна партия?» Я в шутку ответил, что у нас две партии: одна – официальная, другая – неформальная. «Какая же эта партия?» – «Это партия людей, объединяющихся на почве противодействия перестройке. Они понимают, что перестройка не дает им возможности жить так, как они жили раньше. Они, может, и перестроились бы, да не могут, потому что это им не нужно».

О сыновьях

– Вы слышали такую эпиграмму: «Земля, земля, ты слышишь этот зуд? Три Михалкова по тебе ползут!»?

– Грубо, но чем больше эпиграмм, тем лучше. А вообще я часто отвечаю на вопросы о моих сыновьях. И у нас, и за рубежом. Андрей и Никита – оба народные артисты РСФСР – пошли по другой стезе, чем я: попытавшись приобщиться к музыкальному искусству, они посчитали себя недостаточно для этого подготовленными и по собственной инициативе, без всякого родительского влияния отдали предпочтение театру и кино. Старший заявил о себе, как свидетельствовала критика, интересными фильмами «Первый учитель», «Дядя Ваня», «Романс о влюбленных», «Дворянское гнездо», «Сибириада», а также фильмом «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» – лентой, 20 лет пролежавшей на полке и только сейчас выходящей на экраны. Наши кинокритики и общественность считают эту картину явлением советской кинематографии. Фильмы младшего – Никиты: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни Обломова», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Раба любви», «Родня», «Без свидетелей», – тоже известны.

Как отец я никогда не мешал сыновьям, понимая, что у каждого человека своя дорога в жизни, что он сам себе ее выбирает. Вообще о сыновьях говорить трудно – они давно взрослые самостоятельные люди, у каждого – свои взгляды на

жизнь и искусство. Но вот о чем хочу сказать особо: бытует такое понятие «писательские дети». Мои сыновья тоже писательские дети: мать – Наталья Кончаловская, отец – Сергей Михалков. Но при чем тут «писательские дети», «актерские дети»? Так можно говорить лишь о тех, кто, не имея никаких данных, вылезает на поверхность благодаря знакомствам, положению родителей, родственников. Считаю, что, пользуясь папиным именем, маминой должностью, такое дитя может продвигаться до конца своей жизни по административной, чиновничьей, дипломатической линии. Но в творческой работе такие потуги кончаются крахом.

Не хочу называть конкретные имена, фамилии, они на слуху и на виду. Если человек талантлив, то не имеет значения, кто его родители. Ну кто может сказать, что у Давида Ойстраха сын плохой скрипач? Думаю, никто: Игорь Ойстрах талантливейший музыкант.

Да, конечно, есть обывательское суждение о том, что михалковским детям легче было пробиться. Что значит пробиться? Государство, например, дало деньги на картину. Это значит, ты уже пробился? Нет! Ведь если ты снял плохой фильм, значит, тебе зря давали средства, значит, ты не оправдал доверия как творческая личность, а к тому же посрамил доброе имя своих родителей. Мне кажется, что в такой ситуации бывает стыдно всем. Да, ты пробился на студию, в театр, но не в искусство.

И еще в связи с этими разговорами. Почему мы часто говорим о династиях в рабочем классе? Почему же для искусства другие критерии?

«…богата талантами русская земля»

– Сергей Владимирович, вы общались и общаетесь с выдающимися личностями нашего времени. О ком бы вы хотели сейчас сказать несколько слов?

– Да, было много встреч, было много и расставаний. Когда я оглядываюсь назад или же окрест себя сегодня, я думаю, как богата талантами русская земля…

…Алексей Николаевич Толстой – человек широкий, человек застолья, не разгульного, а освещенного умной, живой беседой, тонко понимающий русское слово. Это классик советской прозы. Алексей Николаевич первый посоветовал мне: «Ты должен писать басни!»

…Таких людей, как Александр Фадеев, у нас сейчас в литературе просто нет. На своем пятидесятилетии в зале Чайковского он говорил о Сталине. Фадеев в Сталина верил.

Думаю, что трагический конец Александра Александровича не мог быть не связан с крахом его идеалов. XX съезд партии и Фадеев… Может быть, именно тогда он все понял. Он был человеком честным, добрым, но иногда и очень жестким в своих оценках. Он мог в лицо сказать правду, не боясь потерять дружеские отношения. Он мог защитить человека, но его возможности были не беспредельны. У меня к нему особое отношение – он первым написал в «Правде» статью о моих стихах для детей.

В последние годы жизни Фадеев много болел, и мне кажется, его уход из жизни можно объяснить не только разоблачением культа Сталина, но и большой творческой неудачей. Он понял, что столько времени потрачено на пустое дело: концепция начатого им романа «Черная металлургия» оказалась надуманной.

Лучшего руководителя союзной писательской организации трудно было найти.

…Я не мыслю советскую поэзию без Твардовского. Когда у меня плохое настроение, я снимаю с полки вечную солдатскую книгу «Василий Теркин» и перечитываю ее. На посту редактора «Нового мира» он был, как теперь говорят, человеком нового мышления. Смелым, бескомпромиссным, требовательным к себе и к другим. На таких, как он, держится искусство.

Современники никогда не видят великое, которое рядом с ними. Как говорится, лицом к лицу лица не увидать. В чем-то это относится и к Твардовскому.

…Валентин Распутин – яркий представитель целой плеяды русских советских прозаиков, творческая жизнь которых посвящена укреплению нравственного здоровья общества. К таким писателям я отношу и Федора Абрамова, и Виктора Астафьева, и Юрия Бондарева, и Василия Белова, и Сергея Залыгина, и Евгения Носова.

…Я не все целиком принимаю в творчестве Валентина Пикуля. Но он писатель чрезвычайно интересный, много думающий о патриотизме русского воинства, и по этой причине его книги имеют, несомненно, воспитательное значение. Им написаны десятки романов и повестей. Некоторые справедливо подвергнуты критическому анализу. Ученые-историки иногда уличают автора в тех или иных неверных утверждениях, даже в фактических ошибках. Наверное, это так, но у Пикуля есть произведения, которые по праву занимают достойное место на книжных полках. Секретариат Союза писателей РСФСР дважды безрезультатно выдвигал кандидатуру писателя на Государственную премию.

Как я отношусь к постановлению Союза писателей об ошибочности публикации романа «У последней черты»?

Этот роман из «дворцовой жизни» пользуется у читателей большим интересом, думаю, в основном потому, что автор, хотел он этого или не хотел, показал исторические эпизоды через замочную скважину.

Меня удивляет необъективное отношение академиков живописи и руководителей Союза художников к личности народного художника СССР профессора Ильи Глазунова. Он есть, и никуда от этого не уйдешь. Признание народа он получил. Глазунов искренне хочет возродить русский портрет, русскую школу живописи. Учеников его мастерской в институте имени Сурикова отличают интересные работы. К сожалению, в нашей творческой среде все еще очень могущественна зависть, даже когда речь идет о неоспоримом таланте, много лет привлекающем колоссальные аудитории на родине и за ее рубежами.

…Владимир Высоцкий в искусстве – уникальная творческая личность, хотя я не считаю его великим поэтом. Это такой же народный талант, как Шукшин, которого я очень люблю. Когда Высоцкий умер, меня удивило, что нет некролога. Я даже пытался помочь напечатать его. Звонил, просил. Мне говорили: «Да, да, разберемся, посмотрим». Но ничего не сделали. И пришлось утешаться тем, что его похороны, по существу, превзошли все мыслимые некрологи. И когда сын мой Никита выступил на панихиде в Театре на Таганке, я сказал ему: «Ты – молодец!» И когда Михаил Ульянов тоже выступил на той же панихиде, я и ему сказал: «Хороший пример честного, объективного отношения к ушедшему из жизни товарищу по искусству». Но, конечно, если начнут выпускать майки с портретом Высоцкого и носить их, то это уже будет оскорблением имени художника, памяти художника. Если на его могиле будут оставлять всякого рода сувениры – это уже фетишизм. Высоцкий не достоин такого обывательского отношения…

Я же, вероятно, должен отнести себя к писателям, которые уже почти все, что могли сказать, сказали. Из нашей беседы, я думаю, видно, что мне в жизни везло: меня миновала трагическая участь тысяч и тысяч соотечественников. Я не попадал в плен, не был убит на войне, как десятки военных корреспондентов. Даже не был ранен. Я рано нашел себя как детский писатель и сатирик. Мне повезло на друзей, на умных, талантливых, доброжелательных наставников. Я дорожил и дорожу любовью моих читателей, а это – люди всех возрастов… Что еще сказать?..

– Приближается тысячелетие крещения Руси. Скажите,

родители вас крестили? Что вы вообще думаете о религии?

– Скажу так. Я крещеный. Религия – это мировоззрение. Каждый человек волен верить в то, что он исповедует. Лично я исповедую веру в силу добра и разума.

Да, приближается тысячелетие крещения Руси. Это большой праздник, который несет в себе не только православное религиозное начало, это праздник общегосударственный, и отметить его надо как великое событие в истории Отечества, в истории христианства.

– Вы считаете, что мы достигли пределов в желании познать непознанное (возвращенные Набоков, Гумилев, вновь признанная на Родине Одоевцева, через два десятилетия опубликованный роман Рыбакова, правда о Вышинском, Берии…), наверстать упущенное другими поколениями?

– У меня был приятель, племянник Станиславского. Он жил в Швейцарии в местечке Монтре. Там жил и писатель Владимир Набоков. Однажды, будучи в гостях у моего приятеля, я ему сказал: «Джерри, познакомь меня с Набоковым». «Не советую тебе с ним знакомиться, – сказал Джерри. – Не надо рисковать». «Почему?» – «Вас, советских, не любят. Я не хочу ставить тебя в неловкое положение. Набоков может тебя не принять». И я действительно не решился просить его больше об организации встречи с Набоковым.

Знал бы Набоков, что о нем через несколько лет будут писать статьи и публиковать в советских журналах его стихи и прозу. Знал бы… Кстати говоря, Беллу Ахмадулину он принял и довольно нежно говорил о России. Времена и люди меняются.

Ирина Одоевцева? Это хорошая русская поэтесса, долгое время жила во Франции. Недавно вернулась на родину. Буквально на днях мы приняли ее в члены Союза писателей СССР. Дай ей бог здоровья и новых стихов!

Вообще я должен сказать, что за рубежом видел много русских людей, которые с огромным благоговением говорили о Советской России, о советской культуре. Могу, в частности, назвать имя Эдуарда Фальц-Фейна, у которого я бывал, человека, не жалеющего средств для того, чтобы хоть что-то делать для России. Сожалею, что нескладно вышло с Сержем Лифарем, который хотел преподнести нам ценные реликвии, но мы не сумели проявить должного такта и внимания к нему.

…Николая Гумилева надо было давно вернуть отечественной культуре. В конце 70-х годов я попытался помочь этому. Дважды ходил в ЦК КПСС к Суслову с обстоятельным, как мне кажется, весьма аргументированным письмом, в котором говорилось о значении Гумилева для русской поэзии. Суслов пообещал: «Мы

подумаем». Однако положительного решения не последовало.

Надо постоянно держать руку на пульсе. «Дети Арбата» напечатали – это правильно. «Ночевала тучка золотая» Приставкина напечатали – тоже правильно. «Мужики и бабы» Можаева – тоже справедливо напечатали… Но мне не нравится, что, когда начинаются дискуссии, в них принимают участие люди, за спиной которых ничего нет, которые в своем творчестве ничего не доказали и только ораторствовали с трибун. То, что мы пишем о Сталине, о Лысенко, о Берии, о Вышинском, – все это нужно, необходимо, об этих фигурах давно надо было открыто писать и говорить – уже во времена Хрущева. Большой разговор о времени культа личности тогда уже начинался. Но только сейчас открыты шлюзы. Повторяю, шлюзы открыты, а не кингстоны. Эти шлюзы оздоровляют общество, духовную атмосферу. Кингстоны же мы не собираемся открывать. Хотя некоторые противники перестройки, злопыхатели, быть может, и хотели бы этого.

Март 1988

Глава 8. Сын Есенина приезжает из Америки на могилу отца

«…жить больше дни не стоит
все равно…»

Когда Надежда и Осип Мандельштам приезжали в Ленинград, они останавливались в доме Надежды Вольпин. Однажды маленького сына хозяйки спросили, показывая на Осипа Эмильевича: «Кто этот дядя?» Ребенок без запинки ответил: «Это дядя О». Мандельштам был удивлен столь образному мышлению мальчика.

…Квартира в писательских домах на Аэропортовской. Я примчался сюда после всполошного звонка: «Ты что, не знаешь? В Москву прилетел Есенин-Вольпин! Да-да, тот самый, гениальный математик и поэт, которого не выпускали при Андропове из психушек…»

– Итак, вы – сын Сергея Есенина.

– В моем метрическом свидетельстве записано: «Гражданин Вольпин Александр Сергеевич, родился 12 мая 1924 года. Отец – Есенин Сергей Александрович, мать – Вольпин Надежда Давыдовна». Под фамилией Вольпин я жил до отъезда из Советского Союза и никогда ни к каким властям с просьбой об изменении фамилии не обращался. Хотя получалось так, что многие называли меня Есениным. Но если я Вольпин, а меня кличут Есениным, то объяснять каждому, что Есенин – это мой отец, неудобно. Менять материнскую фамилию на отцовскую я не хотел, потому что вырос с фамилией Вольпин. На двойную фамилию требовалось разрешение Министерства внутренних дел, но обращаться в такую инстанцию не было никакого желания. Так я и остался с данной мне мамой фамилией, хотя когда-то мой учитель Павел Сергеевич Александров посоветовал подписывать научные статьи двойным именем. Возник как бы псевдоним. Так я и живу, уже теперь официально имея двойную фамилию.

– Вы не были на родине целую вечность…

– Да, уехал я из Советского Союза 31 мая 1972 года. Сейчас я, гражданин Соединенных Штатов Америки, нахожусь в СССР в частной поездке в связи с преклонным возрастом моей мамы.

– Александр Сергеевич, ваше имя, я это помню, одно время было довольно громким, а потом вы пропали, о вас забыли. Что случилось, как вы оказались за границей?

– Причины отъезда я четко указал в анкете для ОВИРа. Отъезду предшествовала беседа в милиции, где мне сообщили, что появилась возможность покинуть Советский Союз. Так, не вдаваясь в детали, я и написал, что «причиной отъезда является появление возможности покинуть Советский Союз». Вы улыбаетесь, а мне тогда было не до смеха.

События развивались так. В 1946 году я окончил Московский университет, а затем аспирантуру по специальности – математика. В 49-м защитил диссертацию, летом поехал на работу в Черновцы. Там меня и арестовали по обвинению в антисоветской агитации. Допросы, шантаж, особое совещание… Не хочу вспоминать подробности, это длинная тема. Надеюсь, уже историческая. По тем временам я отделался довольно легко: просидел около года в ленинградском сумасшедшем доме на Арсенальной. Оттуда – ссылка в Караганду на пять лет, но поскольку в 53-м году кое-что изменилось, я вернулся в Москву.

Работал в Институте научной информации на Соколе, редактировал и переводил книги. Шесть лет внештатной работы. Затем снова Ленинград и снова тот же самый сумасшедший дом. Вернулся в Москву через полтора года. Вплотную занялся наукой. С 1956 года стал развивать новое, как я называл его, ультраабстракционистское направление в основах математики. Теперь это называется ультраинтуиционистская критика. Неспециалистам это скучно, но скажу, что речь идет о пересмотре традиционных допущений, таких как единственность натурального ряда: 1, 2, 3, 4, 5… и числа, скажем, 15. Единственно оно или нет? Тут есть вопросы.

Ролью отождествлений в основаниях математики, по-моему, никто, кроме меня, надлежащим образом не занимается. Пусть звучит нескромно, но я могу это утверждать после многих лет работы. Судить и разбираться в этом будут коллеги и потомки. Я же стою на своем пути. Никаких аргументов, кроме чисто логических, я во внимание не принимаю. Логика должна быть независимой. Логику надо возвращать в ее естественное состояние.

Условия работы во ВИНИТИ были достаточно либеральными для того, чтобы продолжать свои занятия. Итог – опубликованная в 1969 году книга. Начал работать над второй. Но времена менялись, после свержения Хрущева начались явления, в настоящее время мягко и скромно характеризуемые словом «застой», а по сути это был рецидив сталинизма. Арестовали писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Им угрожало негласное судилище по статье 70-й. Я решил бороться за их освобождение, а самое главное – за гласность готовившегося

процесса. В акциях участвовал вместе с ныне покойным физиком Валерием Никольским, Владимиром Буковским, Юрием Титовым, нынче покойной Еленой Строевой, проживающей в Мюнхене Юлией Вишневской. Той самой, которую забрали в психушку перед началом митинга.

5 декабря 1965 года, в День Конституции, на Пушкинской площади мы организовали митинг. Требовали одного: гласности суда, уважения главного закона страны. Придраться к нам было трудно. Ведь ничего другого мы не требовали. Но людей все-таки потаскали по отделениям, хотя на аресты власти не решились. Мы же добились своего: суд, как известно, был гласным. Правда, довольно странной гласностью: я, например, не мог попасть на суд, да и никто из знакомых, кроме свидетелей, на нем не был. Но сам факт, что суд был формально гласным, избавлял тех, кто там присутствовал, и самих обвиняемых от ответственности за разглашение.

Ну, а потом усилиями уже других диссидентов демонстрации вошли в норму. Так что, как говорится, наше дело не пропало.

Помимо демонстраций протеста в обществе стали распространяться петиции с требованием соблюдения законности, вырабатывалось повышенное самосознание в кругу прежде всего московской интеллигенции. Мой друг Валерий Николаевич Чалидзе организовывал семинар, который в дальнейшем преобразовался в Комитет прав человека, с участием Чалидзе, Твердохлебова, Шафаревича и академика Сахарова. Я входил в комитет в качестве эксперта. Его корреспондентами были Александр Галич и Александр Солженицын. Издавался журнал «Общественные проблемы» – со всякого рода инструкциями. Я написал нечто вроде памятки «Как вести себя на допросах».

«А. С. Вольпин подготовил „Юридическую памятку для тех, кому предстоят допросы“. Допрос может предстоять каждому – иногда для этого достаточно того, что ваш номер телефона есть в записной книжке, взятой при обыске. Но мало кто знает как свои права, так и пределы прав следователя, ведущего допрос. „Памятка“ Вольпина, хотя и написанная в свойственном автору усложненном стиле, дает огромное количество юридических сведений, необходимых допрашиваемому для того, чтобы противостоять возможным нарушениям законности и не стать их бессознательным пособником». – Из «Хроники текущих событий», Амстердам, Фонд имени Герцена.

– В это время я получил официальное приглашение в Соединенные Штаты Америки на научную конференцию, на

которой должен был выступать с докладом о своем математическом открытии. Я понимал, что меня вряд ли выпустят. Будут тянуть время, выставят бюрократические шлагбаумы, а потом откажут. И я решил сперва получить визу от американской стороны. Написал в посольство и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Через три дня меня забрали, посадили в больницу имени Кащенко и стали допрашивать – делал ли я что-нибудь для того, чтобы покинуть Советский Союз. В течение трех месяцев таскали по психушкам, из одной в другую. Любопытно, что будучи в психбольнице, я получил ответ из американского посольства, в котором указывалось, что сначала я должен обратиться в советские инстанции, а потом уже к ним. Мне показалось, что весь мир сошел с ума.

После этого случая при первой же возможности меня забирали в психбольницу. Или отправляли в командировки…

«1 апреля 1968 года в центральных газетах опубликованы тексты некоторых выступлений на городской партийной конференции. Особое внимание привлекли выступления Президента Академии наук СССР М. В. Келдыша и первого секретаря правления Московской писательской организации С. В. Михалкова. Центральное место в этих выступлениях – осуждение тех „многочисленных коллективных писем-протестов“, которые были направлены в январе – марте в директивные органы по поводу… принудительной госпитализации известного математика Есенина-Вольпина». – Из «Хроники текущих событий», Амстердам, Фонд имени Герцена.

– …Заставляли посещать их, звонить им, извещать о своих планах. Ну, например, когда собирался очередной партийный съезд, мне предложили покинуть Москву, оформили командировку в Эстонию. Времена становились все хуже и хуже. Начинали брать ребят. Арестовали Буковского. Юлию Вишневскую опять посадили в психушку. Так что на этот раз я отделался всего лишь… Эстонией.

«Визит президента США Р. Никсона в СССР (22–30 мая) сопровождался своеобразными действиями властей. В райотделы милиции были вызваны Т. Ходорович, А. Вольпин и 15 активных участников движения за право выезда евреев в Израиль. От них потребовали обещания, что во время визита Никсона они не будут совершать „антиобщественных акций“. На время визита Никсона срочно были посланы в командировки из Москвы А. Вольпин и др.». – Из «Хроники текущих событий», Амстердам, Фонд имени Герцена.

– Правда, когда я чуть замешкался, – 29 марта, как помню, это было, – пришли те самые в белых халатах. Говорю: «Ой, вы меня не застали. Я уже на вокзале». – «Поедемте с нами». – «Нет», – говорю, – и показываю железнодорожный билет. – «Ну, вы действительно уезжаете?» – «Конечно». – «Тогда вы прекрасно понимаете ситуацию».

Возвращаюсь из Эстонии и в почтовом ящике нахожу вызов в Израиль, от совершенно незнакомого мне лица. Но я-то знаю, что приглашение можно использовать для отъезда. И решаюсь… Да и вообще, уже припирало. Становилось невмоготу. Буковскому Володе надавали 12 лет всякой прелести. Чалидзе должен был сворачивать свои общественные проблемы. Было ясно, что особенно развернуться не дадут. Научную же деятельность, – рассуждал я, – смогу продолжать и на Западе не хуже, чем здесь. А здесь мне светило только гуляние по психушкам, так что тянуть было нечего. А тут как раз и вызов в милицию: власти предложили покинуть страну… Чашу их терпения переполнило то, что я снова подписал петицию в органы власти.

«21 апреля 1972 года члены Комитета прав человека Сахаров, Чалидзе, Твердохлебов, Шафаревич и эксперт комитета Вольпин обратились в Президиум Верховного Совета СССР с мнением о восстановлении прав насильственно переселенных народностей и этнических групп: крымско-татарского народа и месхов…» – Из «Хроники текущих событий», Амстердам, Фонд имени Герцена.

– Комедию ломать, что еду к своим родственникам, я не стал. В Израиль или еще куда-нибудь – не все ли равно. «Вам нужна эта бумажка, возьмите», – сказал чиновник. «Но мне не знакомо это лицо». Когда я оказался в Европе и кое-что узнал, то стал понимать – в Израиле мне будет плохо: ни конституции я не знаю, ни языка, да и далек я от еврейского образа жизни. К тому же мне сказали, что в Штатах немедленно дадут работу. Поехал в Штаты и застрял там навсегда. А в Израиле так никогда и не был. Может быть, побываю. Втянулся в американскую жизнь, стал американским гражданином, продолжаю заниматься научной деятельностью.

Сейчас приехал к маме. И раз уж здесь в России времена гласности, идет перестройка жизни, остается пожалеть, что я не столь молод, чтобы начинать жить сначала.

– Нет ли у вас ощущения, что и вы внесли свою лепту в дело перестройки?

– Многие вносили. Конечно, во многом изначальную роль сыграла та самая демонстрация с требованием гласности суда над

Синявским и Даниэлем. В ней участвовало 80 человек. Она-то и пробила некоторую брешь. Такая деталь: никто из нас практически не читал сочинений Синявского и Даниэля и защитить их никто бы не смог, процесс защиты стал бы пустой бессодержательной болтовней. Но остро стояли юридические, судебные вопросы: людей осуждали безвинно за слова. Понятие гласности уходит к проповедям прошлых веков, а сам термин «гласность» в понимании «открытость», «публичность» заимствован из советского уголовно-процессуального кодекса. Так что мы настаивали на законности в самом широком смысле слова…

Много раз Александр Есенин-Волышн обращался в различные советские инстанции по поводу нарушений прав человека, законности в СССР. Его подпись стоит на многих петициях в ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, в ООН.

Летом 1969 года А. Вольпин написал письмо в редакцию газеты «Известия» по поводу статьи Мэлора Стуруа «Мусор, который пора вымести». Стуруа предлагал «вышвырнуть» из ООН ряд неправительственных организаций по защите прав человека. Вольпин опроверг аргументацию Стуруа, основанную на умолчаниях и передергиваниях, и предложил газете обратиться к проблеме гражданских прав, в частности к исправительно-трудовому праву. «Может быть сейчас, – писал А. Вольпин, говоря о праве заключенных на свободу переписки, – в какой-нибудь советской тюрьме сидит и подвергается беззаконным издевательствам невиновный человек, не имеющий возможности сообщить об этом вашей газете? А она скорее всех международных организаций могла бы пресечь беззаконие. Имея в виду возможность хотя бы одного такого случая, я не понимаю, как могут „Известия“ пренебрегать проблемами соблюдения УПК и ИТК, предпочитая печатать поклепы Стуруа на неправительственные правовые организации».

А. Вольпин написал письмо «Ко всем мыслящим людям». Приветствуя великую новость – полет людей на Луну, автор задумался о будущем космических полетов. Готово ли человечество к тому, чтобы в космосе не прибегнуть «к вековому земному приему насильственного решения тех вопросов, которые при более высокой нравственности мы решали бы только мирными средствами»? Вольпин говорил о трагическом распространении насилия в мире, о «косности, укрепляющей порочные традиции подчинения и страха». Вывод: то время, что осталось до широкого распространения межпланетных полетов, должно быть использовано не только для научного и

технического, но и для нравственного прогресса. В постскриптуме он написал: «Находясь в Москве и на свободе, чего лишены мои коллеги по свободомыслию А. Марченко, П. Григоренко, И. Габай, А. Синявский, Ю. Даниэль, Ю. Галансков, А. Гинзбург, В. Буковский, Л. Богораз-Брухман, П. Литвинов и многие другие, я считаю своим долгом провозгласить их полное право выражать восхищение небывалым достижением человеческой мысли и смелости».

А вскоре он написал письмо Генеральному прокурору СССР Р. Руденко о том, что судебные процессы по обвинению в распространении заведомо ложных (клеветнических) измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй, в глазах мыслящих людей выглядят скорее как средство запугивания инакомыслящих, чем как способ борьбы с распространением антиобщественной клеветы.

В третьем выпуске текстов «Самиздата» (январь – февраль 1970) напечатана статья Вольпина «О факультативном протоколе к Пакту о гражданских и политических правах», в котором обсуждается право петиций и критикуется позиция СССР, не признающего права частных лиц жаловаться на государство.

22 мая 1970 года А. Вольпин вместе с Буковским, Якиром, Вишневской и другими обратился к правительству Советского Союза и в ООН с призывом об освобождении Андрея Амальрика, арестованного за сочинение «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?».

4 июня 1970 года группа научных сотрудников АН СССР обратилась к ученым, научным и творческим работникам всего мира с призывом организовать широкий и всесторонний бойкот научным, техническим и культурным связям с официальными властями и учреждениями СССР, приостановить сотрудничество и отказаться от всех культурных контактов, пока Жорес Медведев, ученый-биолог с мировым именем, не будет освобожден и перед ним не извинятся за совершенное насилие. Письмо-протест министру здравоохранения СССР, министру внутренних дел СССР и Генеральному прокурору СССР организовал и подписал Александр Вольпин. Рядом стояли имена А. Сахарова, И. Тамма, М. Леонтовича, В. Чалидзе.

– История правозащитного движения в Москве, в России, на Украине начинается, наверное, с той демонстрации 5 декабря 1965 года. Тогда мы требовали гласности. И ее дали спустя много-много лет. И это победа. Пускай она пришла так поздно.

– Вы довольны своей работой, тем, как развивалась ваша научная карьера?

– Преподавал в SUNY (Стейт юниверсити, Нью-Йорк, Буффало), затем в Бостоне в университете. Был на «грантах» – это такая форма поддержки ученых. Все время что-то переводил для заработка, получал премии, всякие пособия. Теперь мне необходимо заканчивать свой давний труд. И мне нужен покой. Предложите любую регулярную работу – откажусь, пока труд не будет закончен. Я работал над ним много лет, и мне надо поставить точку. Скоро мне предстоит выход на пенсию, которая даст возможность вообще плевать на все, что делается вокруг, и делать свое дело. Дело должно быть завершено.

– Приходилось ли вам сталкиваться в американской среде со славой вашего отца, Сергея Есенина? Знают ли в Америке, что был такой великий поэт в России?

– Естественно, он очень известен и там. Разумеется, менее чем в Советском Союзе, но более чем можно было бы ожидать. А вообще-то, если уж говорить о русской поэзии по именам, то в Америке ее знают слабо. Был смешной случай. Захожу в один дом. Никто ни слова по-русски не знает, хозяева – эмигранты-евреи из Персии. Живут хорошо, много книг. Вдруг слышу: «Пушкин! Пушкин!» Прибегает большой черный пес. Он и был Пушкиным. Больше ничего о Пушкине они не знают. Так что есть над чем посмеяться. И этот псиный акцент – на всех их сведениях о нашей литературе густо чувствуется.

– Не приходилось ли вам встречаться с людьми, которые помнили вашего отца по его приезду в Америку?

– Мне только сообщили, что он был проездом в Бостоне в 1923 году, что он останавливался на Бикон-Хилл, в центральной части Бостона, холмистый такой район. Где-то там была гостиница, а может, и сейчас есть, я точно не знаю. Пробыл всего несколько дней – подумаешь, событие… Мало ли я по городам ездил и мне было бы смешно, если бы кто-то вспоминал мою жизнь через десятилетия. Эта гостиница или та? В чужом городе… проездом. Эка невидаль, событие… Конечно, есть собиратели брюк, мебельных ручек и всего другого, но к этой категории людей я не отношусь.

– Удивительно, что за свою короткую жизнь ваш отец успел побывать и в США.

– Да, побывал. Он писал, что это страна нефти – сплошной Баку. Но тут я с ним не согласен. Америка, Соединенные Штаты – это далеко не сплошной Баку. Города нормальные, в них можно жить по-человечески – зеленые, цветные. Конечно, не среди небоскребов. А в основном в Штатах двух-трехэтажные домики, довольно аккуратные, какой же тут Баку?

– Я знаю, вы пишете стихи. Они публиковались?

– В 1961 году в Америке вышла книга «Весенний лист». В ней всего 30 стихотворений: половина из того, что я написал. А вообще-то я не люблю говорить о своих стихах.

Но если я проживу столько, сколько моя мама, ну пусть меньше, то постараюсь вернуться к ним на склоне лет.

Александр Сергеевич посмотрел на маму, которая сидела здесь же в комнате и молча слушала наш разговор.

– Это хорошо, – вмешалась Надежда Давыдовна, – что мой сын считает себя молодым. Это значит, что и я молодая. А родился мой сын в мае 1924 года. Сперва мы жили на Знаменской, а потом на 13-й линии Васильевского острова. Когда ему было восемь лет, мы переехали в Москву.

Надежда Давыдовна задумалась, будто решая: говорить или не говорить, но все-таки заговорила на больную для нее тему.

– С Есениным я рассорилась из-за того, что он не хотел ребенка. И чтобы он не вмешивался в это дело, я уехала в Ленинград. Он очень хотел, чтобы я освободилась от беременности. Сознался, что у него не двое, а трое детей, и что дети его широким кругам не известны. А я в этом вопросе была решительна: я хотела ребенка. Помню Ленинград той поры: полупустой город, многие люди уехали за рубеж, в квартирах самые большие комнаты превращались в кухни, чтобы не оплачивать. Жизнь была нелегкая. Так и жила с сыном…

– А кто предложил назвать сына Александром?

– В еврейских семьях принято называть не по живущим родственникам, а по покойным. Незадолго до рождения Саши умер мой любимый дядя, младший брат отца. И чтобы доставить удовольствие отцу, я назвала сына Александром. Так что он оказался Александром Сергеевичем, но не Пушкиным, а Есениным, но и не Сергеем.

– Александр Сергеевич, общаетесь ли вы с литераторами в Америке?

– Практически нет. Иногда, правда, меня зовут на какое-нибудь литературное мероприятие. Прихожу, разговариваю, если что знаю. Но литература довольно далека от предмета моих занятий, и уж совсем не идет мне, когда меня связывают хоть в какой-то степени с имажинизмом. Тут уж, прошу прощения… Чтобы не испортить светлое дело имажинизма, я лучше побуду от него в стороне.

Надежда Давыдовна:

– Считаю, что есенинский «Пугачев» – надгробный памятник

имажинизму. Там каждая строчка с образом, каждая. Это был его взлет.

А. С. Есенин-Вольпин:

– Это был максимум, после чего Есенин отходит от позиции имажинизма.

Надежда Давыдовна:

– Как поэт он навсегда остался с тем, с чего начинал.

Встреча с сыном Сергея Есенина для меня была волнующей. Легендарный человек Александр Есенин-Вольпин, гениальный математик, мужественный правозащитник, талантливый поэт. Его мать, мать сына Сергея Есенина – переводчица, поэтесса, член Союза писателей СССР с 1934 года.

Конечно же, мне хотелось, чтобы Александр Сергеевич прочитал свои новые стихи, но попросить об этом я не решился. Из нашей беседы мне стало ясно, что он на это не пойдет. Что собственное стихотворчество для него – дело прошлое.

Да, Америка приютила изгнанного из родной страны Александра Есенина. Но раз в десять лет он приезжает на могилу отца на Ваганьковское кладбище.

1989

Из стихов А. Есенина-Вольпина:

Лежит неубранный солдат
В канаве у дороги,
Как деревянные торчат
Его босые ноги.
Лежит, как вымокшая жердь,
Он в луже лиловатой…
…Во что вы превратили смерть,
Жестокие солдаты!
…Стремглав за тридевять земель
Толпой несутся кони;
Но и за тридцать верст отсель
Коней мутит от вони,
Гниет под мертвыми земля,
Сырые камни алы,
И всех не сложат в штабеля —
Иных съедят шакалы…
…Я вспомнил светлый детский страх.
В тиши лампады меркли.
Лежала девочка в цветах
Среди высокой церкви…

И все стояли у крыльца
И ждали отпеванья, —
А я смотрел, как у лица
Менялись очертанья,
Как будто сердце умерло,
А ткань еще боролась…
И терпеливо и тепло
Запел протяжный голос,
И тихо в ней светила смерть,
Как темный блеск агата…
…В гнилой воде лежит как жердь
Разутый труп солдата…

20.01.1945

Горевал я на чужбине,
Вот опять она, Москва —
Только нет во мне, скотине,
Даже тени торжества.
Горечь прежняя забыта —
И, была бы воля мне,
С торжеством космополита
Я бы жил в чужой стране.

17.10.1944

Весенний лист, подарок непогоды,
Влетел, кружась, в тюремное окно…
Не я ли говорил, что для природы
Жить больше дня не стоит все равно?..
Не я ли объявлял мое желанье
Любить и жить – лишь рвеньем к новизне?
Не говорил ли, что хочу страданья,
И что весны, весны не надо мне?
…Был василек – и он попал мне в руки,
Его поднес я к носу – он не пах,
Но искривился и застыл от муки,
Как девочка, убитая в кустах…
– Его теперь мне жаль! Его волненье
И стыд – не те ли, что владеют мной,
И здесь, в тюрьме, я понял умиленье
Перед природой бедной и простой!
…Но я схитрю – и буду я на воле

Рвать и топтать счастливые цветы!
И хохотать над тем, что, кроме боли,
Я никакой не знаю красоты…

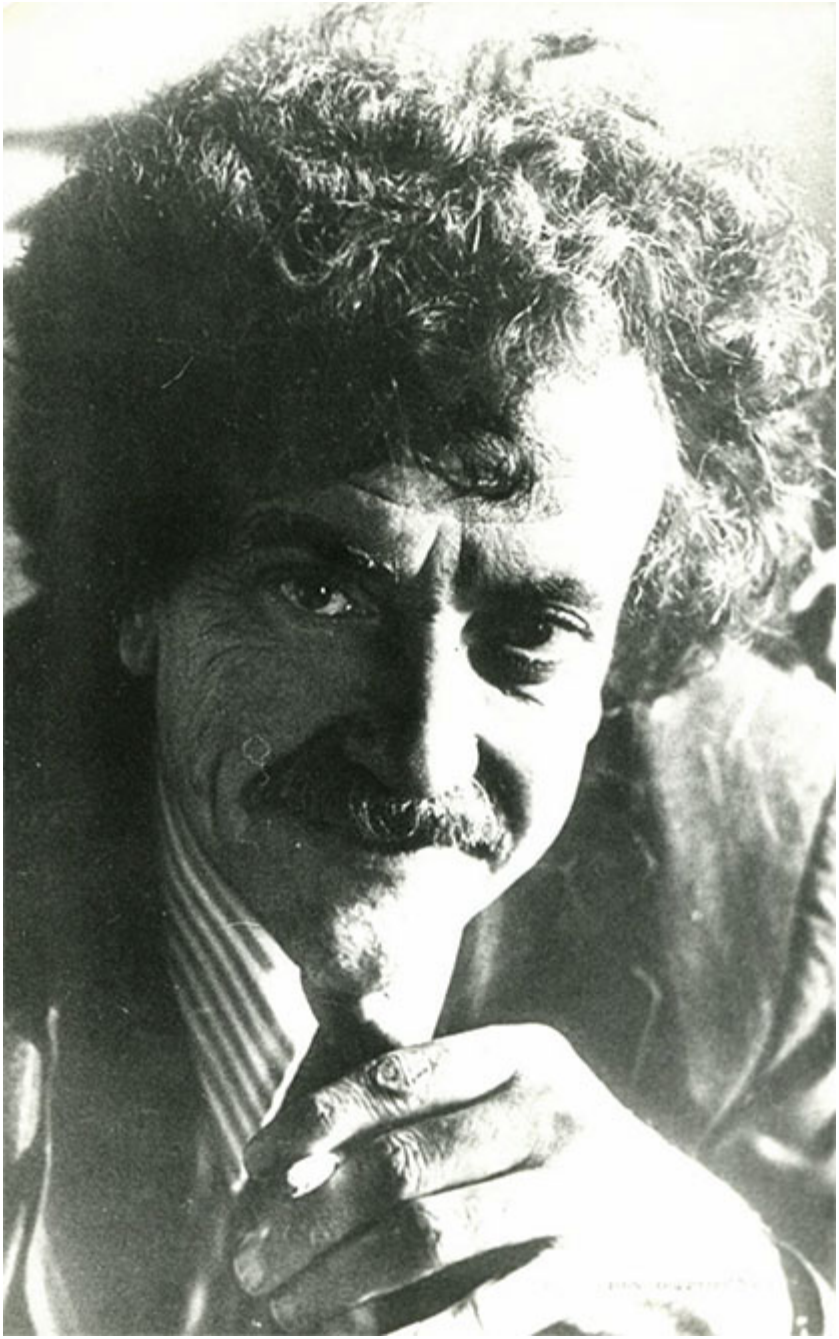
22.08.1950

Глава 9. У Курта Воннегута в Саутхемптоне под Нью-Йорком

«Не хочу возбуждать злые чувства…»

Мы сидели в саду дома моих друзей, дома, которому было, наверное, столько же лет, сколько самим Соединенным Штатам Америки. Он принадлежал когда-то, легко ли вымолвить, праправнучке российского декабриста и друга Пушкина Ивана Ивановича Пущина, судьбой занесенной далеко от родной земли. Был он крыт деревянной кровлей; с множеством комнат, лесенок, чердаков, со скрипучими половицами, старинными энциклопедиями на русском и английском языках, с кружащими голову пряными запахами на кухне, с верандой, фигурными, созданными человеком, кустарниками в виде гигантских живых шаров. Мы сидели в саду недалеко от океана, и шум прибоя доносился до нас, но не заглушал разговор, потому что заглушать он мог только во время шторма.

Бывает в этой местности, вода достигает построек, но это случается редко, а когда все же нагрянет, не страшит людей. Люди продолжают жить здесь, потому что во всем остальном, наверное, Саутхемптон – место обители нью-йоркской богемы (вспомним наши подмосковные Переделкино или Барвиху) – можно назвать одним из райских уголков на земле.



Курт Воннегут

Этот дом был продан бабушкой жены Курта Воннегута, и хотя им давно уже владеют другие люди, он почти родной ему. Место для беседы мы выбрали под акацией, в тени, за столом. Было много молодых и немолодых людей, которые помогали мне

переводить разговор, и среди них особенно выделялись голоса Михаила Хлебникова и Сергея Осоргина. Они на лету подхватывали каждое слово самого, пожалуй, знаменитого американского писателя наших дней. Его дом здесь же, в Саутхемптоне, в полукилометре от путинского. Курт пришел утром и был в хорошем настроении. Мы смеялись, ели арбуз, пили вино, фотографировались, и между всем этим мой маленький магнитофон крутился и крутился…

– Я живу здесь четыре месяца в году. Остальное время – в Нью-Йорке. Моя жена – знаменитый фотограф и пишет книжки для детей, ей нужно быть в Нью-Йорке, а то бы я жил здесь круглый год. Ее мать выросла в этом доме, ее бабушка похоронена здесь на кладбище, и когда мы проезжаем на велосипеде мимо него, мы ей машем: «Здравствуй, бабушка, спи спокойно».

– Простите, Курт, я хочу задать вам такой вопрос: сколько лет вы собираетесь прожить на этом свете? Вы считаете, что уже успели сделать в литературе все, что могли?

– А сколько лет было Льву Толстому, когда он умер?

– Кажется, 82… А что?

– Нужно работать, чтобы понять и почувствовать, есть ли в тебе еще силы, нужен ли ты жизни. Сегодня я встал в пять часов утра и работал: слова все еще текут, слова все еще приходят ко мне…

– А как будет продолжаться рабочий день? Что будет дальше? Ведь я его прервал.

– Говорят, что наиболее результативно ум человека работает только четыре часа в день. И это меня очень волнует, надо посоветоваться с врачом. А пока я умный только с пяти до девяти.

(Мы все хохочем).

– Как вы считаете, вы могли бы работать более интенсивно? Могли бы сделать в литературе больше?

– Я написал столько, сколько мог. Вчера, к примеру, я написал страницу с половиной. У меня гостил знакомый, и я ему сообщил, что написал полторы страницы. Он был поражен. Говорят, что Бальзак, который считается самым плодовитым писателем, писал три страницы в день.

Недавно я читал лекцию для интересующихся литературой людей в штате Айдахо, недалеко от того места, где Хемингуэй покончил с собой. Я вполне уверен, что он чувствовал, что его талант уходит, энергия кончается. И он решил, что нет смысла продолжать жизнь. У меня все еще есть смысл.

Воннегут – не из ручных звезд. Не так-то просто было журналисту или какому-то любителю автографов поймать его в свои сети. Он считал, что фраза, произносимая писателем вслух, редко выражает именно то, что он хотел сказать, если она сначала не изложена на бумаге. Писатели – ораторы никудышные, и в этом повинно их ремесло, которое вынуждает их целые годы, если понадобится, проводить за письменным столом, тщательно взвешивая каждую новую мысль и обдумывая, как ее лучше выразить. Интервьюеры норовят ускорить этот процесс. Они, так сказать, «трепанируют» писателей, пытаясь выудить из их мозга неизрасходованные идеи, которые могут и не появиться на свет божий. «И я говорю всякому, – заявил Курт Воннегут в „Интервью, взятом у самого себя“, – кто еще надеется покопаться в моей черепной коробке, что извлечь что-либо из мозга писателя можно, лишь оставив его наедине с самим собой до тех пор, пока он не будет готов, черт возьми, изложить все на бумаге».

Но мне повезло. Я попытался покопаться в черепной коробке мэтра американской литературы, принадлежащего к племени самых смелых и дерзких писателей XX века, прозванных в Америке «черными юмористами». Кто читал его книги «Утопия 14», «Сирены Титана», «Да благословит тебя бог», «Колыбель для кошки», «Бойня номер пять», «Завтрак для чемпионов», которые удостоились чести полыхать в кострах, разожженных американскими мракобесами, надеюсь, увидел в них и злой гротеск, и издевательство над тем, что человечество окрестило тупостью и мещанством.

– Скажите, кто написал «Тихий Дон»? Это действительно Шолохов написал?

– Одно время появились версии, что автором мог быть кто-то другой. Насколько мне известно, словарь «Тихого Дона» заложили в компьютер и, сличив разные части романа, пришли к выводу, что это язык Шолохова, что автором разных частей романа мог быть один человек. Но вообще у нас об этом почти не пишут… А почему, Курт, вы об этом спрашиваете? Вас одолевают какие-то сомнения?

– Я скажу только так: «Природа не может ошибиться». Вообще я никогда не боялся ничего, но сегодня я боюсь, что меня не понимают. Это напоминает заботы, когда ваш сын учится в школе, и вы для него становитесь все глупее. Думаю, что такое же происходит и со мной.

– Много ли в США читателей? Я, честно говоря, запутался… Некоторые советские источники сообщают, что в Америке книг не читают, что американцам не до книг, сам же я видел в книжных

магазинах много покупателей, а на подмостках Национальной библиотеки в Нью-Йорке и в самой библиотеке – очень много читателей.

– Могу сказать только приблизительно. И то, сведения от одного специалиста. Отвечая мне на подобный вопрос, он сказал: «Если бы я сознался, сколько людей читают в США, и если бы я об этом сообщил в прессу, это было бы расценено как предательство с моей страны: один из двадцати». Я считаю, что в сравнении с Советским Союзом это, конечно, статистика плохая.

– *А у вас-то остается время на чтение книг?*

– Не очень много. Ведь я не должен следить за здоровьем или течением болезни литературы сам лично. У меня много друзей в разных странах, и они рассказывают о самом интересном и помогают мне быть в курсе новинок. А сам я, к сожалению, много читать не могу. Раз в неделю почтальон доставляет несколько десятков книжек. О каждой рекомендация: «Это – самое-самое!» Ну разве есть у человека столько времени, чтобы так много одолеть?

– *Вы популярны у себя на родине?*

– Если я иду по Нью-Йорку, то, как правило, два человека со мной здороваются, хотя я с ними не знаком. Не знаю, плохо это или хорошо, мало или много. Я не считаю себя популярным. Популярны те, кто не вылезает из телевизора.

– *Может ли писатель в США влиять на общественные, политические события?*

– Влиять – это значит воспитывать, поучать. Нет! У нас никто никого не воспитывает. Может быть, поэтому у нас никогда книга, написанная американцем, не была запрещена. Разрешено все, что хотят читать американцы. Потому что правительству вот уже двести лет решительно наплевать, что говорит писатель, а из-за этого и всем наплевать… А у вас писатель что-то может изменить?

– *Я бы сказал: да. Например, Валентин Распутин занимается проблемами спасения Байкала, и ему многое уже удалось.*

– Как он это делает?

– *Он будоражит общественное мнение своими статьями, ходит к министрам, участвует в заседаниях экспертов и в разных комитетах.*

– У нас есть один писатель, который тоже хочет помочь природе. Но эффекта нет. Он знает многих в правительстве, он товарищ брата Джорджа Буша, нашего президента, но у него все равно ничего не выходит. Его слушают, соглашаются, но ничего не делают.

– *Когда вы последний раз давали интервью советскому*

журналисту?

– За все время я дал примерно шесть-семь интервью журналистам из России. А вообще встречи бывают довольно регулярно. Но их обыкновенно больше интересует, что мы можем сделать в борьбе за мир. Я доволен, что вы не спрашиваете об этом и не называете меня прогрессивным.

– Вы ведь не раз бывали в Советском Союзе, у вас там друзья?

– Да, я у вас был четыре раза. Встречался с Евтушенко. Был с женой у Андрея Вознесенского. Я к нему расположен и даже прощаю, что он часто при мне говорил по телефону. Причем, и в Переделкине, и здесь, в Нью-Йорке… Я соболезновал ему, когда скончался его отец, я помню это.

– Вы знаете, что Курт Воннегут – пожалуй, самый популярный американский писатель в Советском Союзе?

– После Джека Лондона… (Смеется).

– Я имею в виду нынешних, живых. Вы для нашего читателя – американский классик.

– Если это так, то, наверное, благодаря моей переводчице Рите Райт. К сожалению, я получил известие о ее кончине…

– Вы знаете, Курт, я общался с Ритой Яковлевной лет десять назад и вспоминаю, что она рассказывала, с каким увлечением работает над вашими книгами.

– Я был с ней в Париже, она идеально говорила по-французски, по-немецки. Она была замечательным, высокопрофессиональным переводчиком. Хотя, к сожалению, я могу об этом судить только по отзывам других. Она правильно сделала, что поменяла когда-то свою профессию, кажется, биолога, на профессию переводчика.

– На сколько языков переведены ваши книги?

– Я не знаю. Меня это не очень интересует. Во многих странах меня издают – в Греции, на Тайване… Многие просто издают мои книги и почему-то меня об этом даже не извещают…

– Да, это проблема. Помню, об этом же говорил в Москве Габриэль Гарсиа Маркес. Он жаловался на наше ВААП, которое издает иностранных авторов и забывает им за это платить. Значит, с вами тоже такое было?

– Американские авторы об этом знают. Они знают, что там у вас сидят бюрократы третьего или даже четвертого поколения. У них нет никакого интереса к литературе. Они просто чиновники. Ими не издана, например, книжка одного очень хорошего писателя, потому что он слишком часто употреблял «крепкие» слова.

Однажды Рита Райт перевела рассказ Сэлинджера, в котором молодой парень занимался любовью с девушкой в метро. И его

застрелили. Рассказ печальный, пересыпанный жаргонными выражениями. И если их нельзя было бы использовать в рассказе при переводе, тогда не было никакого смысла вообще печатать его. Рита это понимала…

– Я думаю, для вас не будет неожиданным вопрос: «Как вы относитесь к Сталину?» У нас сегодня происходит развенчивание его роли в истории.

– Сталин? Я согласен с ним, Гитлером и Муссолини, что художник должен быть слугой своего общества. Но вот как обслуживать общество, на это у меня абсолютно другой взгляд. Думаю, что человечество не способно хорошо вести свои дела, что человечество недостаточно умно теперь, чтобы успешно справиться со всеми проблемами, которые оно же само породило.

– Я знаю, вы воевали и у вас есть произведения о войне. Эта тема для вас исчерпана?

– Да, я уже сказал все, что хотел сказать о Второй мировой войне. Я пишу сейчас о вьетнамской войне. Это будет расценено как резкая критика моей страны. Но главное, я хочу исследовать жизнь профессионального солдата. Мой герой окончил академию Вест-Пойнт. Он вспоминает, что убил столько же врагов, сколько было у него женщин. И он готов распять не только Христа, но и шесть тысяч рабов, которые бастовали против Римской империи в 71-м году до Христа и были казнены на Аппиевой дороге. Кому приказали это сделать? Кто это делал? Профессиональные солдаты. И любой солдат это будет делать. И это чудовищно.

– Я думаю, Курт, возможно, что сейчас у нас какой-нибудь неизвестный еще никому советский Курт Воннегут пишет то же самое про Афганистан…

– Я пишу о ненастоящей войне, потому что не хочу возбуждать против какой-то страны злые чувства. Главное, чтобы люди думали о профессиональном солдате, о его горькой и трагической судьбе. Станислав Лем пишет о других планетах, о том, что там случаются ужасные вещи… Ему проще.

Мой герой вспоминает, как он разыскивал врагов, прятавшихся в туннелях, его солдат прозвали «водопроводными крысами». Они убивали не только солдат противника, но и женщин, и детей, скрывавшихся в туннелях. Убивать – это была их работа.

Сейчас я много думаю о вьетнамской войне. Я абсолютно уверен: она аморальна, хотя у многих людей вызывает угар патриотизма. «Как хороша моя страна и как хорош мой народ!» – думает любой из нас.

Я был солдатом Второй мировой войны. Многие воспринимают ее романтически, но не те, кто был на войне

солдатом. У меня когда-то сложился романтический взгляд не только на войну, но и на свою страну. После Второй мировой этот романтический взгляд развеялся не только у меня, но и у немцев, французов, англичан, – союзники с обеих сторон потеряли романтизм.

Я стал думать, что тот, кто меня послал воевать, был сумасшедшим. И так же думали римляне, когда они распяли шесть тысяч рабов.

– Мне кажется, многих уже не трогает романтика войны, даже в кино.

– В кино это все-таки живет. Сегодня вы можете увидеть по телевидению разные сцены из прошлого: наш флот побеждает японцев в Тихом океане, еще что-то другое, про Черчилля, Айка[9] … И самое ужасное, что Гитлер сделал войну привлекательной. Какие костюмы вы увидите, какие чудные костюмы!..

– Знакомы ли вы с Солженицыным, и вообще, как вы воспринимаете его?

– Иногда я нахожу его забавным и чувствую, что критики в Америке не видят эту забавную сторону, я нахожу, что в его описаниях есть юмор. Что еще: мне не нравится его примитивное христианство, и я считаю, что это опасно. Я атеист так же, как Сталин. Опасно отсутствие интереса Солженицына к своим соседям в Вермонте. Он не интересуется ими, он все еще как бы в Советском Союзе.

– Но, по-моему, это свойство настоящего писателя, – оказавшись вдали от родины, он продолжает думать о ней и о ней писать. Вы общались с Александром Солженицыным?

– Нет, но моя жена снимала его в Швейцарии, и на снимках он смеется. Это очень редкая фотография – смеющийся Солженицын.

– Вы считаете его политическим писателем?

– Я сужу как американец, в этой стране он считается политическим писателем, потому что именно здесь, в США, одна из самых главных партий – теократическая. Вера в Бога для Америки – это много значит. Если мы не можем поговорить с Богом, то нужно спросить человека, который знает Бога.

– В Советском Союзе слово писателя, художника по-прежнему много значит. Для некоторых читателей тот или иной писатель – бог.

– Может быть, кое-кто из нас тоже бог, но тут нас так не оценивают.

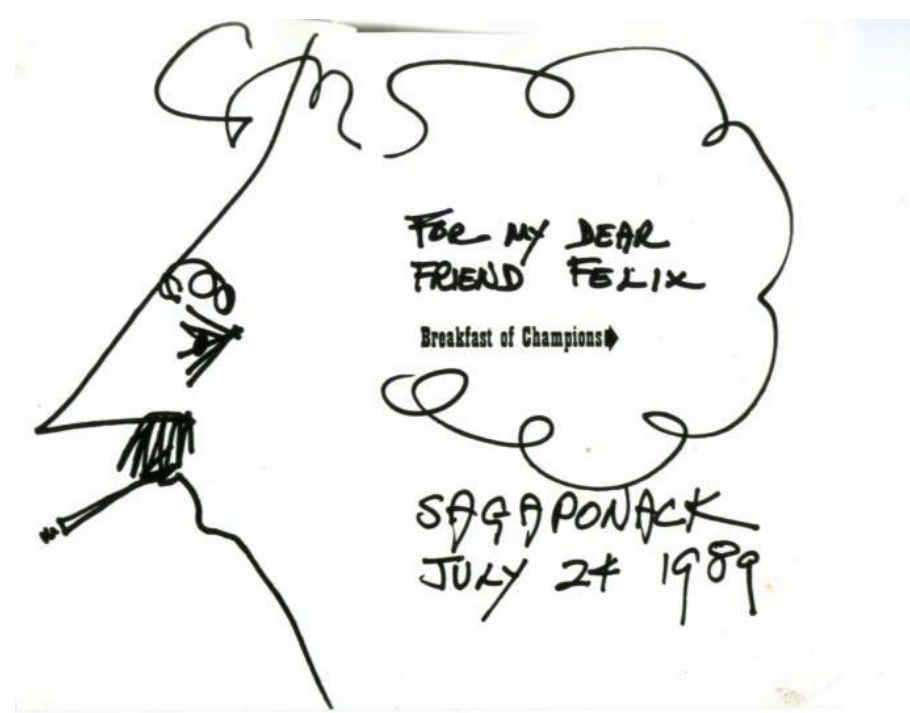
– Сейчас Солженицына в СССР стали печатать. И очень много читателей ждали этого часа…

– Я считаю, что сегодня в мире два писателя самых

знаменитых и значительных – это Маркес и Солженицын… (пауза, хитроватая улыбка в усах)… И я…

– А есть у вас такое предчувствие, что в Америке должен появиться еще один выдающийся писатель, пророк?

– История нас учит, что предсказывать такое нельзя. Это случайность. Может быть, даже тайна. Кто это может предсказать? Обыкновенный американец знает немецких писателей, итальянских, японских, скандинавских. Он редко видит живых русских писателей, но зато самая влиятельная литература для него – русская. Толстой и Достоевский для него важнее, чем Марк Твен или Мелвилл.



Автошарж Воннегута с автографом

Я могу спросить любого американского автора: кем бы он хотел быть в истории литературы? И он ответит: «Чеховым!»

– А вы?

– Мой самый любимый автор – Гоголь. Вот Гоголем я хотел бы быть!

– Почему так влиятельна русская литература в США?

– Потому что американцы находят русский опыт универсальным, приемлемым для всех. Я недавно узнал, что в наших школах не разрешают читать некоторые вещи Марка Твена.

Например, «Жизнь на Миссисипи» дети могут читать после пятнадцати лет. А в Советском Союзе Твена читают двенадцатилетние!

…Хотя нас, американцев, считают нетерпимыми по отношению к другим расам и национальностям, я с этим согласиться не могу, мы замечательны именно тем, что для нас не важно, к какой национальности или расе принадлежит человек. Скажем, если бы мы встретились на каком-то пароходе и поговорили час, и вы говорили бы по-английски, мы бы подружились. Наверное, зашел бы разговор о наших детях, о семейных делах, и я бы даже не задумался, кто передо мной: немец, вьетнамец или русский. Это, в конечном счете, неинтересно.

– Вы не собираетесь снова в Советский Союз?

– Я стесняюсь, что не умею говорить по-русски. Раньше я приезжал навещать Риту Райт, но она скончалась, и теперь мне было бы трудно. По образованию я биолог, и мне, конечно, интересно посетить озеро Байкал. Один ученый мне много рассказывал о том, что он придумал нечто такое, что может помочь сберечь этот уникум природы… Но моя страна такая колоссальная, и мне еще предстоит много увидеть, поездить по ней, чтобы о чем-то потом написать. Что касается людей, то мне не надо ехать в СССР, чтобы именно там увидеть веселых или грустных, счастливых или не совсем счастливых советских людей. Многое я понимаю и отсюда.

Август 1989

Один из самых известных американских прозаиков XX века, культовый писатель советской интеллигенции Курт Воннегут скончался 11 апреля 2007 года в Нью-Йорке в возрасте 84 лет из-за последствий черепно-мозговой травмы, полученной у себя дома.

Глава 10. В Торонто, у Куликовского-Романова – племянника Николая II

«На месте убиения царя должен стоять святой храм»

– Вы знаете, как хочется, чтобы снова был на свете город Екатеринбург[10]… Чтобы на месте убиения царя-мученика и его семьи стоял святой храм. Это цель наша сегодня… Ничего, кажется, не пожалели бы для этого, людей бы подняли. Поверьте, мы можем здесь кое-что собрать…

Они были искренни, я это видел. Говорили, почти перебивая друг друга, горячо, взволнованно:

– Отдадим самое ценное, что у нас есть. Вот эту икону… Вы только посмотрите, Троеручица… Из дома Ипатьева. Они молились на нее в последние часы жизни…

Государю императору Николаю II он приходится родным племянником. Его мать – великая княгиня Ольга Александровна, младшая сестра последнего русского самодержца.

Разыскивая по свету оставшихся в живых членов царского дома, будучи в Канаде, я был рекомендован Тихону Николаевичу Куликовскому-Романову и супруге его Ольге Николаевне.

В своей невеликой квартире на окраине Торонто они живут несуетной частной жизнью. Скромный и деликатный, Тихон Николаевич не лезет на люди, не кричит о своем происхождении. Больше всего поразили меня в его доме не монархические реликвии, не бережно хранимые семейные фотографии, меня убила наповал огромная коллекция оловянных солдатиков, собранных хозяином в память о доблестной русской армии. Коллекционирование – всегда страсть, за этой страстью виден живой человек.

Тихон Куликовский-Романов у портрета деда – царя Александра III

Мама не хотела принимать датского подданства

– Моя мама была шефом двенадцатого гусарского полка, – улыбается Тихон Николаевич. – Сам же я – унтер-офицер.

Важным событием в его жизни стало официальное приглашение из Финляндии на столетие охотничьего домика в местечке Лангинкоски, того самого домика, в котором жил, приезжая на охоту, его дед император Александр III.

Тихон Куликовский-Романов родился в Крыму в 1917-м году. Когда началась Гражданская война, родители бежали в Сербию, далее через Европу в Данию. Там жили до 1928 года, до смерти бабушки Марии Федоровны. А потом – Берлин, Париж и далее, как говорится, везде. Школа, служба рядовым солдатом в гвардейском полку. Потом Канада. Работа в магазине, а последние 22 года – служба в министерстве путей сообщения. Сейчас на пенсии. Вот и вся жизнь.

– А возможно ли сегодня такое? Как вы думаете? Екатеринбург… И храм святой на месте мученической гибели. Мы бы передали эту реликвию…

Он служил офицером датского короля, а его мать не принимала датское подданство. Не хотела, не желала.

– Первый Куликовский, Прокопий Васильевич, пришел в Россию гонцом от князей молдавских к Петру Великому, – углубляется в свою родословную мой собеседник…

Он мне – про дела давно минувших лет. Я ему – про перестройку.

– Нет ничего страшнее сегодняшней демократии, – воспламеняется Тихон Николаевич, – она безлична, безответственна, а в монархии же известно, кто несет ответ перед народом.

– А вот Россия нынче к Богу идет – как вы на это смотрите?

– Да, движение это для меня радостное. Единственно для России пригодное – русская православная монархия.

– А все ли Романовы хороши были?

– О, цари тоже люди, и каждый делал и великое, и ошибался. Александр I был большой идеалист, европеец. Все мир хотел для Европы устроить. Николай Павлович тоже был великий, он тоже старался мир держать. И что это принесло России? Кто, к примеру, знает нынче, что Александр уступил Англии Дубровник да острова какие-то, которые просились в состав Российской империи? А он, чтобы не обидеть англичан, отказал… Дал

слабину.

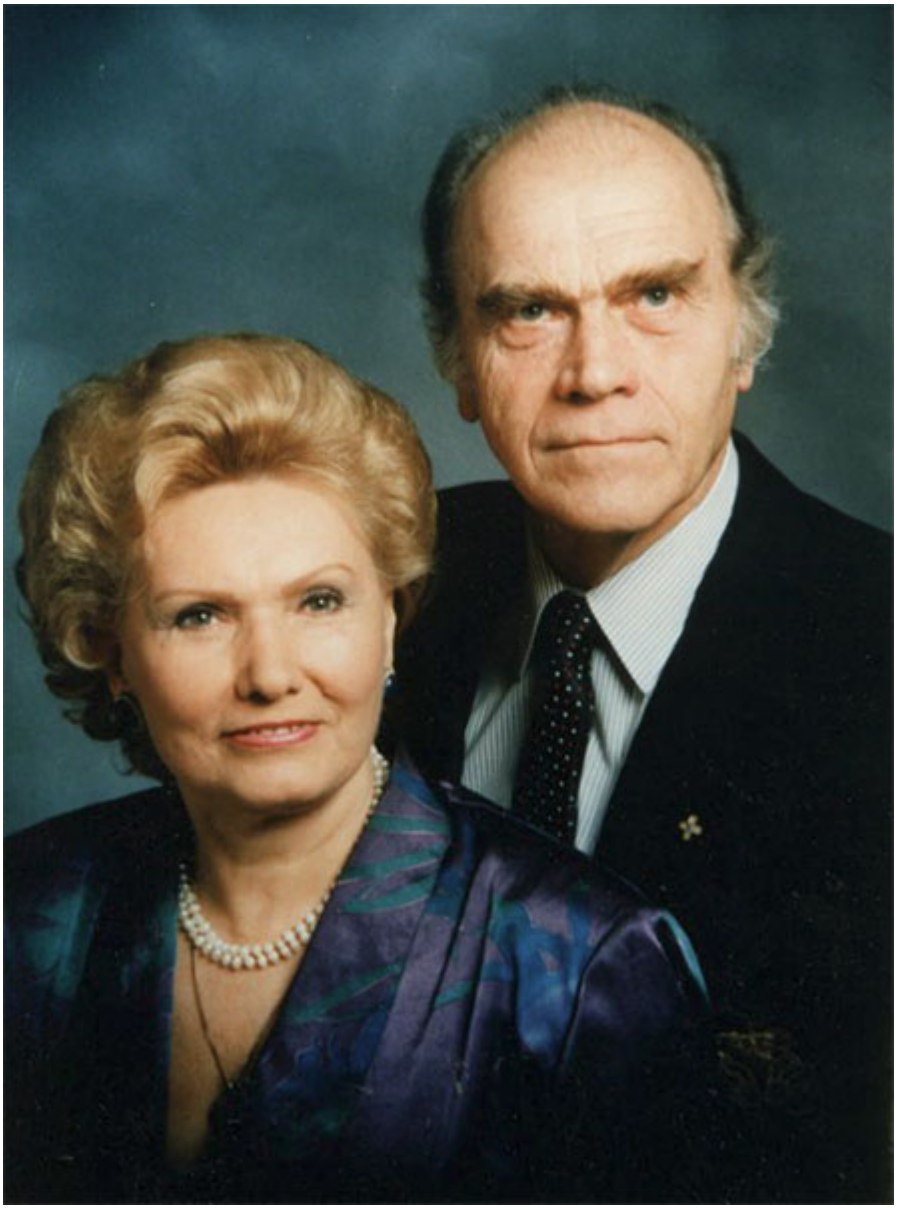
Ольга Николаевна раскрыла альбом

– Вот смотрите, финны со дна морского подняли затонувший корабль «Николай», останки русских моряков захоронили возле русской церкви и памятную табличку прикрепили: мол, здесь покоятся кости русских моряков. Погибли в 1892 году, захоронены в 1975 году… А вы говорите… В России все губится, с землей сравнивается, а финны нашли в море и по-человечески похоронили…

Последние слова моего дяди были: «Кругом измена, трусость и обман…»

Вздохнули… Помолчали…

– Для меня нет никакого сомнения, что император-мученик Николай Александрович – святой. Как мученик за веру и правду. Мешали ему, все Англией тыкали в нос, дескать, сиди и ничего не делай, а он так не мог. Вот и погиб. «Кругом измена, трусость, обман», – последние его слова.



Тихон Куликовский-Романов с супругой Ольгой Николаевной

Послание русскому народу

Тихон Николаевич встает, берет бумагу и ручку.

– Вы сможете донести мое послание до русского народа?

– *Смогу. Через прессу…*

На другой день Тихон Николаевич передал мне следующий текст:

«Дорогие соотечественники!

Я, последний из живых родной племянник царя-мученика Николая II и внук императора Александра III – миротворца, обращаюсь из-за границы к русскому народу, ко всем верующим в Бога и к гражданам города Свердловска. Дело такое: во-первых, принимая во внимание положительные сдвиги, происходящие ныне в стране, мне кажется, что для исторического города Екатеринбурга продолжать носить кличку жестокого, безбожного, антирусского садиста-убийцы Свердлова должно быть просто неприемлемо, и старое название Екатеринбург должно быть возвращено в кратчайший срок.

Затем напомню – и это очень важно! – что место, на котором пролита кровь помазанника Божьего, – СВЯТО. На нем невозможно возводить ничего другого, как только величественный храм-памятник. Дорогие русские люди, задумайтесь над этим.

Я уверен, что православное русское зарубежье с благословения первоиерарха нашего его высокопреосвященства владыки митрополита Виталия поддержит такое благое начинание.

Кроме того, у меня имеется икона Божьей Матери „Троеручица“, перед которой молились царственные мученики в доме Ипатьева, в заточении. Икона эта с поврежденным киотом была выброшена преступниками после их гнусного дела… При приходе „белых“ ее подобрал один гвардейский офицер, знавший лично моих родителей – великую княгиню Ольгу Александровну и моего отца ротмистра Николая Александровича Куликовского. И икона эта была доставлена в 20-х годах в Данию моей бабушке – императрице Марии Федоровне. Дайте этой иконе, свидетельнице страданий новомучеников, вернуться в Россию на ее единственно достойное место – в храм-памятник, долженствующий быть воздвигнутым как покаянная лепта за великий грех, допущенный в нашей истории, грех, за который и поныне страдает наша родина и мы все с ней, где бы на земле ни находились.

С любовью во Христе, ваш Тихон Николаевич Куликовский-Романов»

Это послание по приезде в Москву я передал в журнал «Родина», где оно было опубликовано.

Кроме того, по моей просьбе Т. Н. Куликовский-Романов наговорил мне на магнитофон краткую историю жизни своих предков.

Моя мать – единственный «багрянородный» ребенок Александра III

Моя покойная мать великая княгиня Ольга Александровна родилась в Петергофе 1 июня 1882 года и является единственным «багрянородным» ребенком императора Александра III. «Багрянородным» называется ребенок, рожденный от царствующего императора – от помазанника Божьего.

Детство ее, хотя и протекало во дворцах, было подчинено строжайшей дисциплине и размеренному порядку в почти спартанских условиях.

Будучи самой младшей в царской семье, моя мать была ближе всех к великому князю Михаилу Александровичу – дяде Мише, который был всего лишь на 4 года старше ее. В 1894 году скончался император Александр III – царь-миротворец. Ольга Александровна обожала своего отца, мощного, уверенного, повелительного, а в семейном кругу веселого, ласкового и уютного. Потеря отца была для двенадцатилетней девочки первым и жестоким ударом, хотя в жизни ее ожидало еще много тяжелого.

Ее брак с герцогом Ольденбургским оказался неудачным. Он был страстный игрок, совершенно не интересовавшийся ничем больше. Когда она вышла замуж, ей было всего 19 лет, ему – 33 года. Жизнь во дворце старых Ольденбургов была невеселой. Городская жизнь, балы и приемы ее не интересовали. Ее душа была открыта красотам природы.

С детства она пристрастилась к живописи, ее будущий муж – к игре

С детства она пристрастилась к живописи и продолжала ею увлекаться всю жизнь, куда бы ее ни забрасывала судьба.

Как-то на параде в Павловске великая княгиня повстречалась с Николаем Александровичем Куликовским – офицером, служившим в лейб-гвардии Кирасирском Ее Величества полку («Синие» или «Гатчинские» кирасиры). Эта встреча оказалась «любовью с первого взгляда». В этом же полку в то же время проходил службу и ее любимый брат и неразлучный друг детства, великий князь Михаил Александрович. По просьбе сестры Миша вскоре пригласил к себе одновременно моих будущих родителей, где и состоялось официальное знакомство. Великая княгиня, будучи очень прямолинейным человеком, жизненный девиз которого можно было определить словами «быть, а не казаться», сразу попросила развод с намерением выйти замуж за молодого офицера. Государь же, решив, что она еще молода, жизни не знает и что это, вероятно, лишь временное увлечение, предложил ей подождать семь лет.

Уже с 1901 года моя мать стала шефом славного 12-го гусарского Ахтырского полка. Летом 1914 года этот армейский полк прибыл на смотр в Царское Село, где блестяще показал себя императору, и прямо оттуда, не заходя к себе в Меджибож, ушел на фронт, так как в это время внезапно грянула Первая мировая война. Мой будущий отец Н. А. Куликовский добровольно вступил в ряды Ахтырского полка и с ним ушел на Юго-Западный фронт. А великая княгиня, у которой был определенный медицинский опыт еще со времени ее пребывания в Ольгино, пошла простой сестрой милосердия на тот же участок фронта, в район города Проскурова. И лишь потом, приобретя серьезные навыки, она стала начальницей госпиталя. Опять в согласии с ее девизом «быть, а не казаться».

Скромность Ольги Александровны была невероятна. Вот эпизод ее жизни на фронте. Однажды великая княгиня посетила свой полк и, обходя окопы, оказалась под австрийским артиллерийским обстрелом. В те времена от сестер милосердия не требовалось находиться так близко к линии боев, и великую княгиню за проявленную храбрость наградили Георгиевской медалью, которую ей вручил тогдашний начальник 12-й кавалерийской дивизии, генерал, барон Маннергейм (впоследствии президент Финляндии). Мама же считала, что она

ничего героического не сделала и положила медаль в карман своей кожаной куртки. И лишь по мольбам офицеров, уверявших ее, что, награждая шефа полка, награждают и весь полк, она решилась надеть медаль.

Разрешение на брак с моим будущим отцом она ждала от Николая много лет.

Прошло более семи лет, когда наконец пришло от государя извещение об аннулировании ее брака с герцогом Петром Ольденбургским. 4 ноября 1916 года в маленькой церквушке великая княгиня Ольга Александровна повенчалась с ротмистром Николаем Александровичем Куликовским.

После революции вдовствующая императрица с обеими дочерьми и их семьями находилась в Крыму, где я и родился 25 августа 1917 года и был наречен при крещении Тихоном. Позже мы перебрались на Кубань.

В связи с тем, что государь с семьей так же, как и великий князь Михаил Александрович, был зверски убит и что на всей территории России из царской семьи осталась только одна Ольга Александровна, которая была очень популярна среди простых людей, возникла идея провозглашения ее императрицей. Само собой разумеется, что нечестолюбивая и очень скромная Ольга Александровна от такого предложения наотрез отказалась.

Когда красные подступали к станице Новоминской, мои родители были разбужены ночью и, забрав детей, с тремя верными, служившими им женщинами и четырьмя казаками ушли в последнее по русской земле путешествие. В Ростове их приютил датский консул Томас Николаевич Шютте. От него Ольга Александровна узнала, что ее мать уже в Дании. Скоро и мы перебрались туда.

После смерти бабушки мои родители купили ферму под Копенгагеном с прекрасным домом, скоро ставшим центром русской колонии в Дании.

В годы войны Ольга Александровна продолжала помогать русским в беде, поддерживая пленных, пригнанных немцами на разные стратегические постройки в Данию. Но после победы русским, оказавшимся за границей, легче не стало. Охота на них началась с другого конца. И опять великая княгиня делает все, что в ее силах, чтобы помочь несчастным.

Эти дела милосердия и повлекли за собой необходимость переезда семьи великой княгини за океан. Советский Союз предъявил датскому правительству ноту, где великая княгиня Ольга Александровна обвинялась в том, что помогает врагам народа избежать праведного отмщения.

Было очевидно, что нужно уезжать.

Канада, 1960 год. смерть мамы

В Канаде мы были встречены радушно как местным обществом, так и русской колонией, собравшейся тогда вокруг единственной православной церкви в Торонто на Глен Моррис стрит. Мои родители вначале купили ферму и занялись хозяйством, но годы уже сказывались, и они вскоре поменяли ферму на домик в Куксвилле, предместье Торонто.

Великая княгиня скончалась 24 ноября 1960 года и была похоронена на русском участке кладбища Норт Йорк рядом со своим горячо любимым мужем Николаем Александровичем, умершим всего на два года раньше ее. Какой же завет оставила нам великая княгиня Ольга Александровна?

Как и царственные новомученики, она всей своей жизнью показала пример глубочайшей веры в Бога, способствующей все в жизни принимать безропотно, пример безусловной и всепоглощающей любви к России и к русскому человеку.

1990

P.S. В 2003 году в Екатеринбурге на месте дома Ипатьева был воздвигнут Храм-на-Крови. Ольга Николаевна Куликовская-Романова выполнила волю своего супруга, скончавшегося в апреле 1993 года, и передала икону Божьей Матери «Троеручицу» в храм на вечное хранение.

В 1991 году Куликовские-Романовы организовали благотворительный фонд «Программа помощи России» имени великой княгини Ольги Александровны. После кончины Тихона Николаевича фонд возглавила Ольга Николаевна Куликовская-Романова.

Несмотря на свой почтенный возраст (в сентябре 2011 года ей исполнилось 85 лет), она ежегодно приезжает в Россию, чтобы лично участвовать в оказании помощи конкретным больницам, приютам, организациям, отдельным людям.

Глава 11. Эксклюзивная встреча-интервью с Георгием Вициным

«Нужно ли смеяться, я понял только к концу жизни»

Охота на Вицина продолжалась почти два месяца. Это был изнурительный и долгий поединок. Я вылавливал его в арбатских переулках, сторожил возле Театра киноактера на Поварской, расспрашивал о нем коллег-журналистов. Я тратил время на звонки по телефону 241…, на многочасовые ласково-увещевательно-наступательные переговоры с его женой Тамарой Федоровной, которая Брестской крепостью заслоняла тело родного и единственного от наседающей армии ненасытных «борзописцев». Я израсходовал весь свой гипотетический гонорар за интервью с актером, приобретая в метро абонементные карты, рассчитанные только на 50 минут разговора. Я простудился на морозе, предсказанном Гидрометцентром, которому не поверил, не надел валенки с калошами и схватил кашель. Неприступную твердыню я пытался брать модными нынче взятками в виде шампанского супруге, собраний сочинений любимых актером философов, подпиской на газету, где я тогда работал, заметками о дочери Георгия Михайловича – талантливой художнице – в «Правде» и в «Вашингтон посте», мешком овса для прирученных Вициным пернатых. Одним словом, я перенес все муки и страдания, чтобы удовлетворить свое профессиональное тщеславие и выбить у поистине народного артиста интервью, тем самым утерев нос другим репортерам.

С Георгием Вициным

Все дело в том, что Георгий Михайлович почти никогда и почти никому не давал интервью. Этот факт даже зафиксирован в прессе. Копаясь в театральной библиотеке, я наткнулся на заголовок «Актер, не дающий интервью». Почему не дающий?

Просто Вицин на самом деле был не таким, каким мы видим его на экране. Он не любил болтать лишнего, не любил откровенничать, выворачивать душу. Философичен, закрыт, скромен, даже застенчив. А еще бывало, что его обманывали и печатали то, что актер не говорил. Одним словом, это интервью – едва ли не единственное с Георгием Вициным за многие, многие годы.

Когда я уже совсем устал от охоты и решил махнуть на необщительного народного любимца рукой, неожиданно все получилось. Мы с фоторепортером Ларисой Кудрявцевой упросили Георгия Михайловича выйти на улицу хотя бы для того, чтобы сделать «один снимок». Вицин согласился. Местом съемки назначили сквер на Новом Арбате, напротив подземного перехода. Здесь прижилась стая голубей, и Георгий Михайлович, любитель покормить птичек, иногда устраивал им пиршества. На этот раз в его кармане был пакет пшена, а у меня, естественно, магнитофон…

Считаю, что беседа наша удалась, и перед вами ее запись – ответы одного из самых харизматических актеров второй половины XX века, народного кумира, оригинальнейшей личности…

– А моей голубки-то главной, хромой, нету… (С долей печали.) Куда делась?

– *Вы их различаете?*

– А как же? Несчастная моя голубка с одной лапкой, на другой только два пальца. Красавица, единственная женственная голубка, она всегда с ухажером. Но в последнее время что-то не видно. Беспокоюсь…

– *Ничего, подождем, может, прилетит. Георгий Михайлович, я слышал, что вы не можете жить без животных, без птиц…*

– …и без тараканов… А как же? Братья наши меньшие. Умные, хитрые. Самая умная птица – ворона.

– *А животные обладают чувством юмора?*

– Вот ворона-то и обладает. Как дразнит она собак, как играет ими! Подходит к ним, начинает дразнить. Собака поворачивается, чтобы куснуть задиру, а та в сторону – догони. И так несколько раз. Собака плюнет и думает: не буду с ней, с черной, связываться, надоела.

– *Скажите, а чувствует ли юмор пятилетний ребенок? Вообще, когда юмор приходит к человеку?*

– Чувство юмора появляется тогда, когда человек осмотрелся в жизни и понял, где и над чем можно смеяться. И нужно ли смеяться. Я вот только к восьмидесяти годам и понял все

смешное. И теперь умру с этим понятием. Смех – это великое… Это тот же нитроглицерин… Вот собаки – они как лекарство: лечат, спасают людей, укрепляют нервную систему. После восьмидесяти всем надо иметь собаку. Она спасет вас, поможет с режимом дня лучше всяких докторов. Она спасает даже от… самоубийства. Да, да, юмор спасает от самоубийства. И животные.

– В актерской среде в последнее время случилось несколько суицидов, вы знаете. По-видимому, у решившихся на это не было дома животных или недоставало чувства юмора. К великому сожалению.

– Это сильные люди. Маяковский тоже был сильным. И Хемингуэй…

А моей голубки все нет и нет. Видно, села на яйца. А может, и заболела, нахохлилась под карнизом.

– Георгий Михайлович, кого вы считаете себе ровней в вашем актерском амплуа? Луи де Фюнеса, а может, самого Чаплина?

– Ну это уж слишком… Считаю, что козырной конек Чаплина – режиссерство. По актерской заразительности можно найти и похлеще Чаплина. Но найти свою маску… он долго ее искал, много было неудачного, и режиссерски себя сформировать – это успех. Ему удалось увидеть себя в образе маленького человечка и влезть с этой маской в душу людям.

– Ваша жена понимает вас, ценит юмор?

– Юмор она понимает нормально, и меня терпит… Собак моих терпит, ей приходится и за ними ухаживать.

– А дочь?

– Да, юмор ей близок, она могла бы и писать, но стала художником. Хорошим портретистом. Сама не отдает себе отчета, насколько она сильна в портрете.

– Скажите, вы всех смешных персонажей сыграли в жизни или сейчас могли бы тряхнуть стариной? Выдать бенефис, премьеру?

– Да и не хотел особенно-то никого играть. И всегда смешил только самого себя. Понимаете, себя! А так, чтобы чего-то там намечать, играть… Нет. А вот рассмешишь себя – и другим рикошетом перепадает.

– В нашей нынешней жизни больше смешного или трагического?

– (Задумывается.) Сейчас много глуповатого. Недомыслия много, бескультурья. Красота спасет мир, а глупость его погубит.

– Вы это сами добавили?

– Да, немного к Достоевскому… Да, именно глупость погубит мир.

– И долго мы будем глупы, как вы считаете?

– А мы же не чувствуем природы, не чувствуем погоды. Вот и

делаем глупости. Надо учиться у животных, иначе погибнем.

– Вы считаете, что цивилизация погубит человечество?

– Это уже на мази.

– Что, апокалипсис?

– Апокалипсис – закон природы, он долж-о-н быть! Его и выдумывать не надо. Взгляните на небо: одна планета погасла, другая возгорается.

– Скоро Пасха. Каковы ваши отношения с Богом?

– Бог всегда при мне. Правда, в смысле ритуалов, я – толстовец. Я понимаю, что это театр, и понимаю, что это необходимо. Особенно простым людям, которые не могут о Боге всегда думать. Вот и построили церковь, храм, напугали людей всякими побрякушками, золотом, облицовкой… Лужков это хорошо понимает.

– Вы имеете в виду новодел храма Христа Спасителя?

– Так я еще помню и оригинал. Мальчишкой бегал по широким лестницам. И как ломали его, помню.

– Здесь, на Арбате, в центре Москвы, вы живете много лет…

– И вот что любопытно: всегда жил в переулках с названием из двух слов: Кривоколенный, Спасоналивковский, Староконюшенный…

– Так на ваших глазах и Гоголя переносили с бульвара[11]*…*

– Этот прекрасный памятник надо вернуть на место. В советские времена ведь тоже глупые люди были, не только сейчас, они тоже умели рушить.

– … и рушили Старый Арбат?

– …Чтобы возвести эту «вставную челюсть»[12] Москвы. Какие замечательные были дворы, переулки, особнячки – Шаляпинский, Фонвизинский, Собачья площадка! Все уничтожили, чтобы вот эту дорожку к Кремлю проложить. У каждой эпохи свои маниловы.

– А колбасу-то по два двадцать помните, Георгий Михайлович? Здесь, в гастрономе, давали, в очереди, небось, тоже простаивали?

– Колбасу-то ладно. Я помню еще послевоенную лососину, которую я, студент, покупал на свою стипендию. Этак граммов по двести – хотелось вкусненького. Кадки помню с икрой. Точнее, с икрами, икра-то разная тогда была, и я различал ее разновидности. Мелкая – севрюжья, совсем дешевая, а покрупнее – белужья… Все цвета помню. А нынче-то одна черная, да и то не поймешь, может, из нефти вся… Про ту, настоящую икру и не вспоминают нынче. Даже Зюганов не вспоминает. А впрочем, он молод тогда был, мальчишка.

– Раз уж мы, Георгий Михайлович, о закуске заговорили, не могу не спросить: нынче пропускаете иногда по рюмашечке? Коньячок? Водочку?

– Так, глоточек, два наперстка. Предпочитаю водку.

– А самогончик? В ваши-то давние годы нельзя было употреблять, преследовалось…

– Ну почему? Я даже на Украине знаю хорошие самогонные точки.

– Под Миргородом? На родине Николая Васильевича?

– Точно. Как-то мы там снимались в фильме и прознали про одну старушку, мастерицу изготовления. Ходил и я, пробовал. И голова утром не болела.

– А скажите, когда вы играете алкашей, вы для натуральности принимаете? Так, наверное, легче войти в образ?

– Нет, это не помогает. Что вы! Наоборот. Сам испытал. Играл как-то пьющего человека на концерте в Кремлевской больнице. Ну, накрыли стол, «Посольская», угощение. Я хочу отказаться, мне же выступать, говорю. «А кого играете?» – спрашивают. «Алкоголика», – отвечаю. Вот и прицепились ко мне: «Выпей да выпей». Поддался, и что же – сыграл не так, как у Островского, – хуже. С тех пор понял: играя пьяного, в рот не бери.

А если честно, я ведь мало употребляющий. Тяги нет. Особенно-то никогда и не было. Вот, наверное, удивитесь – и некурящий я. Как-то в детстве попробовал, затянулся, плохо стало, и с шести лет завязал. Не курил, не пил. Вот и дожил до восьмидесяти. Хотя и сорта водки различаю хорошо, и запахи табака.

– И в день рождения не поднимете рюмку? Кстати, как юбилей-то справлять будете?

– Никак. Моя задача – спрятаться от всех. От суеты, от шума. И кто это только придумал – юбилей?! Мещанство ненужное. Чехов над этим смеялся. А он-то понимал в жизни, в юморе.

– Георгий Михайлович, популярность свою ощущаете?

– Нет, не ощущаю. И не хочу ощущать. Я всегда хотел, чтобы меня оставили в покое, чтобы я не привлекал внимания других к себе. Чего мозолить глаза народу?!

– Но ваше амплуа характерного актера всегда вызывало интерес публики, вы всегда были на виду. А ведь в иные годы это было еще и опасным.

– Вы правы, но политической сатирой я не занимался. Мое амплуа – простой человеческий юмор, который в людях всегда живет и будет жить. А понимание сатиры – в смысле кого-то там шпынять, задирать – меняется с эпохой. Будет новая перестройка – и появятся новые жванецкие, Задорновы… Все это временно. Ведь мы, актеры, как и вы, журналисты, как и гулящие девушки, которые, как я слышал, тут рядом собираются, – все мы проститутки. Профессия у нас такая. А у вас, журналистов,

особенно…

Я постарался не обидеться за такое нелестное сравнение и продолжал свой натиск:

– *Как вы относитесь к телевизионным «Куклам»*[13]?

– Телевизор смотрю мало. А «Куклы» считаю бестактным фарсом. Чего над людьми издеваться? Их и так шпыняют. А тут – морды соорудили.

– *Вам жалко всех их: и Ельцина, и Черномырдина, и Немцова?*

– Да, по-человечески жалко. Ну такие-сякие, ну плохие, а зачем вот так всенародно искажать их лица? Неинтеллигентно, бестактно…

– *Ощущаете, что жизнь торопится, что годы летят и летят?*

– Ощущаю… Но юмор спасает. Все вижу: кто летит и куда летит. Да и профессия у меня такая: все видеть, надо всем смеяться. И это мое спасение, мое лекарство. И еще: от старости, от тягот жизни меня спасает сцена.

И тут мой собеседник встрепенулся, ожил и на перехвате дыхания запричитал:

– Вот она прилетела, моя любимая, моя самая красивая женщина… Посмотрите, белая, с култышкой и двумя пальцами… Какое замечательное у нее лицо, какие глаза, какое изящное туловище… Она меня знает и уделяет мне знаки внимания… Посмотрите в ее глаза. В них-то, наверное, и ее ухажер не наглядится….

И Вицин бросил белой голубке щедрую пригоршню пшена.

Март 1997

P.S. Не знаю, правда это или нет, но я слышал, что на похороны Георгия Михайловича Вицина в октябре 2001 года принесли клетки с двенадцатью голубями. И когда гроб выносили из подъезда, птиц выпустили. Но один голубь упал замертво…

Глава 12. Лицом к лицу с Михаилом Горбачевым

«Многие секреты я возьму с собой в могилу…»

Мы сидели друг против друга за низким журнальным столом. Лицом к лицу. Звонил телефон, тикали настенные часы, за дверями кабинета чуть слышно звучали голоса. Я видел в упор известную всему миру божью отметину на лбу человека, еще не так давно едва ли не самого могущественного на Земле, так резко и круто рванувшего на себя штурвал истории, что уже никто не сможет развернуть его в обратном направлении.

Сколько бы я ни читал о нем книг и статей, сколько бы ни смотрел телепередач, ощущение его, живого и близкого, доступного хотя бы в эти ближайшие полтора часа, утвердило меня во мнении, что он, Михаил Горбачев, и велик, и слаб одновременно. Я вел беседу с политиком, без имени которого уже непредставимо уходящее столетие, а быть может, и тысячелетие. Да, велик, потому что возложил на свои плечи грандиознейшие задачи, да, слаб, потому что переоценил себя.

В течение десяти лет перестройки он был для меня символом свободы, звездой моих устремлений. Я разговаривал с ним по телефону, был рядом в минуты его общения с массами. На одной из своих книг, вышедших в период гласности, я с юношеским максимализмом написал автограф: «Вы были моей надеждой, оставайтесь ею». Но он не остался. Потому что и велик, и слаб. И моя надежда умерла в тот предательский час, когда он после Фороса спускался с трапа самолета и его свитер продувал душный шереметьевский ветер. Но это был ветер уже навсегда уходящей эпохи, эпохи Горбачева.

С Михаилом Горбачевым

– Считается, Михаил Сергеевич, что вы легко отдали власть.

– Кому же я легко отдал власть? Борису Ельцину? Давайте разберемся. С Ельциным мы совершенно разные политики. Если бы он был избран в 1985 году Генеральным секретарем, в стране не было бы никаких реформ.

– Почему?

– Потому что для Ельцина главное – власть, а все остальное второстепенно. Горбачев же к власти не рвался. В день смерти Черненко ночью собралось Политбюро, чтобы решить вопрос о преемственности управления страной: кому рулить, кому править. Гришин, тогдашний первый секретарь Московского комитета партии, внес предложение утвердить Горбачева председателем похоронной комиссии. Вы представляете, что это такое? Это означало фактическую передачу власти в мои руки. Я же предложил подумать до завтра и все решить в два часа дня на заседании Политбюро. То есть демократически предложил все взвесить, посоветоваться друг с другом и принять решение.

И Политбюро решило рекомендовать меня на пост генсека. Почему меня? Я чувствовал, что страна стоит на рубеже огромных перемен. Если их не проводить, начнется сползание в пропасть, деградация. Позади – череда похорон. Я был самым молодым в Политбюро.

– Получив власть, вы почти сразу начали ее передавать другим.

– Совершенно верно. Получив поддержку в обществе, в политических кругах, я мог легитимно начинать позитивные процессы. Власть у генсека была огромная, ни один правитель в мире не обладал такими полномочиями. Как демократ (а что такое демократия: демос + крат = власть народа), исходя из своих убеждений, я начал эту огромную власть передавать, разукрупнять. Честно, искренне. Но спустя какое-то время понял, что номенклатура боится демократизации, а мне грозит хрущевский вариант. Соберется пленум, и мне заявят: дескать, хватит реформации, мы на тебя нагляделись, нам твои коленца не подходят. Не важно, что стране подходят, важно, что им не подходят. Поэтому и январский Пленум ЦК, и партконференция 1988 года дали возможность политических свобод, чтобы население почувствовало себя гражданами. Впервые за тысячу лет российской истории.

Страна становилась другой. Той, которую все труднее было изменить. Так вот, эта сознательная деятельность была направлена на перераспределение власти: от союза – к республикам, от центра, от номенклатуры – к гражданам. Кому же должна принадлежать власть, если не тебе, коль ты демократ?

– Но Борис Николаевич сам рвался к «престолу», в стране зарождалось двоевластие. И вы были ему мощным соперником.

– Да, Ельцин мстил Горбачеву за прошлое. А я с пониманием относился к сложной ситуации. Как ответственный человек демократических убеждений.

– Ведь у вас была возможность в свою очередь отомстить Ельцину за своеволие, за его закидоны, за его своенравный характер.

– Конечно. Я мог загнать его туда, куда Макар телят не гонял. И занимался бы он заготовкой цитрусовых для страны. Но я этого не сделал, я оставил его в ЦК и предложил пост министра в правительстве. Сохранил его. Давал пример, прецедент политического решения кадровых вопросов. Когда же Ельцин оказался наверху, он использовал власть, чтобы реализовать свои мстительные планы. Такова натура Бориса Николаевича. И вот тут развернулась борьба, которая вылилась в противостояние.

– И неужели вам ни разу не удалось договориться, найти компромисс?

– Договаривались, сидели с ним так же, как с вами сейчас, беседовали, взвешивали, а когда расходились и он попадал в объятия своего окружения, все возвращалось на исходные позиции.

– Некоторые задаются вопросом: почему же осенью 91-го в Беловежье вы его не арестовали?

– Такой вариант я в голове прокручивал. Но в тот момент резкие движения могли расколоть страну, окунуть ее в гражданский конфликт и даже умыть кровью. Поэтому такой сценарий развития событий был для меня неприемлемым. Я верил и надеялся на конституционные возможности.

– Вы имеете в виду и Верховный Совет, который решал судьбу Беловежского соглашения?

– Да, я сказал себе: пусть все решает Верховный Совет. И меня поразило, что Верховный Совет Беловежское соглашение принял на «ура». А ведь в нем было восемьдесят шесть процентов коммунистов. Это те же коммунисты, которые в августе девяносто первого пошли на путч, чтобы предотвратить распад Союза. Вот таков ответ на ваш вопрос, легко ли я отдал власть.

– Михаил Сергеевич, не проходит и дня, чтобы массмедиа не вспоминали вас или добрым, или лихим словом. Это хороший признак. Как говорил Маяковский, значит, вы матери-истории ценны. Одно из последних сообщений: испанская монахиня, приближенная к святому престолу, заявила, что во время встречи Михаила Горбачева с Папой Римским в 1989 году советский коммунист номер один упал на колени и попросил прощения за все свои грехи. Сообщение очень интересное. Вопрос в лоб: было или не было? За какие грехи вы просили прощения у Папы Римского?

– Это, наверное, заявила фатимская монахиня? Не было этого. Обо мне столько ходит домыслов, слухов, мифов. Даже говорят, что я путч 91-го подготовил. Все это чепуха. С Папой Римским встречался, налаживал диалог. Я считал, что он самый левый из всех церковных иерархов: критикует капитализм, выступает против бедности, «кусает» либеральные системы. Это человек с твердыми гуманистическими убеждениями. Он ничего не боится. Как вы знаете, он даже к Фиделю поехал и многое ему сказал прямо в глаза. Я всегда ценил Войтылу и сейчас переписываюсь с ним.

– Признайтесь еще в одном своем «грехе». Вспоминаю, что одной из первых делегаций, посетивших вас после избрания генсеком, была делегация Мальтийского ордена. Вас, случаем, не завербовали в масоны?

– Меняю вашего масона на цэрэушника. Одна молодая журналистка преследовала меня в свое время шизоидным вопросом: не остаюсь ли я агентом ЦРУ? Я ответил: «Остаюсь. Там здорово платят». И она мой шуточный ответ передала в печать.

Когда я отошел от власти, была попытка найти в архивах нечто компрометирующее меня. Ничего не нашли: ни о моем масонстве, ни о моей службе в ЦРУ. Я всю свою жизнь был

открытым человеком, а когда стал во главе партии и государства, – открытым политиком. Втихую не решал ни единого вопроса. Только через Политбюро, пленумы, съезды, всенародно…

– Так, значит, и претензий к вам особых не должно быть, если все, включая самые кардинальные и, я бы сказал, трагические, вопросы решались сообща? Значит, на вас слишком много лишнего вешают?

– Вы правы. Если считают, что я в чем-то ошибся, – значит, расхлебывать ошибки надо всем вместе. Скажу вам такую вещь: все мои разговоры, письма, послания, даже черновые записи: что кому говорил, что делал, – все сохранено. Многие до сих пор засекречены, но когда их рассекретят, люди увидят, что я достойно представлял страну и народ.

– А много еще секретов осталось?

– О многом я написал в своих мемуарах. Знаете, сколько времени я их диктовал? Сто дней подряд. Десять тысяч страниц. В разных вариантах мои книги вышли во многих странах. Но сказано, конечно, не все. И многие вещи не будут сказаны никогда. Возьму с собой в могилу.

– Вы заговорили о книгах. Мне кажется, что они не стали бестселлером, как, например, шеститомные мемуары Уинстона Черчилля, кстати, удостоенные Нобелевской премии…

– Не стали бестселлером в России, а на Западе – в Америке, во Франции, в Германии, в Англии – проданы сотни тысяч экземпляров моих книг.

– Стало быть, старо как мир: нет пророка в своем отечестве?

– Многое, что касается меня, под запретом, гонимо. Издательства боятся выпускать книги Горбачева, есть случаи, когда рассыпали готовый набор, на меня постоянно стучат, пытаются подслушивать…

– Вы довольно резко высказываетесь о нынешнем президенте страны, не боитесь?

– А чего мне бояться, я говорю правду, выражаю свою точку зрения. Говорю о нем как о политике и человеке. Я же серьезно рассуждаю, а не как демагог. Не далее как вчера меня спросили на радиостанции «Эхо Москвы», что я думаю о здоровье Ельцина. Я ответил, что в свое время наблюдал Брежнева в последние годы его жизни и понимаю, во что выливается плохое здоровье главы государства. Причем тогда была другая страна, с другой системой руководства, принятия решений. Думаю, что Борис Николаевич для пользы страны должен оставить свою должность, подстраховавшись пожизненным сенаторством. А там история разберется…

– Кстати, Михаил Сергеевич, облегчим будущим историкам работу. Некоторыми политологами было замечено, что когда вы были на посту генсека и президента, то многие важнейшие политические решения принимались после вашего возвращения из-за рубежа. Мягко говоря, это наводило на некоторые размышления.

– Об этом мы уже с вами рассуждали. Могу добавить, что мы принимали важнейшие решения, которые касались не только СССР, но и других стран: политические, экономические, стратегические, экологические, военные. Да, многие проблемы я обсуждал со своими коллегами-президентами, главами других государств. Потому что эти вопросы касались и других стран.

– Вас считают мягким, добрым человеком. Ведь человека, как говорится, сразу видно. Вижу это и я. О том, что вы не злой, по определению, человек, сужу по вашей открытой улыбке, по манере сразу же отвечать на вопросы, не лукавя, не беря тайм-аута на размышления, по вашим нерезким, округлым жестам. Это хорошо, но ведь глава государства, политик, стоящий у власти, должен быть властным, сильным, жестким и временами жестоким, как Черчилль, де Голль, Тэтчер, Кастро…

– Вы ошибаетесь. Да, политик должен быть твердым. С точки зрения принятия решений. Но серьезный политик должен иметь не только политический расчет, но и моральные качества, такие как совесть, порядочность, милосердие. О Гитлере или Муссолини мы не говорим. Это примеры самого циничного лидерства, замешанного на расовой и идеологической ненависти, эти люди виновны в величайших преступлениях против человечества.

И уж коли мы заговорили о лидерах, то вот на днях я выступал в Америке с докладом на эту тему. Я пришел к выводу, что в новом столетии, тысячелетии мир нуждается в новых лидерах, которые, заботясь о благе своих соотечественников, сострадали бы всему человечеству. Лидеров, которые, принадлежа к одному из многих народов, возвысились бы до понимания чаяний и надежд других наций. Многие же нынешние правители просто плывут по течению, пользуясь старыми, замшелыми идеями.

– О вас такого не скажешь, вы – великий *реформатор, первопроходец XX века.*

– Ну вот, а вы говорите, что Горбачев мягкий! Кто же тогда настаивал в свое время на важнейших, кардинальнейших решениях…

– …которые изменяли время и заставляли скрипеть уключины истории? Однажды в Париже меня принял посол Советского Союза во Франции Юрий Рыжов. О многом мы с ним говорили. В том

числе, он высказал мнение, что Горбачев мало слушал своих помощников и советников и все решения, особенно в последнее время, принимал сам, своевольно. Так ли это?

– Конечно, окончательные решения были за мной. Но до их принятия я, как уже говорил, все проверял демократическими институтами: советовался, выслушивал другие точки зрения, полемизировал, выносил крупные вопросы на совещательные органы, на Политбюро, Верховный Совет, разного рода комиссии. Иногда просто звонил тем людям, мнению которых доверял. Кстати, ловлю себя на мысли, что вашим вопросом вы помогли мне вооружиться еще одним аргументом насчет слабовольности и нерешительности Горбачева: в конечном счете, и впрямь, многие решения, которые я принял, и сегодня подтверждают мою правоту. Но, к сожалению, многое не успел решить – времени было мало.

– Как бы вы охарактеризовали одной фразой эпоху перестройки, отцом которой вы навечно останетесь?

– Потоком стали из ковша, которая разливается и наступает огнем и жарой, а ты этим потоком управляешь.

– И вы сами не могли не обжечься…

Кстати, о тех, кто был рядом, а потом вас предал… Извинился ли чисто по-человечески хоть кто-то из них: Болдин, Плеханов, Язов?..

– В первые дни допросов они признавались и каялись. Видно, надеялись, что их проступок сочтут политическим и все само собой решится. Но позже, когда все изменилось после распада Союза, они почувствовали себя на коне. А потом и Ельцин понял, что натворил. Особенно после «расстрела парламента». Ну и пришли к взаимной амнистии. Торг за счет народа, за счет государства.

– С Лукьяновым, конечно, никаких контактов?

– Да вы что? Это же предатель чистейшей воды. Так сожалею, что тянул его вверх, карьеру ему делал.

– А Зюганов из-под вашего крыла выпорхнул?

– Нет, я его вообще не знал, не ведал о нем. Компартию во главе с Зюгановым к власти допускать нельзя.

– Еще о чем жалеете, Михаил Сергеевич?

– Знаете, если бы я не ушел тогда, в августе девяносто первого, в отпуск, ничего бы не случилось, никакого ГКЧП. Не надо было уходить.

– Мое личное ощущение того времени было таким: вы могли бы сохранить и страну, и партию, и себя на посту. А ваше ощущение?

– Да, мог. Только партию расформированную,

преобразованную, с коммунистическим, социал-демократическим и либеральным направлениями. Авторитарной партия быть уже не могла. Что касается страны, то ведь это не я придумал какой-то там союз суверенных государств. Основы союзного существования содержатся в ленинских документах и в сталинской и брежневской конституциях. Там сказано, что республики нашего государства обладают правом суверенитета вплоть до отделения. Я же не такой глупец, чтобы разрушать основу преемственности, лететь вперед без оглядки.

– Кто вам наиболее близок в нашей российской истории?

– Когда-то импонировал Петр Первый. Но позже я понял его более правильно, ибо его методы перекликаются со сталинскими: он боролся с варварством варварскими способами. Действовал на костях. Более приемлем для меня – да и его биографию я знаю хорошо – Александр Первый, человек драматической судьбы. Помните, какое было начало – Сперанский, реформы… Высокого мнения и об Александре Втором, о его осмысленной цельной концепции реформирования России, правовом, судебном, государственном институтах… Но, увы, судьба реформаторов, как правило, трагична.

– В том числе и Ленина?

– Совершенно верно, в том числе. Кстати, мое внимание к этой противоречивой, драматической фигуре до сих пор не ослабевает. Я вижу драму этого человека. Думаю, что если бы он остался жив, то действовал бы на основе того, что написал в последние годы жизни, когда начинался НЭП. Он чувствовал начало разрыва социализма и демократии. Ленин успел отказаться от ставки на диктатуру, на кровавое насилие. Но Сталин усилил эту ставку, потопив страну в крови, возложив на себя необъятную, беспредельную власть. Кстати, когда Ленин провозгласил НЭП, его называли предателем, и несколько его самых горячих приверженцев даже покончили с собой: дескать, Ленин продался капиталу.

Разговаривая с Михаилом Сергеевичем, глядя ему прямо в глаза, задавая свои лояльно-каверзные вопросы, полемизируя с ним, я неожиданно для себя стал ощущать его обаяние, открытость, стремление быть на равных с собеседником. Более того, Горбачев вдруг стал отметать некоторые мои довольно принципиальные и давно сложившиеся представления… Он явно обладает экстрасенсорными способностями, подумал я, соглашаясь с его логически верными суждениями. Он говорил страстно, взволнованно, то отступая за линию эмоционально-лирических излияний, то цепляясь за незыблемые и

общедоступные мнения. Не размахивал руками, не поправлял галстук, не дергал нос в нервическом порыве. Временами, я это чувствовал, его несло, и я вспоминал резкие суждения оппонентов перестройки о том, что Горбачев «профукал», «заболтал» великую миссию. Вклиниваться в монолог, прерывать уважаемого мною визави я, конечно же, не мог. Но, несмотря на эти издержки, мне показалось, что на многие вещи человек номер один прошлого десятилетия открыл мне глаза. За полтора часа он справился с одним в чем-то сомневающимся человеком, как за первые два года перестройки сумел убедить в своей правоте весь мир, миллионы и миллионы людей.

Ответить на все мои вопросы, подсунутые мне к тому же и теми, кто знал, что я иду на столь интересную встречу, Михаил Сергеевич, конечно же, не смог.

Но один вопрос стоял особняком. На него он отвечал добрых полчаса. Но читателю бояться не следует, я получил от Михаила Сергеевича право на редактуру и сокращение этого текста.

– Михаил Сергеевич, специалисты-сексологи считают, что чета Горбачевых войдет в историю семейных отношений. Почему? В начале перестройки ваша супруга стала все чаще и чаще появляться на людях, многих раздражая, как тогда считали, вмешательством в государственные дела. По стране гуляли слухи и о ее руководстве строительством крымской дачи, и о крупных тратах на наряды, и о ее повышенном интересе к вопросам, к которым она не имела никакого отношения. С вами будто бы разговаривало кремлевское окружение, давили ближайшие члены команды, но вы не отдали жену на растерзание, не изменили своего к ней отношения и продолжали быть рядом и в счастливые, и в тяжелые времена.

– До того как я стал генсеком, моя жена никого не интересовала. Когда меня избрали, я сказал Раисе Максимовне: не беспокойся, ничего не изменится в наших отношениях, я не буду подстраиваться под чьи-то досужие мнения. Свое достоинство мы сохраним. Этим словам, точно клятве, мы остались верны… Конечно, я понимаю, какое впечатление производила появившаяся рядом с генсеком молодая образованная симпатичная женщина. Я бы даже взял на себя смелость заявить: это подействовало на людей больше, чем сама перестройка. О перестройке тогда говорили: ну ладно, перестройщиком был Хрущев, реформатором был Косыгин, чего-то там пытался изменить даже Брежнев. Все прошло, как с белых яблонь дым. Пройдет и это. А ведь у каждого из названных мною и у всех других, естественно, были жены, не будем обсуждать

какие, скажем так, разные, хорошие. Но все они находились в тени. Народ их мало видел и ровным счетом ничего о них не знал. В этом смысле страна оставалась домостроевской. По поводу нас в ЦК шли два потока писем. В одном наш совместный имидж приветствовался взахлеб: писали, что мы подняли достоинство советской женщины-супруги; второй поток писем – злопыхательство, зависть, подначки. Но мы не сломались…

– Я бы акцентировал: может быть, даже ценой потери к вам как к генсеку, президенту доверия, уважения части людей. Ведь вы рисковали?

– Вы правы, мы шли на риск. И на риск в семейных, сугубо интимных делах. Но мне не привыкать. Я рисковал значительно больше, когда начал реформы. И в обоих случаях мой выбор, мой риск был осознанным. Уступать чьим-то расхожим мнениям я был не намерен.

– Скажите честно, Раиса Максимовна все-таки влияла на какие-то государственные дела, на принятие важных решений?

– Нет, это миф. При нашем Политбюро никто со стороны влиять на власть не мог. Тем более женщина.

– Даже такая, как Раиса Максимовна?

Михаил Сергеевич улыбнулся своей открытой, доброй улыбкой. Рассмеялся.

– Какие сны вам нынче снятся?

– Что такое сон? Проваливается человек, и все. Уходит в другую форму своего бытия. Сказочную, невероятную. Сны меня особенно не мучают. Выпью три чашки кофе на ночь и проваливаюсь…

А я подумал: три чашки кофе на ночь! Богатырское здоровье у моего кумира. И его, наверное, хватило бы еще на одну перестройку. Но вряд ли Борис Николаевич позволит, понимаешь…

Кажется, еще не так давно многие из тех, кто не принимал перестройку, посылали проклятия и в адрес Раисы Максимовны Горбачевой. А небезызвестный Егор Кузьмич[14] вкупе с небезызвестным Борисом Николаевичем прямо-таки фанатически боролись с этой модно одевающейся женщиной с сильным, волевым характером. Народ сочинял частушки, «патриотическая» пресса поливала жену генсека почем зря… После отставки мужа, первого президента Советского Союза, Раиса Максимовна стала вести затворническую частную жизнь. Ее предназначение осталось прежним – быть возле любимого человека, дочери, внучки. И вот тут-то заговорили о великой паре человечества – о Михаиле и Раисе Горбачевых. Об их верности друг другу, о вечности их чувств, о том, что счастье мужчины и женщины

прежде всего в семейном «вместе».

Март 1998

Однажды в Нью-Йорке, это было летом 1991 года, я был поражен невиданным для Америки зрелищем – гигантской полукилометровой очередью. По советской привычке заняв очередь в хвосте и тогда уж спросив, что дают, я был шокирован: «давали» Раису Горбачеву. Точнее, только что изданную ее книгу «Я надеюсь…». Раиса Максимовна прилетела на презентацию и каждому желающему оставляла автограф. Эта книга посвящена детям, и гонорар за нее был переведен на счет советской ассоциации «Гематологи мира – детям», цель которой – оказание помощи в лечении детей со злокачественными заболеваниями крови. И теперь я думаю: что это – совпадение или предчувствие? Может быть, Раиса Максимовна догадывалась, что успела получить свою роковую дозу облучения в страшных ядерных краях?

Болезнь Раисы Максимовны считается одной из самых тяжелых среди человеческих недугов. За жизнь жены Горбачева боролись крупнейшие медики Германии, ей сочувствовали и помогали письмами, телеграммами тысячи людей. Ну а самый близкий и родной человек не отходил ни на минуту. Ведь он своей Раисе дал клятву верности и вечной любви. Клятве этой Михаил Сергеевич не изменил.

Свои мемуары Раиса Максимовна назвала «Я надеюсь…». Мы тоже по-человечески, по-христиански верили и надеялись, что болезнь отступит. Но 20 сентября 1999 года мир потрясла страшная новость: «Raisa Gorbachova est morte».

Глава 13. У Шимона Переса в Тель-Авиве

«Мы не даем миру заснуть»

Такого в моей журналистской практике еще не случалось: охранник собеседника полтора часа дышал мне в затылок. В Израиле было неспокойно: арабы палили из «катюш», террористы искали новые жертвы, на улицах взрывались бомбы. Наученные горьким опытом спецслужбы страны ревностно оберегали своих отцов-правителей.

Уже более полувека имя Шимона Переса на устах у израильтян. Занимавший ключевые посты в правительстве, дважды побывавший на посту премьер-министра, являющийся руководителем крупнейшей оппозиционной партии, Шимон Перес продолжает влиять на реальную политику не только в своей стране, но и во всем ближневосточном регионе. Он занимает «голубино»-терпеливо-примирительную позицию в отношениях с арабами, чем набирает политические очки у некоторой части населения. Но мне показалось, что любой «электоратный житель» Израиля осведомлен о главном подвиге моего собеседника – создании в Димоне атомного центра, о котором, кстати, официально не принято говорить – как известно, Израиль не обладает ядерным оружием.

Изначальная фамилия Переса – Перский. Он родился в городке Вишнево на нынешней территории Белоруссии.

С Шимоном Пересом

Спустя много лет почетным гостем посетил родные места. Вот почему показалось мне, что этот проживший долгую, насыщенную, драматическую жизнь человек может заинтересованно говорить и о России.

Я предпочитаю умереть без страха…

– Господин Перес, выстрел, поразивший Ицхака Рабина, мог поразить и вас. Ведь вы стояли рядом с президентом. Вы боитесь за свою жизнь? В Израиле, как известно, почти всегда неспокойно.

– Убийце хотелось покончить с обоими, начать с Рабина, а потом застрелить меня. Что ж, я предпочитаю умереть без страха.

– Насколько мне известно, вы с юности мечтали стать политиком и даже премьер-министром. Это правда?

– Не уверен. В годы моей юности государства еще не существовало. Я хотел быть просто членом кибуца[15]. Я хотел быть поэтом или архитектором. Я и сегодня пишу стихи.

– Но все-таки жизнь сложилась так, что вы стали политиком. Что такое для вас власть: наркотик, стремление быть первым, искреннее желание помочь своему народу?

– С раннего возраста история захватывала меня, но я постоянно грезил будущим. Ведь историю изменить нельзя. С другой стороны, то, что уже есть, дает предпосылку будущего и по этой причине я мечтал стать архитектором. Ведь архитектор работает на века. Вот почему я отвечу так: меня интересовала не власть сама по себе, а возможность влиять на будущее, то есть творческий процесс.

– К вопросу о поэзии. В одном доме здесь, в Тель-Авиве, мне показали фотографию, на которой изображены вы и поэт Евгений Евтушенко. Это неспроста?

– Евтушенко я люблю больше как человека, а не как поэта. Захватывающая, интересная личность.

– Вы имеете в виду его знаменитое стихотворение «Бабий Яр», в котором впервые в Советском Союзе был поднят еврейский вопрос?

– По тем временам это и впрямь было актом героизма. Евтушенко один из тех, кто написал правду, кто первым прорвался на Запад.

– Вы родились на территории, связанной с Россией. Как вы ощущаете свои корни?

– У всего Израиля есть русские корни, в литературе, в поэзии, в ментальности, в характере людей. Когда я слушаю русские песни, я думаю, как они похожи на наши, еврейские. Когда я читал на иврите «Евгения Онегина», я удивлялся, как сложно было перевести роман. Культурного человека такая аутентичность поражает.

Человек не может быть абсолютно счастлив

– Да, вся наша культура вышла из русской, и в хорошем, и в плохом. Почему в плохом? Потому что длина речей наших политических деятелей такая, как у русских политиков. У русских, а не у американских. А тема страдания в русской литературе? Здесь, в Израиле, она очень понятна. В идеале ты никогда не можешь быть счастлив, потому что всегда есть печаль и на всем лежит печать страдания.

– *Как вы воспринимаете фигуру Сталина, от характера и действий которого пострадали миллионы людей?*

– Я не знаю более страшных вещей в истории русского народа, да и, пожалуй, всего мира, чем те, которые творились при этом тиране. Недавно я прочитал роман-биографию Ивана Грозного, написанную французским писателем русского, кстати, происхождения – Анри Труайя, и она мне очень напомнила времена Сталина. Россия, безусловно, могла бы иметь более порядочного и честного лидера, чем Сталин. Если один и тот же народ имел и Сталина, и Толстого, то я предпочел бы, чтобы Сталин был писателем, а Толстой руководил бы народом.

– *Вы, конечно же, знаете о том, что Сталин хотел осуществить акцию по уничтожению всех евреев в Советском Союзе? Недавно вновь открытые свидетельства подтвердили чудовищный замысел.*

– Да, он был антисемитом. Но при этом уничтожил и всех своих товарищей. Он не имел никаких принципов, и коммунизм, который был для Сталина высшей идеей, стал для него средством продвижения к власти. Это самое страшное.

– *Видятся ли вам элементы сталинизма в тех или иных современных лидерах?*

– То есть в тех, которые думают, что цель оправдывает средства? Это Саддам Хусейн и Хомейни. Цель – это они, а средство – это мы, евреи, Израиль.

Я ощущаю себя частью истории

– Вы, наверное, единственный из живущих ныне политических деятелей Израиля, кто по праву может ощущать себя принадлежащим к истории, ее «осколком», ее плотью. У вас есть такое чувство?

– Хронологически я это ощущаю. Но замечу – я не очень люблю размышлять об истории, то есть о прошлом, меня волнуют конкретные сегодняшние дела, а больше всего меня интересует завтрашний день. Вся человеческая история – это история кровопролития. Ведь и коммунизм развалился по той причине, что на крови нельзя строить государство, идеологию. Авторы идеи коммунизма не поняли процессов, происходивших в мире. На протяжении всей истории счастье и сила человека происходили от земли, то есть от того, что было материальным, территориальным. В предыдущие века возможность сохранения жизни, радость существования «давались» силой, принуждением, полицией, милицией, границами, государствами. Нынче ситуация в корне другая. Ощущение счастья, животворящего развития сегодня дает наука, технология, и это есть то, что не может удержать или сдержать ни одна власть на земле. Все стало другим: мир, человек, будущее.

Советскую империю развалил телевизионный экран

– Как вы воспринимали развал огромной советской империи? Что повлияло на этот катаклизм?

– В первую очередь – телевизионный экран, который, как всем стало ясно, намного сильнее «железного занавеса». Невозможно применять диктатуру при невозможности ослеплять людей. Глаза телеэкрана имеют более сильное влияние, чем уши цензора. Второе – личность Горбачева, который не возложил ответственность за провалы системы на своих предшественников, а возложил ее на саму систему. И третье. Коммунисты, сталинисты думали, что с помощью оружия, тяжелой промышленности, технологий можно удержать власть. А вышло наоборот – дорогостоящие, не приносящие конкретной пользы «сдер-живатели» разваливали систему. И еще, на мой взгляд, немаловажное. Огромный разрыв, почти пропасть между интеллигенцией и теми, кто управлял страной и обществом. Поразительно, но в мире не припомнить такого прецедента, как в СССР: бездарно-неинтеллигентный режим вольно или невольно создавал великих гениальных людей. Вы понимаете, о чем я говорю?

– Конечно. Кстати, господин Перес, в вашей стране говорят о вас как об одном из немногих людей, которые стоят у высокой власти, но при этом интеллигентны и близки к культуре. И не только в Израиле, но и в мире.

– Ну, это преувеличение.

– Да, но вы пишете стихи, издаете книги, вы много читаете, философствуете.

– Видите ли, мы живем в очень узком кругу людей, в ограниченном пространстве. Единственной возможностью убежать от ощущения одиночества являются книги. Книги – это море мудрости, вечности. А действительность – остров преходящего и суеты.

Молясь, евреи обращаются лицом к Иерусалиму, а арабы к Мекке

– Господин Перес, я впервые в вашей стране. Когда я ехал в Иерусалим, сказал сопровождавшим меня коллегам, что мне кажется, я еду по самой главной дороге мира, ибо еду в самое святое для христиан место на земле, ведь здесь пребывает Гроб Господень. Святой город произвел неизгладимое впечатление. Но что я узнал? История Иерусалима, города трех религий, – вся из крови, убийств, насилия и унижений. По сей день. Арабы убивают евреев, евреи мстят арабам. Вы любите говорить о будущем. Так каково же оно, будущее города, который влечет миллионы верующих и давно уже стал одним из самых почитаемых мест на свете?

– Иерусалим останется закрытым с точки зрения политической, то есть и впредь будет столицей Израиля, но будет открытым с точки зрения нравственной, духовной для всех течений, народов и религий. Почему у евреев никогда не было другой столицы, и Иерусалим никогда не был столицей арабского государства? Потому что этот город 654 раза упоминается в Танахе – священном, как Библия, источнике, а в Коране – ни разу. Молящиеся евреи лицом обращаются к Иерусалиму, а арабы к Мекке.

– Самое главное решение, которое вы приняли на протяжении долгой политической карьеры?

– Создание атомного реактора в Димоне. Когда я начал его строить, я не думал о Хиросиме, я думал об… Осло. (Подписание в 1993 году в столице Норвегии мирного соглашения между Израилем и ООП, Пересом и Арафатом. – Ф. М.) Другие решения? Тогда операция в Энтеббе, когда я был министром обороны.

– Да, эта операция была фантастической. Об освобождении вашими коммандос заложников, захваченных в самолете террористами, у нас в России регулярно показывают художественный фильм.

Скажите, а ведь при вас было принято рисково-непопулярное решение, связанное с коллапсом в израильской экономике? Что-то подобное происходило недавно в России.

– Да, при мне, я был тогда главой правительства, это случилось в 1985 году. Израиль потрясла огромная инфляция, 400-процентная. И я принял ряд мер, которые ее остановили. Это и впрямь было связано с огромным риском, требовало гигантских усилий. Но обошлось.

До Горбачева Россия для нас не существовала

– А случались ли ситуации, при которых вы советовались с советскими или российскими руководителями?

– До Горбачева Россия для нас не существовала. А при нем и после него я общался со многими.

– Любопытно, советуетесь ли вы с женой при принятии важных государственных решений?

– Как правило, моя жена была против тех решений, которые я принимал. Она просто хотела, чтобы я оставался членом кибуца. И больше ничего. Чтобы я не делал политической карьеры, чтобы я не был главой правительства. Однако если бы она не прощала мне всего этого и многого другого, я бы не смог продолжать дальше свою карьеру. Так что все приходило в требуемое равновесие. Кстати, моя жена одна из наиболее скромных женщин – жен политиков. Достаточно сказать, что она не дала ни одного интервью.

– Вы состоите в дружеских отношениях с нынешним президентом США. Вы сочувствовали ему в недавнем секс-скандале?

– Он слишком молод. Слишком поддался искушениям. Однако он теплый человек, интеллигентный и очень мудрый.

– Какова сегодня главная головная боль для Израиля?

– Отвечу так. Полвека, которые мы прожили, имеют один характер, а 50 лет, которые, дай бог, мы проживем в будущем, будут носить совершенно другой характер. С 1948 года, то есть с основания государства, у нас не было выбора, кроме одного – воевать за свое существование, за правое дело. Ганди сказал, что в то время, когда кошка охотится за мышкой, нет никакого смысла в том, чтобы кошка объявила перемирие. Однако через полстолетия выяснилось, что кошка это не кошка, а мышка это не мышка. И можно жить в мире.

Евреи первыми восстали против рабства

– Скажите, какое качество в еврейской нации вы считаете доминирующим: стремление выжить, сохранить себя, удержаться, победить?

– Евреи не конформистский народ. Они идут на соглашения, это народ (как написано во французской энциклопедии), который не дает всему миру заснуть. Но и сам не может спать, то есть успокоиться. Одно из основных качеств еврейского народа, которое потом взял за основу весь мир, – это стремление к справедливости. Это народ, который первым восстал против рабства, порабощения, поклонения идолам. Обо всем этом очень хорошо написал Лев Толстой.

– Вы знаете, как на Руси издавна говорили о еврее: хитрый, расчетливый, умный.

– Точнее так: народ, в котором есть умные люди. Но если обобщать, евреи и впрямь мудры. Оглянитесь, сколько у нас пророков, ученых, деятелей культуры. Но мы народ, который склоняется к экстремизму, не удерживая себя в каких-то рамках, как это могут делать другие народы. Согласно традиции, еврейский народ может и должен быть экстремистом. Если мы стремимся к чему-то хорошему, то мы достигаем звезд, если к плохому – попадаем в пропасть. Нет среднего, или вверх, или вниз. В идише и иврите практически нет настоящего времени. Или то, что было, или то, что будет.

– Вы не устали от политики, от борьбы за будущее?

– Я не знаю двух вещей в жизни: усталости и покоя.

– Слово «апокалипсис» придумали евреи. Лично я полагаю, что мир изживает себя и Страшный суд настанет. Какова ваша точка зрения?

– А я полагаю, что с самого первого дня, когда Творец создал человека, все зиждется на равновесии, на пбрах: свет и тьма, земля и воздух, добро и зло. Если одна из противоположностей будет доминировать, то найдется какое-то равновесие и самому прогрессу.

Надо прощать ближнему

– Вы, господин Перес, и впрямь мудры и опытны. Что вы скажете, как прожить жизнь правильно и полно?

– Ну что ж, попробую. Первое – прощай своему ближнему то, что прощаешь себе, снисходительно относись к ошибкам других, как снисходительно относишься к своим ошибкам. Второе – не бойся трудностей. Каждая вещь трудна (велика) настолько, насколько эта трудность субъективно вами воспринимается. Нужно всегда делать то, что как бы больше тебя, потому что если ты будешь обслуживать только самого себя, то это самое маленькое, что ты можешь сделать на земле. Не балуй себя слишком. Балуя себя, ты растрачиваешь себя. В жизни мы используем всего лишь пятую или третью часть предоставленного нам свыше потенциала. Так для чего же экономить?

Август 1998

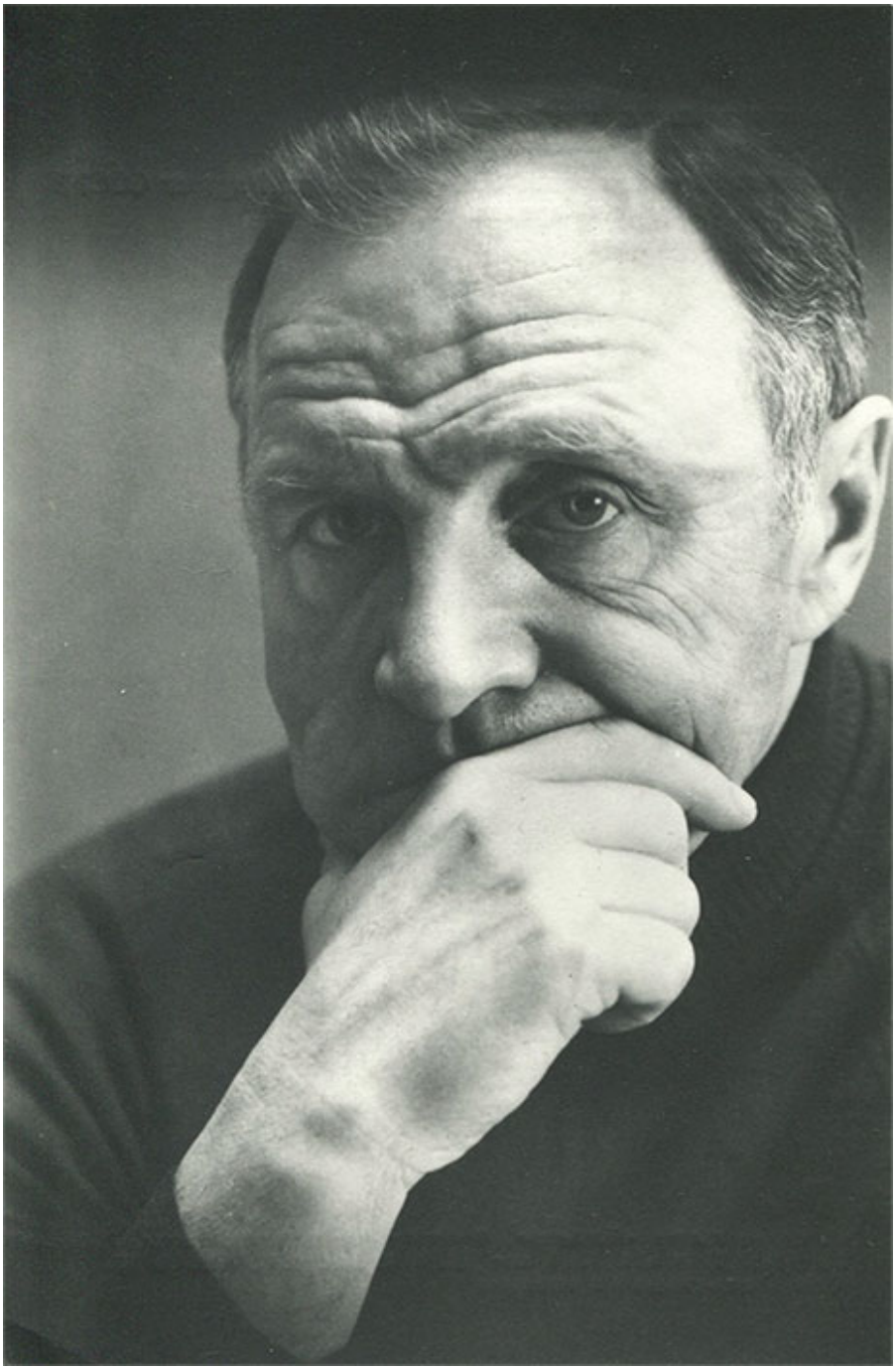
P.S. Шимон Перес, несмотря на свой почтенный возраст (в 2011 году ему исполнилось 88 лет), с 2007 года занимает пост Президента Государства Израиль.

Глава 14. Михаил Ульянов: «В России на актеров смотрят как на слуг»

«Я не стал таким умным, как Цезарь…»

Всякое случается в нашей жизни. Но эпизод, приключившийся со мной много лет тому назад, был очень уж удивительным, почти абсурдным по своей сущности. Он долго мучил меня и не давал покоя. И я все ждал встречи с человеком, который раскрыл бы мне тайну того давнего случая.

А произошло вот что. Я находился на Калининском проспекте (ныне Новый Арбат), в квартире у своей доброй знакомой, женщины уже немолодых лет. Раздался звонок в дверь, она вышла в переднюю, повернула ключ, и я услышал какую-то возню, стуки, тяжелое дыхание вошедшего и запанибратскую реплику: «Миша, тащи прямо в комнату». Какой-то мужик в телогрейке втащил на своем горбу огромный стол, опустил его на пол, поднял голову и – о боже, в «Мише» я узнал самого Михаила Александровича Ульянова, народного артиста, сверхпопулярного тогда человека, «символа», «совесть нации» и пр. и пр. За ним гонялись толпы поклонников, получить его автограф считалось удачей. Короче говоря, передо мной в образе заурядного грузчика из мебельного магазина предстал живой памятник. Я был не просто поражен, я был потрясен и, когда «грузчик» ушел, спросил у хозяйки квартиры, как же Ульянов сюда попал и почему он в таком виде. Знакомая что-то пробормотала, дескать, так вышло. Больше к этому разговору мы не возвращались, а через несколько лет она скончалась, унеся с собой тайну той встречи.



Михаил Ульянов

И вот мне представилась наконец возможность все узнать из первых рук, и оказалось, что случай, показавшийся мне из ряда вон выходящим, для Михаила Александровича – всего лишь

типичные обстоятельства нашей советской действительности.

– Было такое. Дело в том, что Анна Максимовна Манке, в квартиру которой я и впрямь приволок, не помню уж, то ли кресло, то ли стол, была замечательной личностью, подругой моей жены еще со школьной скамьи. Но в один «прекрасный» день во время борьбы с «космополитизмом» Аню замели, естественно, без суда и следствия. Замели надолго. В лагере она вышла замуж, родила сына. Сталинская эпоха была страшна тем, что люди теряли свое человеческое обличье, и если на кого-то падало подозрение или тем более его арестовывали, то этот несчастный оказывался в вакууме: его мгновенно бросали друзья, родственники, сослуживцы. Все боялись, всех пронизывал животный страх: «А вдруг меня возьмут из-за него?» Ну, так вот, моя жена (актриса Алла Петровна Парфаньяк. – Ф. М.) – человек с характером, не бросила подругу и продолжала почти демонстрировать свою близость к ней: писала письма в лагерь, чего-то там хлопотала, советовалась. После смерти Сталина Аню освободили, она стала работать в Центральном доме литераторов, и теперь уже, не боясь, вся Москва бегала к ней с просьбами, ибо Анна Максимовна заведовала отделом по организации модных тогда литературных встреч с писателями.

Вот и вся история. История, я бы сказал, типичная. В ней отражено страшное время и его последствия. Вы удивились, увидев меня в необычном ракурсе, но ведь это тоже для нас типично, я бы сказал, буднично. Да, когда у нас артист тащит на горбу какую-то тяжесть, это не героизм, это норма, ибо сами знаете, не всегда найдешь человека, который помог бы при случае что-то там сделать по хозяйству, да и не всегда есть деньги оплачивать рядовые услуги. Такие, извините, мы прекрасные демократы. Ульянов или там кто-то другой на моем месте – это вам не Джек Николсон или Сильвестр Сталлоне, которые если и тащат что-то на своих плечах, так тащат миллионы, сокровища. Мы жили и живем другой жизнью. Мы не живем, мы боремся за жизнь. Этакая великая непрестанная Куликовская битва.

– Вас, Михаил Александрович, считают актером далеко не ниже, а выше многих мировых звезд, которые на виду у публики и от которых не отстает пресса. Но что-то толпы журналистов у входа в Театр имени Вахтангова я не заметил. Обидно. И за вас, и, как говорится, за державу. Или я не прав?

– Да не знает нас никто. Если по серьезному счету, то я могу назвать два-три имени, о которых знают за границей. В свое время знали Сергея Бондарчука с его великими, грандиозными картинами, знали немного Иннокентия Смоктуновского, хотя он

заслужил явно не «немногого». А из нынешних, конечно, знают Никиту Михалкова в трех лицах божества, который по-хорошему везде успевает: и сняться, и руководить, и кинематограф спасать, и свои картины подать западному зрителю.

Да и как нас можно узнать *(Михаил Александрович раздраженно повышает голос),* если у нас в Москве-то картины не идут. Вот сейчас я снялся в двух фильмах, но их нигде не показывают. Так как же о нас узнать? Американцы заполонили весь мир – хорошим кино, плохим, великим, замечательным или халтурным, но заполонили. Поэтому, хочу я или нет, спросите в любой деревне – и вам скажут, кто такой Де Ниро или Сталлоне. Да что они – лучше нашего Юрия Яковлева или Анатолия Папанова? А Сергей Юрский или Олег Борисов – это актеры российского ли только масштаба! Это из того, прошлого поколения, но я могу назвать и иных молодых, которые вынуждены сниматься в какой-то проходной белиберде, в «клубничке». А почему? А потому, что за «клубничку» платят. Ведь всем надо кормить семью, детей, одеваться хотя бы сносно. Вот и унижаются. Вспоминаю в связи с этим такой случай. Лет 20 назад я был на фестивале в Сан-Себастьяне с «Братьями Карамазовыми». Нас представляла знаменитая испанская актриса Кармен Сильвия, прелестная, красивая женщина. Когда она вышла на подиум, зал взорвался, как сумасшедший, – ее любила вся страна. И вот наши организаторы решили показать советский фильм в каком-то рабочем клубе, на окраине города. Как же обойтись без лобзаний с гегемоном?! Едем мы туда и видим, что наша богиня Кармен как-то неадекватно себя ведет: чем-то возмущается, строит недовольные гримасы, наверное, матом по-испански проходится. Спрашиваем переводчика и узнаем: она ужасно не хочет ехать в этот рабочий клуб, для нее это оскорбление, девальвация ее реноме в глазах зрителя. А нам хоть бы хны! Я не говорю, что это плохо – такое массово-затейное общение с народом, но я ничего и хорошего в этом не вижу. Не можем мы, не умеем нести свою марку, ценить талант, да и преподнести себя, свое искусство не можем. А вы говорите, Сталлоне…

– Вы получали приглашения на роли от зарубежных продюсеров?

– А как получишь при таком положении вещей? Сейчас нет, а когда-то приглашали в Германию. Я тогда снялся в нашумевшей картине «Битва в пути». Фильм понравился Вальтеру Ульбрихту, руководителю ГДР. И он приказал всей стране просмотреть его как партийный документ. Короче говоря, зовут меня на какие-то там съемки. Стали обсуждать гонорар за работу. И в конечном

итоге выходило, что из семисот марок за съемочный день мне приходилась ничтожная доля. Да еще и с унижениями, с получением рублями, а то и с предложением пошива парочки выходных костюмов вместо денег. Вот так мы позволяли себя принижать. Подачками, лестью.

– Михаил Александрович, не хочу вас обидеть, но скажите, почему вы постоянно в своих воспоминаниях оглядываетесь на прошлое? Ведь вас любят и сегодня, вы и сегодня – в самом прямом смысле – честь и слава русского искусства. Неужели вы считаете, что все уже в прошлом, и, как сказал Блок, «мы – дети страшных лет России – забыть не в силах ничего»?

(Замолчал, вздохнул, подумал).

– Люди моего поколения, события моей давней жизни – это не прошлое. Это настоящее, ибо оно живет с нами, в нас тлеет и в нас смердит. Да, когда я разговариваю с молодыми актерами нашего театра, для них мои штудии – давняя история. И это тоже нормально. Для них все, что там, далеко, не так страшно и не так болезненно, как для нас. Поэтому я не согласен с вами, что все уже в прошлом. Да и кто знает, в прошлом ли. Как сказал один умный актер, обращаясь к молодым: «Вы непуганое поколение». А мы – пуганое. И я живу настоящим с точки зрения прошлого. Уж слишком за мной жуткий тянется хвост. Это притом что я не самый несчастный человек на этой Земле.

– Как я понимаю, вы считаете, что страх еще сидит и сегодня в сердцах и душах тех, кто постарше. Скажите, а чего вы сегодня боитесь? Не манифестов же бесноватого Макашова?

– Я боюсь сегодня нашего беззакония, боюсь нашего беспредела, боюсь слабости нашего государства, боюсь безволия наших вождей, я боюсь за детей, я боюсь за поколение, которое звереет. К великому сожалению, у меня нет никаких шансов жить без тревог и волнений в нашей стране. Я всегда должен оглядываться. На улице, в подъезде. Хотя я не имею никакого отношения к бизнесу, к деньгам. Я всего лишь актер.

– Вы боитесь и за свой прекрасный вахтанговский театр?

– Не боюсь за него только в одном, что это и впрямь театр с великими большими традициями. С сильной корневой системой. Но нынче жизнь требует иных театральных форм. Более гибких, более доступных зрителю. А у нас громоздкий стационарный российский театр. Мы уже с трудом вписываемся в страшную суетную жизнь. Не творчески (творчески – это вопрос не трагический), мы не вписываемся экономически, финансово, зарплатно. Мы брошены на произвол судьбы. Простаивают прекрасные актеры – Яковлев, Борисова, Максакова, да и ваш покорный слуга.

– Но у вас такие возможности, связи, мне кажется, что Ульянов откроет левой ногой любую дверь.

– Не шутите, быть может, когда-то такое и было возможно. А впрочем, при наших тоталитарных структурах искусство всегда пребывало в остатке. На нас всегда глядели, как на слуг, сверху вниз. А нынче только при умных интеллигентных губернаторах театры еще как-то держатся. Ведь что такое театр: по-житейски рассуждая, в него можно и не ходить. Только это будет одна жизнь, а если ходить, то это уже другая. И человек другой. Губернатор, любящий, скажем, домино, театру не поможет. Слава богу, Юрий Лужков к 75-летию театра подарил нам средства на светотехнику и радио. Ну и, конечно, продолжают нас спонсировать сургутские нефтегазовики.

– Михаил Александрович, хочу сделать вам комплимент: год назад вся Москва отмечала ваше уже 70-летие, годы все-таки бегут, Лету не остановишь. Тьфу-тьфу, вы прекрасно выглядите, такой свежачок-бодрячок. Физзарядку делаете по утрам?

– Да нет, но хотелось бы. То делаю, то бросаю. Не скажу, что уж очень строго слежу за здоровьем, никакой диеты не соблюдаю, единственное, что не курю и не пью.

– И никогда не курили, и никогда не пили?

– Что вы, 25 лет отдымил и пил довольно много. А нынче спасает работа, вот без нее и впрямь сопьешься.

– Вы трудоголик, с утра до вечера на сцене, в кабинете, в министерстве?

– Да почти. Круглые сутки занимаюсь одним тяжким делом – как худрук стараюсь, чтобы театр не утонул, чтобы труппа не распалась по примеру других столичных трупп.

– Обедаете дома или в ресторане при Щукинском училище?

– Дома. Моя жена замечательно готовит.

– А разве она не в театре?

– Я же не могу по блату дать ей работу. Как и многие другие, она не занята, на пенсии.

– Тогда легче ходить парой на презентации, тусовки, рауты.

– Что вы, я закончил это дело после «Председателя», когда меня разрывали на части. Все это пустое, болтовня, поцелуйчики. А нынче тем более, посмотришь, как на фотографиях в газетах жрут звезды нашей жизни, открыв пасть, заглатывая куски, так и тошнит от всего этого.

– Ну знаете ли, мэтр, всем нынче есть хочется. А на званых вечерах вкусно кормят.

– Это точно, все хотят есть.

– Михаил Александрович, ходят такие слухи, будто бы Ульянов, отыграв всех великих на сцене и в кино, от Цезаря до

Ленина и Жукова, и слишком уж войдя в роль, и в жизни трансформировался в этакого железного человека с командирскими манерами и безоговорочно командует всеми – от собственной жены до народных артистов. Но, я думаю, что это не так?

– Конечно, не так. Чепуха какая-то, бред. Командовать я могу только на сцене, в образе героя. Я играл Наполеона, но пока второго-то Наполеона, слава богу, не появлялось. Я играл Стеньку Разина, но вот он я, живой пока, не казненный. Я играл Юлия Цезаря, но я не стал таким умным, как Юлий Цезарь. Я играл Ленина, Кирова, Сталина, ну и что…

– Между прочим, о маршале Жукове. Скажите, вы лично общались с маршалом?

– Знаете, так вышло, и очень об этом сожалею, нет, не общался. Три договоренности о встрече с Георгием Константиновичем были по роковому стечению обстоятельств, причем и с его, и с моей стороны, не использованы. Еще раз говорю, очень об этом скорблю.

– Памятник Жукову работы Клыкова у Кремля вам по душе?

– Нет, не нравится категорически. Ужасный памятник.

Какие-то прямые лошадиные ноги, неестественная посадка седока, непропорциональная фигура. Да и стоит-то он не на месте, ему место напрямки от Минина и Пожарского, спасителей Отечества. Самый лучший памятник маршалу стоит в деревне Стрелковка, на родине героя.

– Скажите, спасла бы сегодня Отечество «железная рука» диктатора? Наподобие вашего героя с волевым подбородком.

(Молчит…)

– Н-нет… Я не за «железную руку». Потому что всякая «железная рука» подавляет все остальное. Примеров в истории много.

– В генерале Лебеде есть что-то от Жукова?

– Нет. Лебедь очень экстравагантная фигура. Жуков таким не был.

– В театры-то ходите, ну кроме своего родного, в который вы ходите уже 50 лет?

– Недавно смотрел обе постановки «Гамлета». Петера Штайна на сцене Театра Советской армии – очень скучный, какой-то никакой, пресный. А сатириконовский, Стуруа, спектакль, конечно, мощный, видно, сделан он крупнейшим нашим режиссером, но Костя Райкин в него не вписался. У него вышел такой разухабистый Гамлет, что я ему не поверил. Высоцкий тоже не был аристократом, но в нем кипела, бушевала мучительная струна, он играл неистово, отчаянно. А Костина злоба переходит

в неприятие образа, и мне видится не Гамлет, а уркаган.

Декабрь 1998

Михаил Александрович Ульянов скончался 26 марта 2007 года в Москве. Похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

Глава 15. Александр Бовин: «Журналисты на смогли переварить свободу…»

Когда я нашел 640-ю комнату в здании газеты «Известия», меня немного смутило, что дверь, на которой красовалась табличка «Бовин А. Е.», была распахнута настежь. Хозяин сидел за столом и, как ни в чем не бывало, работал над бумагами. Я же не мог оставить незамеченным почти эпатирующий пассаж. Так потекло интервью с одним из самых уважаемых и солидных советско-российских журналистов, недавним послом Российской Федерации в Государстве Израиль, колоритной, харизматической личностью Александром Евгеньевичем Бовиным.

– Вы живете по девизу Окуджавы: «Дверям закрытым – грош цена, замку цена – копейка…». Не так ли, Александр Евгеньевич? Не боитесь, подслушают, подсмотрят?..

– Меня это не волнует. У меня ни от кого нет секретов. Даже от вас.

А насчет «подслушают», так это делали не под дверью. Когда-то я говорил подслушивающим ребятам: если начну писать мемуары, – пожалуйста, дайте мне пленки, удобнее будет вспоминать. Обещали. Но где они теперь? А с нынешними мастерами у меня контактов нет. Пусть слушают на здоровье.

– А в Тель-Авиве?

– Думаю, что не слушали. Опасно. Можно нарваться на скандал. И потом – что, собственно, слушать? О серьезных делах мы имели возможность говорить, не боясь подслушивания, а мелочи посольской жизни – кому это интересно?

– Ну, а все-таки, если вернуться в советские времена, вы боялись, что сказанное вами может попасть не в те уши и послужить против вас? Это вас ограничивало, сковывало?

– Как-то не думалось об этом. Страх? Что ж, приходилось рассчитывать соотношение чувства страха и чувства собственного достоинства. На выходе суммарный результат – твое поведение. К чему оно ближе, к порядочности или к трусости? Жизнь достаточно сложна, иногда приходилось наступать на горло собственной песне.

– Вы ощущали какую-либо опасность от террористов в Израиле?

– Нет. Мне хотели приставить охрану, не нашу, а израильскую, я отказался. В отличие от охраняемых

американского и египетского послов, я считал, что на меня никто покушаться не будет. Ездил по всему Израилю. Один. Только вот трость у меня была, которой пользовался, пока не заменил свои коленки на железные[16]…

Иногда пижонил. Помню, сидел в какой-то кофейне Тель-Авива, вдруг сирена, оцепили квартал и стали всех оттуда эвакуировать. Бомба вроде заложена где-то. Подходит полицейский, предлагает уйти. Отвечаю: «Русского посла никакая бомба не возьмет». Он позвонил куда-то по телефону и оставил меня в покое. Так я и сидел один в пустом кафе… Зря, конечно, учинил я эту браваду. Случись что, и полицию бы подвел, и жена бы огорчилась.

– Вы прямо-таки фаталист.

– Может быть, самую малость. Чему быть – того не миновать. Вот и сейчас живу спокойно. Не занимаюсь серьезным бизнесом. Значит, никому не перехожу дорогу, нет повода меня убивать.

– А серия ваших публикаций о чае? Разве это не может задеть заинтересованных лиц?

– Наверное, задевает. Лоббировала повышение пошлин на чай «Альфа Групп». Там командует бывший министр внешнеэкономических связей Петр Авен. Но я как-то не верю, что он наймет киллера, чтобы меня прихлопнули. Чай все же не водка.

– Во всяком случае, ваш коллега Корольков, расследовавший дела рыбной мафии, жив и здоров.

– Корольков находится в более опасном положении, потому что взялся за структуры гораздо менее интеллигентные, чем «Альфа».

– Вы в нашей журналистике чуть ли не со времен Адама. Вопрос: журналистика при Брежневе и сейчас?

– Огромная разница. Нынче существует неисчислимое количество изданий – для кого хочешь: для гомосексуалистов, для банкиров, для политиков. И писать можно, что хочешь. Это прекрасно. Беда в том, что журналисты не смогли переварить свободу, обрушившуюся на них, и используют ее во вред обществу. А, в конце концов, и во вред самим себе. Теперь журналистов можно купить, их можно заставить говорить гадости, выливать компроматы, они работают на рейтинг. Поток вранья, слухов, сплетен, пошлятины всякой захлестывает нас.

В те времена цензура была всесильна. Но, как бы ни было трудно, меня никто не мог заставить написать неправду. Да, меня могли заставить не сказать правду, то, что я написал, могли не напечатать, но никто не мог сказать мне: напиши вот так.

Пример. Однажды пригласил меня Андропов и попросил написать рецензию (ругательную, конечно) на «Архипелаг ГУЛАГ». Подвал[17] в «Правду». Хорошо, – сказал я, – но при одном условии: три четверти статьи я посвящу критике Сталина и ГУЛАГа, а одну четверть – критике Солженицына. – «Это я сам не могу решить, – ответил Ю. В. – Позвоню через пару дней». Позвонил. «Наоборот, – говорит. – Одну четверть крой Сталина, а три четверти – Солженицына». На том разговор и закончился.

Пытались сопротивляться, как видите.

– По-видимому, за эти попытки сопротивления вас и попросили из ЦК?

– Там другое дело. Я дал довольно жесткую характеристику Брежневу и его окружению. Она попала на стол начальству. Со мной вполне прилично поступили – перевели работать политическим обозревателем «Известий». Как ни странно, с повышением в зарплате. Вместо 450 стал получать 500. Да и сама работа была интереснее, живее. Так что нет худа без добра.

– Вы хорошо знали цековские кадры, кремлевскую кухню? Кто был там самым порядочным человеком?

– В аппарате было много порядочных людей. На самом же верху сама «порядочность» приобретает какие-то иные грани, какие-то допуски, что ли. Я бы выделил Андропова, Пономарева, Громыко – в смысле порядочности. Трудно согласиться со многим, что делал Андропов в качестве шефа КГБ. Но он не был циником, «охранял» социализм по убеждению. Охранял то, во что верил. По сравнению с теми, кого я знал, он был более начитан, более умен, более интеллигентен.

– Вы были его человеком?

– Я вообще ничей человек. Но если вы хотите видеть меня чьим-то человеком, я, конечно, человек Андропова. Точнее: я бывший человек бывшего Андропова.

– Скажите, а психушки на его совести?

– Многое на его совести. А психушки были и до него. Но были и при нем. Случай из жизни. Брата Роя Медведева – Жореса – в один «прекрасный» день посадили в психушку. Ко мне обратились с просьбой помочь, и я пошел к Брежневу. Он меня принял. На столе у него стоял телефон с громкой связью. «Нажимает» Андропова и говорит: «Юра, что там у тебя с этим Медведевым?» А я сижу, слушаю. Андропов: «Да это мои… перестарались. Но я уже дал команду, чтобы выпустили». Брежнев: «Ну и хорошо, а то тут шумят все». Шума стали бояться. Значит, приближались новые времена. Все относительно. Что «лучше» – Колыма или Горький[18]? Высылка за границу или в Сибирь? Андропов предпочитал более «мягкие», «спокойные» варианты.

Кстати, именно Андропов стал потихоньку выпускать евреев. За что его ругали на Политбюро.

Но с другой стороны, пресловутое Пятое управление, возглавляемое Бобковым. Для работы среди интеллигенции. Говорят, придумал Андропов. В целом же считаю, что из всех возможных тогда зол Андропов был наименьшим. Был бы на его месте другой «охранитель» – было бы хуже.

– А как вы считаете, сегодня психушки могут повториться?

– По-моему, нет. Точка возврата пройдена. Если, конечно, не будет варианта «Пиночета». Впрочем, тогда и психушки не понадобятся. Приходит генерал, окружают, скажем, «Известия», всех журналистов на стадион, в Лужники, и привет…

– Генерал Лебедь?

– Генеральская фауна не исчерпывается пернатыми. И потом Лебедь пока предпочитает конституционные пути.

– Вопрос к политическому обозревателю Александру Бовину: кого вы видите президентом России в 2000 году?

– Я бы предпочел сорокалетнего. Но боюсь, что Россия еще не будет готова к такому выбору. Из кандидатов постарше я бы голосовал за Лужкова. Живой, умный, деловой человек. А если говорить в более широком плане, я убежден, что только люди, которым сейчас столько лет, сколько Кириенко, вытащат Россию из того болота, в которое мы себя сами загнали. Они, а не Ельцин, не Черномырдин и не люди их круга. И не Лебедь.

– Скажите, кто готовит по утрам кофе послам России? В частности послу в Израиле?

– Послу положен личный повар. Но, скажем, я был единственным послом, который отказался от личного повара. У меня жена хорошо готовит, да и я сам тоже. И нам как-то неловко, когда посторонний человек постоянно крутится в доме. Завтрак я готовил себе сам. Обеды и ужины – дело жены. И два раза в неделю приезжала жена шофера – помочь по хозяйству. Так и жили. А когда прием – всегда можно найти повара.

– Самое важное решение, которое вы приняли за шесть лет работы послом?

– Оборудовать в подвале посольства сауну и спортзал.

– Вы принимали участие в истории с запретом на въезд Иосифа Кобзона в Израиль?

– Принимал, конечно. Его взяли в аэропорту и посадили в кутузку. Утром, когда я как раз пил собственноручный кофе, мне звонят, так и так – Кобзон задержан. С женой. Я позвонил советнику-посланнику и попросил его поехать в аэропорт, зайти самому в кутузку и не выходить оттуда, пока не выпустят Кобзона. Потом позвонил Эдуарду Кузнецову – главному

редактору газеты «Вести», моему приятелю, у которого огромные связи в Тель-Авиве. Попросил задействовать свои каналы. А потом уже позвонил в канцелярию президента. Через пару часов Кобзона выпустили. Власти просто хамили, выслуживались перед Америкой, которая незадолго перед этим не впустила Кобзона.

– Вы, наверное, встречались со всеми, кто приезжал из России?

– Практически со всеми. Ведь приезжали, как правило, умные, интересные люди. Собирались у меня на вилле и толковали «за жизнь». Нонна Мордюкова отдыхала на травке. Черномырдин ел пельмени. Егор Яковлев нырял в бассейн. Горбачев угощался соленым арбузом. Ребят из «Современника» кормил здоровым осетром, выращенным в одном из кибуцев. Миша Козаков прекрасно читал Бродского. И далее в том же духе.

– Скажите, Израиль и палестинцы когда-нибудь сойдутся в мирном решении или нет?

– Лет через 50, думаю. Выход из тупика найдут другие поколения при других руководителях.

– Но убиенного Рабина действительно нация жалела?

– Да, действительно жалела, но на следующих выборах проголосовала за Нетаньяху.

– Рабина можно назвать великим деятелем?

– Решиться на то, чтобы пожать руку Арафату, начать переговоры с «террористами», отдать Арафату сектор Газа – это в Израиле мог сделать только великий человек. За что его и убили. Кстати, вспомните смерть Садата – вот вам судьба двух великих людей, которые пытались что-то сделать для примирения арабов и евреев. Они опередили свое время, и их убили.

– Кажется, Талейран сказал, что политика – это грязное дело.

– Пожалуй, точнее – хотя и менее афористично – сказать так: политикой часто занимаются грязные люди. Они пачкают политику. Это же относится и к экономике, и к культуре. Но к политике (власти) грязь пристает легче и чаще.

Юрий Владимирович Андропов как-то написал мне такие стихи:

Сказал какой-то лиходей,
Что будто портит власть людей.
Но забывают, вот напасть,
Что чаще люди портят власть.

– Скажите, по-вашему, Андрей Козырев был хорошим дипломатом?

– По-моему, не очень. Он был интеллигентным, образованным человеком. Но как личность, как политическая

фигура он не дорос до Министерства иностранных дел России. Он, по-моему, не ощущал за собой Россию, великую страну с великой и трагической судьбой. Было несколько случаев, когда он ставил и себя, и меня в крайне неловкое положение.

У Примакова лучше получается. В чем-то я с ним не соглашаюсь, но вот министерский мундир ему явно впору.

– В таком случае на Громыко два мундира можно надеть?

– Надевайте хоть три. Однако, на мой взгляд, Громыко в точном смысле этого слова не был дипломатом. Он – четкий исполнитель партийных директив. За ним стояла огромная сила. А когда кулаки большие, как-то не хочется лавировать, идти на компромиссы, договариваться. Легче сказать «нет». Его так и звали – «мистер нет». Он был скорее функцией, а не личностью. Или личностью, отождествлявшей себя с функцией. Но он ценил настоящих дипломатов и поддерживал их. Не боялся конкуренции. Разве что Добрынина в последнее время…

– Сколько раз вы посещали Гроб Господень?

– Один. Для меня Гроб Господень – из области исторической мифологии. Интересно, но не свято.

– Вы верите в Христа?

– Нет, конечно. Для меня это не вопрос идеологии, а вопрос культуры. Штудировал историю религий, историю христианства. И понял, что слишком много богов, созданных людьми, как раз и говорит о том, что Бога нет. Во всяком случае мне эта гипотеза не нужна, она не поможет мне жить, она ничего не объясняет.

И тем не менее Иерусалим для меня – священный город. Такой же, как Вавилон, Мемфис, Афины, Рим, священный своей культурной значимостью, своей ролью в истории мировой культуры.

А мой самый любимый город – Нью-Йорк. Я – городской житель. Нью-Йорк – воплощение урбанизма. В «каменных джунглях» я как рыба в воде. Если Нью-Йорк – это город жизни, город настоящего, то Иерусалим – город истории, легенды, мифа. Это – сгусток иудео-христианской цивилизации, из которой мы все вышли. Здесь и воздух кажется каким-то особенным, насыщенным, тревожащим…

– С паломниками общались?

– Общался. Паломничество ныне – коммерческое дело, на этом крупно зарабатывают. Половина паломников вообще не имеет никакого отношения к религии, к Богу, они приезжают как туристы. И то хорошо.

– Почему вы вернулись в старые «Известия»?

– Здесь отработал почти 20 лет, здесь мой кабинет, своими локтями я вытирал этот стол, даже номера телефонов старые. Я

вернулся сюда, потому что здесь еще есть люди, с которыми я когда-то работал. А цензуру «ОНЭКСИМбанка», которой меня пугали, я пока не ощущаю. Хотя какие-то тревожные признаки начинают проскальзывать.

– Александр Евгеньевич, не надоело находиться в коридорах власти, в политике?

– Я уже давно далек от коридоров власти. И политикой не занимаюсь, а только пишу или говорю о ней. Это – моя профессия. Возможно, если бы была приличная пенсия, я бы ушел на вольные хлеба, стал бы писать книжки, чаще ходить в театры, ездить туда, где не удалось побывать. Но пенсия моя – 380 рублей. Так что надо вкалывать.

– А посольская зарплата не накоплена на старость?

– Кое-что есть. Но русских послов не балуют. Моя зарплата была самая низкая из всех посольских зарплат в Тель-Авиве. 1580 долларов. Потом, правда, немного прибавили.

– Назначение в Израиль было для вас неожиданным? Как вы вообще относитесь к евреям?

– В принципе как к русским или чукчам. То есть – хорошо. Но надо признать, что удельный вес умных, талантливых людей среди евреев больше, чем среди американцев, немцев или даже русских. Отсюда, кстати, и антисемитизм – зависть работает.

– Кто вы по национальности?

– Кем я могу быть, если дедушка был священником в Шацке Рязанской губернии. Там все корни мои с маминой и с папиной стороны. А в Шацке, говорят, никогда не жил ни один еврей. Так что я русский. Был бы еврей, может, умнее был бы.

– Как вы считаете, кто самый великий еврей на земле?

– Трудно выбрать. Много великих. По влиянию на ход истории я бы выделил Иисуса Христа, Карла Маркса, Альберта Эйнштейна, Норберта Винера.

– Вы были еще недавно обожаемым всеми толстяком, раскройте секрет, как вы сумели похудеть?

– Очень просто, никаких секретов. Резко сократил потребление спиртного. Поэтому пища перестала принимать форму закуски, стала значительно менее калорийной. Меньше есть и больше двигаться – и все дела.

– Значит, полнота у вас приобретенная?

– Когда-то я был спортсменом, гимнастом, а потом стал начальником, сидячая работа. Плюс пиво любил, даже «Жигулевское». Стал получше зарабатывать – на шампанское потянуло.

– Я помню вас еще молодым в пивном баре Дома журналистов.

– Вот, вот. Я был там постоянным посетителем. В те давние

годы там подавали знаменитый закус – бутерброды с борщом. И вот под пиво толковали за жизнь, ругали начальство, обсуждали политические проблемы – приятно вспомнить.

– Алексей Иванович Аджубей присутствует в вашей биографии?

– Когда Алексей Иванович захаживал в ресторан Домжур (даже один закуток назывался «аджубеевка»), я еще там редко появлялся. Мы не были знакомы. Познакомились в мае 1972 года. Так было дело. Я напечатал в «Известиях» свою первую статью. О визите в СССР маршала Тито. Через несколько дней вдруг звонок. Аджубей звонит (он тогда работал в журнале «Советский Союз»). «Хочу, – говорит, – с вами встретиться». – «С удовольствием». – «Тогда так, через 15 минут встречаемся и едем обедать в ЦДРИ». Я быстренько выхожу на условленное место, на каком-то занюханном «Москвиче» подъезжает Аджубей, и мы едем в ЦДРИ. Сели за столик. Взяли приличную дозу. О том о сем, а я думаю: зачем ему понадобился? «Знаете, что я хочу вам сказать: так писать нельзя – вас уволят буквально через месяц». – «Почему?» – «Вы что, не понимаете? Так, как пишете вы, у нас писать нельзя!» – «По-другому я не умею. Меня так научили в ЦК». – «Вы же писали для начальства, а сейчас вы пишете в газету». Долго говорили. Не стал я писать по-другому. И выжил как-то. С Аджубеем потом встречались не раз. Трудно ему было. Но держался.

– Положа руку на сердце, вы ощущаете себя корифеем журналистики?

– Пустое все это. Как-то «Независимая газета» обозвала меня патриархом. Я обиделся: ну, не такой уж я старый.

– Вы, кстати, с какого года?

– С 30-го всего лишь. Сейчас у меня пятая молодость пошла. Не последняя, надеюсь…

2000

Один из самых известных «шестидесятников» Александр Бовин скончался в 2004 году в Москве на 74-м году жизни.

Журналисты одной из газет, откликнувшись на смерть своего коллеги, привели такую легенду. На дружеской вечеринке в начале 70-х А. Бовина спросили, читал ли он последнюю речь Леонида Ильича. «Что значит „читал“? Я ее писал», – ответил Александр Бовин, который работал тогда руководителем группы консультантов в аппарате ЦК КПСС, а именно группы спичрайтеров высшего руководства. На следующий день он начал новую карьеру – политобозревателя газеты «Известий».

Глава 16. Владимир Крючков: «Я знал все секреты государства»

ДОСЬЕ:

Крючков Владимир Александрович – родился в 1924 году в Царицыне (позже город переименовался в Сталинград, ныне – Волгоград). Образование: Всесоюзный заочный юридический институт (1949), Высшая дипломатическая школа МИД СССР (1954). Карьера: 1947–1951 – работа в прокуратурах города Сталинграда; 1954–1955 – третий секретарь Четвертого Европейского отдела МИД СССР; 1955–1959 – третий секретарь посольства СССР в Венгрии; 1959–1967 – референт, заведующий сектором Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран, помощник секретаря ЦК КПСС; 1967–1991 – на руководящих должностях в КГБ СССР, с 1988 – председатель КГБ СССР. В августе 1991 года был арестован как член ГКЧП, 17 месяцев провел в тюрьме «Матросская тишина», освобожден по амнистии. Награды: два ордена Ленина, орден Красного Знамени, орден Октябрьской революции, два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», советские и зарубежные медали. Скончался 23 ноября 2007 года в Москве.

«Ельцин – разрушитель, бездумный политик»

В наши дни журналисту доступен практически любой государственный деятель. Тем не менее, Владимира Крючкова я долго достать не мог, но помог случай. И вот я сижу в его рабочем кабинете (руководителя некой аналитической службы в районе Нового Арбата) и удовлетворяю свое репортерское честолюбие беседой с недавно одним из самых могущественных людей на Земле.

– Владимир Александрович, я давно хотел взять у вас интервью, но все не получалось. И вот случайная встреча в поликлинике помогла познакомиться с вами. Вы редко общаетесь с журналистами, и я благодарен, что согласились на разговор со мной. Как ваше здоровье? Понимаю, годы идут.

– Совершенно верно, годы идут. Отсюда и проблемы со здоровьем. Сказываются отдельные моменты моей жизни, ну и 17 месяцев в тюрьме, конечно, не мед. Условия там не из приятных.

– Вы больше страдали физически или морально?

– Физическая угнетенность, бесспорно, сказывалась – пребывание в четырех стенах, кратковременные прогулки… Но меня сильно мучили воспоминания, размышления об августе 91-го. Все думал, можно ли было вести себя иначе в той ситуации. Конечно, я понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, но все же… В тюрьме была жажда читать, читать и читать. В те месяцы я познакомился с десятками изданий, о которых раньше даже не слышал. Сокамерники всячески помогали получать прессу и другие материалы, за что я и сегодня им благодарен.

– Как кормили?

– В жизни я разного повидал, и еда была разная, от хорошей пищи до скудных военных пайков. В «Матросской тишине» прожить можно. Помимо всего, каждый из нас получал продукты из дома, что скрашивало жизнь. И удивительно, кроме близких пытались что-то передать совершенно посторонние люди, но я взял за правило не принимать подарков, отправлял их обратно. Помню, после выхода на свободу, на одном митинге ко мне подошла женщина и сказала, что посылала мне продуктовую посылку. «Спасибо, – говорю ей, – я был очень тронут». А она в ответ: «Но я получила ее обратно. Почему?»

– Боялись отравления, провокации?

– Нет, не боялся. Просто не считал нужным обременять людей расходами, жизнь тогда была нелегкой, но я, конечно же, всем благодарен и от души сказал той женщине теплые слова.

– А какими словами, сидя там, вы поминали Ельцина?

– Я к нему всегда относился без уважения, и сейчас это говорю. Не потому, что он уже не у власти. Я и раньше публично это заявлял, в том числе и в открытом письме на его имя из тюрьмы. Не хочу говорить о личной антипатии к Ельцину, а вот то, что он сделал со страной, с людьми, я как гражданин своей страны простить ему не могу. Считаю, что он совершил целую серию деяний, за которые должен еще ответить.

– Каким же образом? Ведь у первого президента России пожизненная неприкосновенность?

– Каким образом – это другой вопрос. Это зависит от степени общественного сознания, от тех возможных перемен, которые могут произойти, от того, сможет ли новое руководство внести радикальные изменения в социальный курс. Не хочу перечислять губительных действий Ельцина – от развала Союза до лишения нас международного авторитета. Скажем, если Хрущев был малообразованным, малокультурным человеком, но все же большим политиком, то Ельцин – разрушитель, бездумный политик. Он остался на уровне провинциального чиновника. Его ждет самый страшный суд – суд истории. Лицемерие, которое было присуще ему, не красит ни одного политика. На высоких постах он был 30 лет и все это время лицемерил.

– Владимир Александрович, скажите, не кажется ли вам, что с приходом к власти Владимира Путина, человека секретных служб, страна медленно накрывается неким колпаком, что из Кремля все чаще исходят импульсы прошлого? Я слышал, что на предприятиях, как когда-то, вводится система слежки и учета инакомыслящих.

– В вашем вопросе – смесь обывательского вымысла и большой политики. Слава богу, что после Ельцина пришла нормальная власть. Смотришь на Владимира Владимировича и видишь человека, который говорит на понятном тебе языке. С ним можно соглашаться или нет, но помыслы его ясны. Он легко и искренне общается с людьми, ведет здоровый образ жизни и здраво мыслит, много работает, переживает за все и берет на себя ответственность. Люди видят, что человек он не мстительный и, может быть, потому вряд ли пойдет на какие-либо меры в отношении тех, кто сознательно разваливал страну. В отличие от Ельцина Путин обещает мало, но, судя по всему, человек дела. Он серьезно занялся межгосударственными отношениями. Тут накопилась целая прорва проблем, и он ринулся в них, словно в

омут, для того, чтобы подправить положение дел и восстановить авторитет России.

– Вы достигли очень высокой чиновничьей должности. Скажите, быть руководителем органов безопасности – это стиль жизни?

– Должность руководителя органов безопасности – скорее не чиновничья, а государственная, причем очень ответственная. За советский период эту должность занимали шестнадцать человек. Кстати, при Ельцине только руководителей ФСБ (называлась она по-разному) сменилось десять человек. Самая настоящая чехарда! Работа председателя КГБ – это не стиль жизни, а работа человека, который, в общем-то, лишен личной жизни. И я тоже был отрешен буквально от всего, так сказать, земного. На службе был занят по 16–18 часов в сутки. Вся моя жизнь заключалась в работе. Я не уделял должного внимания семье и, конечно, она от этого страдала, но терпела, относилась с пониманием.

– Верно ли, что председатель КГБ – это единственный человек в стране, который допускался ко всем секретам государства? Другими словами, вы знали многие вещи, которые не знал, наверное, никто. Не так ли?

– Да, это так. Многие секреты не знали даже мои заместители. Правда, каждый из них о чем-то знал больше меня, но я при желании мог знать все. Этот объем информации поначалу меня ошарашил, но потом я освоился. Здесь важно умело распорядиться информацией.

– Можете привести пример той информации, которую знали только вы?

– Могу. Скажем, какие-то моменты жизни крупных государственных деятелей зарубежных стран, ну и наших, конечно. Я знал или мог при желании узнать имена наших самых лучших источников информации на Западе. А это самое ценное, ведь иногда один человек может колоссально помочь или предотвратить огромный вред. Один агент может принести нашему государству доход в десятки миллионов долларов, другой еще больше, а третий может спасти мир от войны. Так что знание и сохранение агентуры – это, пожалуй, самое святое для нас.

– А какие фигуры конкретно вас интересовали? Скажем, наверняка Чаушеску? Ведь он своевольничал, фрондировал, старался быть независимым от соцлагеря.

– За руководителями социалистических стран мы не следили, но очень часто о них приходила информация из наших источников в капиталистических государствах. Вот они-то (кап. государства) следили зорко, и очень часто эта информация носила документальный, конкретный и весьма неприятный

характер. В этой информации нередко содержались резко критические суждения в адрес Горбачева, и я порой не знал, как с такими материалами поступить.

– Как вы реагировали на самоубийство заместителя председателя КГБ Цвигуна? Это, наверное, для вас было шоком?

– Трагедия случилась в январе 1982 года и породила много слухов и домыслов. Всю эту историю я знаю досконально: Цвигун заболел. У него был рак. Пошли метастазы, которые затронули и головной мозг. Он понимал, что погибает, и решил свести счеты с жизнью. В роковой день Цвигун приехал из больницы в дачный поселок, где проживал. Он очень любил семью, не хотел быть ей в тягость и решился на этот трагический шаг.

Он подозвал к себе водителя и спросил, имеет ли тот при себе оружие. Водитель ответил утвердительно. Поинтересовавшись, в каком состоянии находится оружие, Цвигун взял в руки пистолет, похвалил водителя за бережное к нему отношение и, как бы разглядывая его, тут же выстрелил в себя. Через 35 минут на место происшествия приехал Андропов с одним из своих заместителей. Кстати, Юрий Владимирович позвонил и мне, поскольку знал о моих хороших отношениях с погибшим. В газетах дали краткое сообщение о смерти Цвигуна без деталей, поскольку было решено не говорить о том, что конкретно случилось.

– Самоубийство Цвигуна тогда связывали с бриллиантами Галины Брежневой.

– Связывали, но к этим бриллиантам Цвигун никакого отношения не имел.

– Правда ли, что смерть Екатерины Фурцевой была насильственной?

– В этой истории мне разбираться не приходилось. Все знавшие ее товарищи утверждали, что она покончила жизнь самоубийством в ванной комнате собственной квартиры.

– Хочу спросить еще об одной громкой смерти в вашу бытность работы в органах. Ходили слухи, что ваше ведомство очень доверяло писателю Юлиану Семенову и открыло ему слишком много секретов. А потом опомнилось и будто бы постаралось, чтобы он утратил работоспособность… Могло ли такое быть?

– Это из области фантастики, о которой нельзя говорить всерьез. Юлиан Семенов был весьма плодовитым литератором, работоспособность у него была невероятная, романы пеклись, как блины. Умер он естественной смертью.

– Припомните случай, когда с вашей подачи, благодаря использованию уникальной информации, было принято важное

государственное решение?

– С нашей подачи было принято постановление о мерах по борьбе с организованной преступностью и наркоманией. Помню, что в 1989-м было изъято четыре тонны наркотиков, а общая стоимость наркооборота составляла тогда 8—12 миллиардов рублей. Сегодня счет пошел на десятки, а возможно, и на сотни миллиардов. Положение ужасное!

– Вы не раскаиваетесь, что участвовали в ГКЧП?

– Я сожалею о том, что не удалось одержать победу. Ведь развал Союза имел и имеет страшные последствия. Весь мир интегрируется, объединяется, а мы разбредаемся, но главное – хоть бы жили лучше! А живем все хуже и хуже, и думается, еще много лет будем выравнивать опустившийся донельзя жизненный уровень и вообще уровень развития. Развалить что-то в жизни, сломать – легко, созидать, приумножать – труднее.

– Вы можете ответить на вопрос, который и нынче продолжает многих волновать: знал ли Михаил Горбачев о готовящемся заговоре?

– Ни о каком заговоре речь вести нельзя. Горбачев всегда вел себя непоследовательно, более того, как-то странно. Когда мы дискутировали с ним в те предавгустовские времена, он говорил, что партия для него – все, что он готов бросить президентский пост, да и любой государственный пост, но чтобы уйти из партии – ни за что! Потом он говорил, что Союз был, есть и будет, разве в силах кто-нибудь его развалить? «Прибалты? А куда они без нас денутся? – театрально вопрошал Горбачев. – Да мы их и не пустим никуда». Когда мы собирались группой и шли к нему на разговор, в нас во всех пылали советские патриотические чувства. И мы не понимали позицию Горбачева как генсека и президента. Но вот в прошлом году Горбачев, выступая в Турции с планом лекций на семинаре, заявил, что якобы он еще чуть ли не до перестройки поставил себе задачу покончить с коммунизмом, с социалистическим строем, что это было целью его жизни. Выходит, находясь на высших государственных постах, он лицемерил?

– Но все-таки, Владимир Александрович, многие в России и в мире, и я в том числе, считают Горбачева великим деятелем, резко развернувшим колесо истории.

– Трагические результаты его творений стали очевидными для всех, и говорить о величии Горбачева – смешно. Да, он «великий» в том смысле, что столько напортачил, что будущие историки и через многие годы будут поражаться тому, как было допущено расчленение могучей державы на ряд небольших, нежизнеспособных государств. Это событие войдет в историю как

величайшее геростратовское явление.

– Когда для вас стал ясен Горбачев? И каковы были ваши действия?

– Знаете, первые встречи с Горбачевым в 1985 году оставляли у людей довольно благоприятное впечатление. Он казался смелым, последовательным. Раскусить его удалось позже. Я, например, распознал его в 1990–1991 годах и понял, что Горбачев – «двуликий Янус». Кстати, к нам в Комитет госбезопасности приходили письма от весьма серьезных людей, которые давали ему резко негативную психическую, психологическую, морально-нравственную оценку. Но что можно было сделать в той ситуации? Люди, которые находились рядом с ним наверху, были бессильны что-либо изменить или радикальным образом подправить. Существовавшие порядки не позволяли не только решать такие вопросы, но даже давать ход письмам, поскольку они касались высшего должностного лица в советском государстве. Это делать строго запрещалось.

– Сменим тему. Были ли на вас покушения? Сколько машин вас сопровождало в поездках по Москве?

– Покушений не было. Пользовался я одной машиной, при мне постоянно был один охранник. Я спокойно ходил по городу, ничего не опасаясь. Это сейчас «олигархов» сопровождают несколько машин, иногда не с одним десятком охранников. Это же уму непостижимо!

– Выходит, за свою жизнь вы не боялись?

– Оперативная обстановка была такова, что никаких эксцессов не происходило. Охрана должностных лиц тогда обходилась государству совсем недорого. Сегодня же каждый день стреляют, убивают, и мне жаль честных бизнесменов, которым приходится работать и жить в такой обстановке.

– Недавно разоблачили нашего «крота» в американской спецслужбе. Он работал на нас почти 20 лет. Вам знакомо это имя – Хансен?

– Не припомню. А вот за провал Эймса я очень переживаю. Когда в 1991 году меня арестовали, я понимал, что опасность провала Эймса вполне реальна и кое-что успел предпринять для безопасности нашего ценнейшего источника. Я думал над тем, как уберечь этого человека.

– Говорят, что он был самым высокооплачиваемым источником КГБ.

– Я не стал бы употреблять эпитеты «самый-самый». Эймс был целой эпохой в государственной безопасности нашей страны.

– На посту председателя КГБ вы были три года. Самый страшный прокол в работе органов? Провал Эймса? Калугин?

– Да, факты предательства угнетали. В том числе и предательство таких, как Калугин.

– Когда в Москве сносили памятник Дзержинскому, где были вы?

– В Крыму.

– Вам позвонили?

– Да, обо всем сообщили по телефону.

– Но вы ничего не могли сделать?

– Абсолютно. Все нарастало, как снежный ком.

– Конечно, вы за восстановление памятника на прежнее место?

– Да.

– Вы снова в партии?

– Я из нее не выходил. И билет дома, и взносы плачу.

– С Зюгановым общаетесь? Он тянет, по-вашему, на вождя?

– Эпоха вождей в том смысле, как мы ее понимаем, прошла.

– Вам грозило обвинение по 64-й статье – измена Родине. Она, надо думать, снята?

– Обвинение по статье об измене Родине, по сути, отпало само по себе по причине абсурдности. Конечно, я переживал, как и все мои товарищи, но при этом понимал всю нелепость затеи. Мы защищали Родину, пытались спасти народ. Кстати, квалификация обвинений, которые нам предъявлялись по ходу следствия, менялась трижды. И порой было жалко прокурорских работников, которые, выполняя заказ, мучились над тем, как сделать из нас «изменников Родины».

– Скажите, по каким признакам и как вербовали в КГБ агентов? Вот, например, ко мне по этому поводу, слава богу, ни разу не обращались… Не подходил, не внушал доверия?

– Значит, в определенное время вы не представляли для нас интереса.

– Последний вопрос, Владимир Александрович. Илья Эренбург как-то сказал: «Тяжело тому, кто все помнит». Что вас сегодня гнетет как простого смертного человека?

– Сломленная и обрубленная Отчизна, неспособная защитить свои государственные интересы, национальную безопасность.

Май *2001*

Глава 17. Никита Богословский: «Россия украла гимн У другой страны»

Тягаться с Никитой Богословским по части саркастически-ернического восприятия жизни невозможно. Остроумец он был гениальный, и в преклонном возрасте пребывал в отличной «шутниковой» форме. Я ощутил это прямо с порога, когда, разувшись, невинно спросил хозяина, нельзя ли посетить (извините!) туалет. И получил в ответ отличный дуплет в угол:

– Почему же нельзя? Дом вполне приличный, сталинской архитектуры, да и мог ли маршал Ворошилов выдать мне ордер на квартиру без отхожего места?!

– А при чем здесь сей полководец Гражданской войны, ведь вы и в армии-то, наверное, не служили, Никита Владимирович?

– А ему нравились мои военные песни. Вот он и наградил меня этой квартирой без всяких с моей стороны ходатайств.

– Любопытно, а в каких хоромах вы жили до этой высотки? Ведь вы коренной москвич?

– Нет. Родился я в Петербурге, и, что интересно, в доме, где жил Римский-Корсаков. В наводнение 24-го года наша семья переехала на Казанскую улицу, и мы стали соседями Александра Глазунова, впоследствии моего музыкального педагога. Переехав в Москву и поступив в консерваторию, я поселился в доме, где жил знаменитый дирижер Большого театра Вячеслав Иванович Сук. После этого мне дали квартиру в проезде Художественного театра, а подо мной проживал ни много ни мало… Сергей Сергеевич Прокофьев. Причем было так – он, жаворонок, по утрам любил играть, а я, как и все нормальные граждане, не прочь был утречком подольше поваляться. Но когда часиков в 11–12 я садился за рояль, он стучал мне шваброй в потолок. Такое хулиганство мэтра меня всегда поражало. Ну вот, и только в 40-х годах я поселился в этом доме, где, кстати, жили Мурадели, Шебалин, Новиков и другие известнейшие советские музыканты.

– Я бы добавил, не только музыканты.

– Конечно, это же не композиторская площадка. Васька Аксенов тут жил до отъезда в Америку, Евтушенко до развода со своей женой Галей, Александр Фадеев, актеры разные, скажем, моя подружка Фаина Раневская в соседнем подъезде обитала.

– Никита Владимирович, прямо завидно, что вы с такими знаменитостями запросто общались, ведь все они были гордостью

советской эпохи. А скажите честно, Фадеева подшофе видали?

– Да все время его пьяным и видел. У него был какой-то мимолетный брак с одной дамой, и мне приходилось сближать парочку на почве его постоянной нетрезвости, аннулировать напряжение. Но Александр Александрович был хорошим человеком, мягким и добрым.

– К сожалению, я не встречался с великой Раневской, говорят, была матершинница, любила крепкие выражения…

– Раневская была большой моей подругой. А знаете, как мы познакомились? Началось с того, что я написал музыку для своего первого фильма «Остров сокровищ». С режиссером Вайнштоком сидели в ресторане гостиницы «Европейская» в Ленинграде. А через пару столиков от нас восседал Сергей Михайлович Эйзенштейн, с которым мы были знакомы, а с ним – какая-то дама среднего возраста. Я помахал Эйзенштейну и вдруг смотрю, эта дама пальцем на меня показывает, и они оба смеются… Прошло много лет. Мы с Раневской познакомились и подружились на съемках фильма «Александр Пархоменко», где она прелестно изображала разбитную тапершу в кабаке. Выпили с ней на брудершафт, и я спросил: «Слушай, Фаина, помнишь ли такой эпизод, когда ты сидела с Эйзенштейном и пальцем показывала в мою сторону. Что бы это значило?» Фаина, не моргнув глазом, отвечает: «Когда Эйзенштейн меня спросил, что я хочу на сладкое, я показала на тебя, вот того мальчика хочу, – сказала я ему». (Хохочем.)

– Раневская слыла завзятым острословом, вам за шуткой в карман тоже не надо лезть. А кто из вас одерживал верх?

– Ну, тут судить невозможно. Мы разные. Фаина мыслила и видела мир образами. Про Завадского она, например, сказала, что он вытянутый в длину лилипут. Как-то я спрашиваю ее во дворе на прогулке: «Как живешь, как личная жизнь?» И слышу в ответ: «Ты знаешь, она еще не совсем заглохла. Иногда по ночам я слышу, как употребляют мою соседку за стенкой. Это и есть моя личная жизнь». Раневская была милой, доброй и несчастной женщиной.

– Я слышал, что вы рассорились с Клавдией Ивановной Шульженко. Наверное, сострили и она обиделась?

– Да нет. Я просто перестал для нее писать. Не захотелось вдруг. Нашел других артистов. Шульженко за всю жизнь и пела-то только одну мою вещь. У нее был непростой характер.

– Какие ваши песни больше всего нравились Клименту Ефремовичу?

– Да все ему нравилось. «Ты ждешь, Лизавета», «Темная ночь», «Шаланды, полные кефали», «Солдатский вальс», «Давно

ты не видел подружку», «Днем и ночью», которую Утесов пел с дочкой Эдит.

– А лично с первым маршалом знались?

– Один разок общались. До того, как эту квартиру получил.

– А с вождем всех народов?

– Как вам сказать? За руку не здоровался, но перед войной присутствовал на приеме по случаю декады казахской литературы и искусства. Охраны бешеной тогда еще не было, и в антракте все обступили Сталина. А у него, видно, хорошее было настроение. Актер Борис Ливанов протискивается сквозь толпу и громко говорит: «Товарищ Сталин! Много лет я мечтаю сыграть Гамлета. Скажите, как мне его играть?» Ну, дурак, Борька, он талантливый был человек, но глупый. Сталин говорит: «Товарищ Ливанов, о Шекспире, в частности о „Гамлете“, на русском языке есть больше тысячи произведений. Там все написано. Почему вы думаете, что Сталин должен все знать?» И тут еще один поэт сунулся и, слегка заикаясь, сказал: «Товарищ Сталин! Я в этом году получил премию вашего имени, но другой (он назвал имя), тот лучше, чем я, поэт. Как-то несправедливо вышло». Сталину вся эта философия на мелком месте, видно, надоела, и он, прищурившись, посмотрел и ответил: «Ну что ж, товарищ, Политбюро иногда тоже ошибается».

– Никита Владимирович, вы слывете непревзойденным мистификатором, мастером розыгрыша, пересмешником. Я слышал, например, такую легенду. Будто бы вы, изменив голос, позвонили Сергею Владимировичу Михалкову и от имени Патриарха предложили написать слова к гимну русской церкви. И будто бы назвали такую сумму гонорара, что поэт никак не мог отказаться. Было или не было? И как было?

– Это и впрямь легенда. А вышло вот как. Был у нас великолепный театральный макетчик Ванька Плещеев. И мы с Марком Фрадкиным решили его разыграть, сообщив, что сам Патриарх заказывает ему макет Елоховского собора. «А как с договором?» – спрашивает Ванька. «Какой договор, – отвечаем мы, – ты что, церкви не веришь?» Работал он месяц и соорудил великолепный макет. Завернул его в простыню и понес в Синод. Секретарь Синода спрашивает: «Что это?» – «Как что, Патриарх заказал макет Елоховского собора». Секретарь: «Ничего не знаю об этом». Ванька: «Так пустите меня к Патриарху, я с ним поговорю». – «Нельзя, он греков принимает. Впрочем, сейчас разберемся». Взял макет и удалился. Вернулся через полчаса с огромной пачкой денег. «Вот вам за работу». Ванька пересчитал и ахнул: целых двести тысяч ассигнациями. Целое состояние. А рассчитывал он в лучшем случае на десять.

– Кстати, Никита Владимирович, сейчас в обществе обсуждаются варианты нового гимна России. За какие вы слова, за какую музыку?

– Считаю, недостойно красть мелодию гимна у другой страны. Согласитесь, ведь Россия украла гимн у СССР? Между прочим, если на то пошло, на мелодию этого гимна могут претендовать все республики бывшего Союза. Но, слава богу, у всех у них уже есть свои гимны. Дело вот в чем: музыка пишется на стихи, а не наоборот. Мы говорим: романс Чайковского на стихи Фета. Вы можете себе представить, чтобы Чайковский и Рахманинов бегали за Плещеевым и Фетом с просьбой подтекстовать уже готовую музыку. И еще, за границей будут смеяться, дескать, там у них нет ни одного композитора, чтобы сочинить новую мелодию гимна. Укорачиваю строку и пою: «Я другой такой страны не знаю, где так…» (Смеется.) Поняли?

– А как вы воспринимаете нынешнюю эстраду? Скажем, сейчас страшно популярна певица Земфира. Слышали о такой?

– Не хочу слышать, потому что подозрительно, когда с налету – с поворота – начинается несусветный звон. В этом звоне есть какая-то внутренняя недостоверность. А об эстраде, что ж… Я люблю все жанры. Но у меня есть твердое убеждение: многие западные танцы пришли к нам и стали русскими. Они ассимилировались с нашей ритмикой, с мелодией. Та музыка, даже очень хорошая, которая существует в иных странах, нам глубоко чужда. Она внедрена насильственно. Из всех экспериментов получилась одна талантливая баба Пугачева. Ценят слово и понимают в музыке Гребенщиков, композитор и певец Мисин, бард Евгений Бачурин.

– А какая ваша песня, по вашему мнению, больше всего любима народом?

– Полагаю, что две песни: «Почему ж ты мне не встретилась» и «Шаланды полные кефали».

– Любопытно, сколько вам платили за творчество в те давние времена? Ходили слухи, что человеком вы были небедным?

– Во всяком случае, нынешним ребятам, которые платят зелеными наличными из кармана, песен я не пишу. А нам при том уровне существования вполне хватало на добрую порядочную спокойную жизнь с ресторанами и машинами.

– Я вычитал в мемуарах Андрея Кончаловского, что на вас был всегда модный пиджак. Где шились, мэтр?

– Да, в молодости я был пижоном. Одевался в Париже. Ездил туда много лет подряд. Дружил с Ивом Монтаном, Дюком Эллингтоном, Лемарком, Жаном Марэ… Видите, на стене его рисунки, он талантливо рисовал.

– Вы можете развеять одну из самых мрачных легенд советской культуры – о кончине Дунаевского? Собственная смерть или самоубийство?

– Никакого самоубийства, с Исааком все было просто. Он шел из столовой на кухню, чтобы принять лекарство. Упал и умер. Вот и все. Мы приехали к нему через полчаса после случившегося.

– Шостакович – трагическая фигура?

– Что бы ни писал в прессе Тихон Хренников, абсолютно трагическая фигура. Могу вам поведать одну вещь, о которой мало кто знает: в 37-м году в Ленинграде он мне наигрывал темы Седьмой симфонии. Те самые знаменитые темы зла…

– Чего больше всего вы боялись в жизни: собственной жены, КГБ или Сталина? И почему вас, простите, не арестовали в 37-м?

– Меня всегда спасало чувство юмора. Как это ни парадоксально звучит, но во времена повальных арестов, у меня к этому всему было даже какое-то любопытство. Глупо, конечно… Я все думал, придут ли за мной и кто там у них окажется завтра. Как было дальше, мои друзья рассказывали после возвращения. Трагично, конечно, смешно и глупо.

– Полагаю, что вы прожили веселую жизнь? А как вы, скажем, выкручивались с подарками в советские времена, ведь в магазинах ничего нельзя было купить оригинального?

– Да, вы правы, поэтому я вечно придумывал сложные подарки на день рождения или свадьбу. Однажды с Сигизмундом Кацем мы подарили Смирнову-Сокольскому «Воспаление среднего уха». Купили в магазине наглядных пособий. Подарок был с удовольствием принят. А в другой раз для подарка я выбрал в зоомагазине живого варана, которого на другой же день одаренный притащил обратно в магазин.

– Вы женаты?

– Конечно, моя жена музыкант, лауреат премии Ленинского комсомола. Ее фамилия Сивашова. Может, вы и слышали. Она намного моложе меня.

– Я вас утомил. На прощание последний ваш анекдот.

– Тогда два. Первый, кажется, не мой. Идиотский, глупый, но безумно смешной. «Давайте поговорим о прекрасном?» – «Давайте». – «У вас глисты есть?» – «Нет». – «Ну вот и прекрасно». А этот анекдот я только что сочинил. Авиарейс Москва – Воронеж. Какой-то тип пробирается в кабину, приставляет пистолет к виску пилота и говорит: «Немедленно на Израиль». Пилот, не поворачивая головы, отвечает: «А мы туда и летим…»

2002

Умер композитор 4 апреля 2004 года. Похоронен в Москве на

Новодевичьем кладбище.

«Баловень судьбы», «Король розыгрышей», «Кумир Москвы» – вот некоторые характеристики маэстро. Он с иронией воспринимал эти «бренды», так как не был тщеславен и к своей «известности» относился с большим сомнением.

…В этом безумном, безумном, безумном мире он жил легко и весело, красиво и эпатажно, богато и ярко, попирая все нормы серого бытия и здравого житейского смысла. Он успел попросить прощения за свои «злые» шутки. Возможно, когда-то они казались ему вполне безобидными. И эта его легкость, с которой он устраивал свою и чужие жизни, переступая грань, не заботясь о последствиях, о реакции и нервах, – в чем-то была сродни той легкости, с которой он «тащил» сквозь пласты чудовищного официоза одинокий голос человека, поющего про «дорогую подругу свою, а вокруг только ветер гудит в проводах» (из книги вдовы композитора Аллы Сивашовой-Богословской «Я люблю тебя, Алка»).

Глава 18. Художник Илья Глазунов: гонимый, обласканный, великий

Илья Глазунов признан выдающимся художником XX века. Его именем названа одна из малых планет, а ЮНЕСКО удостоила его своей высшей награды за выдающийся вклад в мировую культуру. Высокие награды получал художник от многих глав государств и правительств. Он – член старейших в мире Мадридской и Барселонской академий искусств.

Я знаю его более тридцати лет. Срок огромный, чтобы изучить и понять человека. Но эта аксиома не подходит к Глазунову: для меня, как, уверен, и для тысяч и тысяч поклонников его таланта, он по-прежнему загадочен, парадоксален, масштабен. За эти долгие годы мы пережили несколько эпох: рушились вроде бы несокрушимые авторитеты, менялись общественные формации, в искусстве произошла самая настоящая революция, но Илья Глазунов – один из немногих созидателей-россиян – стоит как скала. Его вера в будущее России, в то, что настоящее искусство и впрямь должно принадлежать народу, непоколебима.

По его мнению, едва ли не самое главное, что он сделал в жизни, это создание в Москве Российской академии живописи, ваяния и зодчества. С нуля, с первых хлопот в Совмине и Кремле, с реставрации на свои деньги разрушенного здания на Мясницкой, с формирования – тоже с нуля – академической полноценной библиотеки. А уж то, что ректор (не коммерсант, не олигарх) из своего кармана выплачивает студентам содержание, – это поразительный нонсенс, в который трудно поверить.

Илья Глазунов

И совсем титанической выглядит фигура Глазунова, если добавить, что именно он и его творческий коллектив реставрировали интерьеры Кремля, 14-й корпус и Большой Кремлевский дворец – творение великого Тона. За эту работу Глазунов получил Госпремию РФ, которую, кстати, передал детскому дому.

Щелоков: «таких, как вы, надо сажать»

Единственный раз в жизни он ощутил, каким зловещим бывает молчащий телефон. Привыкший к тому, что он, Илья Глазунов, нужен всем, всему миру, в эти тревожные дни он понял цену дружбы, ощутил, что человек проверяется не только в радости, но и в беде. Вовсю шумели радиоголоса, по Москве поползли слухи, что «Глазунов уезжает».

А перед этим ему позвонил сам Щелоков. Министр внутренних дел считал себя вполне компетентным для того, чтобы вмешиваться в творческие помыслы художников. Вот и здесь он был непререкаем: «Снимайте картину с выставки немедленно! Вы что, диссидент? Таких, как вы, надо сажать». И добавил: «Пожалейте своих детей».

Глазунову ставили в вину, что один из персонажей его картины – Солженицын, и что вообще «Мистерия» – произведение антисоветское.

Но Глазунов не внял приказу свыше. И картину с выставки не снял. Тогда вернисаж запретили. Виновник инцидента сделал заявление для печати, в котором объяснил, что конфликт, о котором пишут на Западе, – это конфликт не между Глазуновым и государственной властью, а между группой людей, называемых Выставкомом, и им, автором. Что он был и остается русским художником и никогда не покинет Россию.

Много воды утекло с той поры, многое встало на свои места. Щелоков извинился перед художником за те резкие слова, а полотно «Мистерия XX века», считавшееся на Западе произведением, которое никогда не увидят русские, посмотрели миллионы человек. «Чародей кисти», «Король китча», «Самая парадоксальная фигура в советском искусстве», «Сфинкс без загадки», «Гонимый и обласканный», «Человек-легенда»… Последнее, пожалуй, наиболее точно выражает жизненную и творческую судьбу Ильи Глазунова. Но как рождались и рождаются эти легенды, можно ли им верить? Можно, если о них рассказывает сам художник.

– Первую трагедию я испытал в 11 лет, когда в ленинградскую блокаду умерли мои родители. Сам я чудом остался жив. С тех пор трагедии стали фоном моей жизни. Конечно, в судьбе каждого человека, и в особенности художника, много горя и лишений. Но это меня не успокаивает: потеря жены Нины Виноградовой-Бенуа – непоправима для меня. Это был человек, которому я отдал свою душу, и потому, лишившись

Нины, я как бы лишился части своей души. Ее жертвенная любовь сопровождала меня, она защищала меня от ударов, и стрелы, нацеленные в меня, попадали в нее. Долгие годы она всю себя отдавала нашему общему делу сохранения русской культуры, служению русскому искусству. Нина Александровна подарила мне двух детей. Я никогда не забуду, как на заре нашей любви однажды в ее паспорте я нашел донорский талон. Оказалось, она сдавала кровь, чтобы заработать мне на краски. Тогда я писал картину «Дороги войны».

Ныне картины не существует. Ее уничтожили. Эта картина – мой институтский диплом. Тема ее трагическая – 1941 год, отступление. Мною самим выстраданная, пережитая, ибо вместе с отцом и матерью я тоже отступал со станции Вырица под Ленинградом. Гнали скот, шли измученные голодные люди, постоянные налеты фашистских самолетов заставляли нас ложиться в канавы, где мы надеялись спастись от огненного смерча. Я же хотел показать в своей картине конец войны и нашу победу через, увы, неизбежные дни поражений и беды. В то время не было еще ни литературы, ни кино о первых годах войны, и преподаватели в институте имени Репина запрещали мне эту тему делать дипломной. Они говорили, что отступление – нетипичное явление для победителей, свидетельством чему были другие картины, на которых изображались розовощекие герои, заваленные цветами. Мне приказывали вернуться к эскизу первого курса «Рождение теленка». Но я все-таки написал «Дороги войны» и привез картину в Москву, в Манеж, на выставку молодых художников. Заместитель министра культуры Михайлов, глядя на мою работу, сказал: «Отступаешь, ну-ну, так у тебя вся жизнь в отступлении пройдет». Тем не менее, ее купили.

Она была выставлена в окружном Доме офицеров, где ее и уничтожили неизвестные мне лица. Какое-то время назад я решил повторить ее, сделав новый вариант.

В судьбе И. Глазунова было много эпизодов, когда он чувствовал, что существует как бы две реальности: одна – та, которую переживал и которую открывал для себя, и вторая – та, которая была иллюзорной, лживой, фальшивой. Одна из таких иллюзий была развеяна в пору далекой молодости, когда начинающий художник поехал на строительство Куйбышевской ГЭС.

Если тебя пришьют, мы не отвечаем

– День близился к концу. Я вышел на берег Волги, увидел горящие в тумане цыганские костры и на том берегу две огромные горы – место строящегося котлована будущей ГЭС. Огромные, гигантские буквы «МИРУ – МИР, СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ» сверкали. Я переехал на пароме и попросил довезти меня до котлована. Мы проехали не более полукилометра, когда на фоне красного зарева заката я увидел огромные клубы пыли и едва различимые в пыли колонны людей. Лаяли собаки. «Что это такое?» – спросил я шофера. – «Как что? Строители будущего». – «Так они же идут под конвоем?» Шофер посмотрел на меня с изумлением и сказал: «Ты откуда свалился?» – «Из Ленинграда». – «Оно и видно. И я, между прочим, зек, только вожу машину», – сказал он. Я спросил: «А что это значит – „зек“?» – «Ну, заключенный, срок волоку». Мы поравнялись с колонной. Люди шли нога в ногу, шествие казалось нескончаемым. Злые овчарки рвались на поводках. А через несколько минут мой новый знакомый сказал: «Вот и приехали. Ведь тебя интересует котлован». Передо мной была вышка, колючая проволока ограждала лагерь. Я вынул свою нехитрую палитру и сделал первый набросок. То, что нарисовал, я видел только в кинофильмах про войну, про концлагеря.

Побрел назад, приблизился к пирсу, увидел черную, как тушь, быструю Волгу, дождался парома, переехал на другую сторону. Недоумение и смятение охватили меня. Уставший, я мгновенно заснул. Проснулся от грубого прикосновения чьей-то руки: «А ну вставай!» Открыв глаза, увидел человека в военной форме. «Что вам надо?» – «Одевайся и следуй за мной!» Сели в газик. «Куда мы едем?» – спросил я. – «Сейчас узнаешь». Меня встретил полковник с усталыми и равнодушными глазами: «Ты что здесь делаешь?» – «Где здесь?» – «А на великой стройке». – «Меня послали от института имени Репина Академии художеств СССР. Я студент и собираю материал для картины о великой стройке коммунизма – Куйбышевской ГЭС». – «А зачем ты рисовал вышку? Без нашего разрешения ты не имел права этого делать!» – «Без чьего разрешения?» – «Без разрешения охраны». – «Но я нарисовал то, что видел. А художники здесь были и до меня». – «И каждый из них давал подписку, что не будет рисовать вышки. За нарушение – тюрьма. Ты понял?! Тюрьма. Здесь вот делегация недавно была, – вдруг перешел он на доверительный тон. – Так мы за одну ночь все вышки сняли, заключенных заперли. В бараках работали только вольнонаемные. Выхода у тебя нет,

давай подписку, что ты не будешь рисовать неположенного». – «Но я должен рисовать то, что вижу, ведь я художник. Что же мне делать?» – «А это твое дело, что ты будешь рисовать. Можешь подобру-поздорову уехать. А пока распишись».

Он смотрел на меня, как бы сожалея. Я стоял в растерянности, уставившись на стаканчик с множеством цветных карандашей. «Как много у вас цветных карандашей!» – вырвалось у меня. Полковник улыбнулся и сказал: Художник от слова «худо». Расписавшись, я спросил: «А как же все-таки попасть на котлован?» – «Вот неугомонный»! – воскликнул полковник. – Пиши: «Прошу допустить до осмотра котлована, не буду иметь никаких претензий к руководству строительства».

– А что это значит?

– А это значит то, что если тебя там пришьют, то мы ответственности нести не будем.

– А почему вы думаете, что меня пришьют?

– А-а-а, они между собой такую поножовщину разводят, что кина не надо. Короче говоря, бывай здоров, и я тебе не завидую, если ты нарушишь расписку. Мы шутить не любим.

В ателье Пикассо висела картина юного художника из России

– Как, по-вашему, кто самый крупный художник современности?

– Сложный вопрос, все мои любимые художники давно умерли. Цезарь говорил сенату: «Назовите второго на звание консула… И из самых достойных вторых выберите первого». Талантливых, интересных художников много, а из моих современников самый интересный, мне думается, Сальвадор Дали, хотя, честно говоря, многие его картины для меня – шарады без ответа. Запомнились его слова: «Моя живопись отличается от живописи сумасшедшего тем, что я не сумасшедший».

– Вы встречались с Дали?

– Я должен был с ним встретиться в Париже в 1968 году, но помешала забастовка студентов, тогда у многих спутались планы.

– А с Пикассо? Мне говорили, что в его ателье висела репродукция с одной из ранних ваших работ – «Сумерки».

– Увы, к сожалению, я не видел живого Пикассо.

– Вы посещали выставку Марка Шагала в Москве или вам она была неинтересна?

– Ну почему неинтересна? Шагал – великий еврейский художник XX века со своей сложной судьбой.

Вспоминаю свою встречу с дочерью Шагала Идой, ей понравились мои работы, и она рекомендовала галерее Ламбер в Париже организовать мою выставку.

– Ваши дети идут по стопам отца, вы ими довольны?

– Я не наталкивал своих детей на то, чтобы они непременно стали художниками. Они сами выбрали свою стезю.

– Вы верите в Бога?

– Человек отличается от животного тем, что во что-то верит. Советские люди очень долго и упорно верили в коммунизм. А для многих нынешних граждан главное – деньги, доллар.

Хотите, отвечу словами Достоевского: «Кто не православный, тот не русский», а я глубоко русский художник и человек.

– В свое время вас обвинили в поддержке и чуть ли не в создании общества «Память»…

– История такова: Пьер Карден пригласил меня в Париж с выставкой моих работ. Еженедельник «Иллюстрирте» назвал меня тогда врагом перестройки и обвинил в том, что я основал и финансирую общество «Память». Мне пришлось подать в суд на этот печатный орган, ибо утверждение «Иллюстрирте» –

злонамеренная клевета. Процесс завершился в мою пользу.

– Вам небезразлично, что о вас пишут противоположные по взглядам органы печати: коммунистические, фашистские, бульварные, развлекательные?

– Я доволен тем, что мой скромный труд не оставляет равнодушным никого. Для художника это очень важно. Я ведь не говорю, что на концерты, допустим, Улановой или Рихтера ходили правые и левые, русские и французы, бедные и богатые. Я считаю положительным явлением, что искусство привлекает людей, объединяет их. Важно другое: какова цель у журналистов, пишущих обо мне. Скомпрометировать или попытаться разобраться в моем творчестве, оболгать или найти в моих работах позитив.

Предки Глазунова из рода королевы Любуши

– Как-то в своей почте (было это много лет назад) я обнаружил письмо, прочитал его и обомлел: в нем сообщалось, что «Глазунов – потомок римского императора Карла Великого».

– Насчет Карла не знаю, но со стороны матери я являюсь потомком древнего рода, восходящего к славянской королеве Любуше, о которой существует такая легенда. Королева Любуша загадала: перед кем остановится в поле ее верный конь, тот и будет ее мужем. Мчался конь по лесам, по долам и вылетел в широкое поле, где пахарь пахал, и остановился перед ним. Пахарь воткнул в землю палку, которой погонял лошадь, и из нее выросли три розы в форме плуга. Вот и стал у Любуши мужем пахарь по фамилии Флуг. Со стороны матери мои предки были приглашены Петром Великим преподавать фортификацию. Приехав в Россию, Флуги породнились с Лопухиными. Сохранилась родовая печатка с гербом. Флуги и Шварцвальды были потомками королевы Любуши – об этом сказано в энциклопедиях.

Со стороны же отца мои предки – крестьяне, дед – иконописец, отец – историк. Один из моих дедов был, как говорят сегодня, представителем деловых кругов Петербурга.

Испанской богородице почет, а над русской иконой глумились

Стоит только перешагнуть порог квартиры или мастерской художника, сразу же замирает дыхание: иконы, картины, мебель, книги, гравюры, предметы быта. Настоящий музей!

Один писатель как-то сообщил мне: «У Глазунова по всем углам расставлены золотые пепельницы». Я сказал об этом хозяину квартиры, и он предложил: «Все золотые пепельницы в этом доме, если ты их обнаружишь, твои».

Слышал я и другое: Глазунов – при его-то миллионах – скуп, как Плюшкин. Гостей кормит гречневой кашей, чай дает без сахара, а в смысле выпить – ни за что не поставит. Не буду врать, что всех своих гостей он балует разносолами, но и насчет одной гречневой каши – преувеличение. Выпить? Почему же нет, если есть к тому повод. Но вот сам – и любит это подчеркивать всякий раз – никогда в жизни не брал в рот ни грамма.

Резонно заметить, что всех, дорогих или недорогих гостей, заморских ли, наших ли, он угощает тем, что есть в доме. А в доме, как правило, есть то, что он, Илья Глазунов, сам принесет из ресторана или из магазина. Удивительно? Да, раскрываю еще одну тайну жизни Глазунова: ни слуг, ни камердинеров, ни лакеев, ни поварих, ни постельничих у народного художника по штату не числится. Обслуживает своих гостей нередко сам хозяин. Ставит обыкновенный чайник на газ, вынимает чашки, вилки, ложки, нарезает хлеб, даже бутерброды самолично может вам приготовить. Причем колбасу, дешевая она или из спеццеха, не жалеет, режет крупно.

Однажды одна западная дама, ценительница творчества Глазунова, заплатила ему за свой портрет 50 тысяч долларов. По тем временам – неслыханные деньги, но государство отобрало из этой суммы львиную долю, оставив мэтра с носом. В свое время, я, попав в трудную денежную ситуацию, пришел за помощью к Глазунову. Думал тогда, возможно, как и многие, – у него миллионы, поможет. Но Илья Сергеевич как разумный прагматик предложил деньги заработать: «Продай „Мистерию“ (тогда он сам нуждался в деньгах на новые проекты и вроде бы решился расстаться с одним из своих знаменитых полотен) миллиона за полтора-два и четвертую часть возьми себе». Мне удалось договориться с одним немецким банкиром о покупке, но в последний момент, как и бывает в такого рода крупных сделках, из-за мелочи торг сорвался.

Всю свою сознательную жизнь Глазунов собирал, спасал от гибели старинные картины, иконы, мебель. Вместе с женой Ниной и писателем Владимиром Солоухиным ездил на Север в экспедиции за сокровищами. Ведь в хрущевско-брежневские времена те сокровища выбрасывались на помойку. Люди не знали подлинной их ценности. Тогда гонялись за новыми гарнитурами и стенками. Как-то поздно вечером, когда мы сидели в мастерской Глазунова в Калашном переулке, он разговорился на эту, тоже больную для него, русского художника, тему:

– Эту старинную лампу на столе я купил на первый свой гонорар. А этот камин вызывает изумление всех, кто видит его. Откуда он здесь? Этот шедевр русского искусства спасен мною от уничтожения. Было так. Когда ломали центр Москвы, рабочие по моей просьбе не уничтожили камин и за 150 рублей с подносом, то есть на тачке, привезли его прямо сюда. Разгружая, они приговаривали: «Где ты раньше был? Мы таких каминов сотнями ломали, куда красивше, чем этот. Какие-то крылатые бабы, мрамор, кони… Жалко было ломать. Да и труда стоило, удавку подденешь и через окно трактором – до чего крепко стояли…»

У нас в стране нет музея русской мебели и быта – был, но его закрыли в 34-м году. Во всех странах мира он есть, у нас нет. После революции вся мебель, оставшаяся от «эксплуататоров», отдавалась общественным учреждениям. А потом ее уничтожали, предпочитая новую, современную.

А сколько уничтожено икон – несметное количество. Уничтожая иконы, мы уничтожали и русскую культуру.

«Религия – это опиум для народа», но религия выстояла, а культура страдала. Я всегда задумывался, как же так: Мадонна, а по-нашему Богородица, написанная итальянцем или испанцем в XVI веке, – это произведение искусства, а написанная русским художником – подлежала уничтожению.

Если так дальше рассуждать, то мы должны как «опиум» сокрушить и греческую культуру, ведь Аполлон, Зевс, Юпитер были богами и несли в себе определенные моральные идеалы. К тому же не забудем и католические. Так почему же не уничтожены Микеланджело, Эль Греко, Боттичелли?

Я родился и вырос в Ленинграде, всегда любил старину, но только однажды буквально в одночасье многое понял. Было так. Иду со своей знакомой по городу, и у витрины мебельного магазина она останавливается. «Какая ужасная мебель! У меня – только павловская», – говорит спутница. Я думаю: «Как это так? Молодая девушка, не художник, не поэт, не историк, а любит павловскую мебель. И что такое павловская мебель?» Эпизод стал толчком для сомнений, раздумий: почему так дорого стоят

современные поделки, всякие там «хельги», и почему так дешево оцениваются подлинные творения старых мастеров?

В двух мешках приволок я однажды туалет XVIII века, который и сейчас стоит там, где ему положено быть. Вот то кресло доживало свой век в одном парадном подъезде. В нем восседала лифтерша, с удовольствием поменявшая «рухлядь» на восьмирублевый стул, обтянутый, как она просила, «всенепременно клеенкой».

Сколько же уничтожили мы свидетельств старины глубокой. Разъезжая по России, по Волге, по Северу, я сплошь и рядом видел следы этого разора. Вот старинная усадьба. Кажется, что здесь, в провинции, должно было что-то сохраниться. Нет! «Где мебель?» – спрашиваю у какой-нибудь сторожихи. – «Сожгли, касатик, давно сожгли».

Помню, как на улице Герцена догорал гарнитур XVIII века. Учреждение списало его по акту об уничтожении. Какой идиотский, прямо-таки варварский придумали приказ: списывать – значит тут же уничтожать. Почему? Да потому, что казенное.

Горький писал как-то, что сразу после революции в одном Стокгольме открылось семь магазинов, торгующих антиквариатом из Петербурга.

Помню ленинградские антикварные магазины времен своей молодости. Настоящие музеи. Вот перед вами бюст удивительной работы. Он стоял в углу магазина, запыленный, полузабытый. На него не обращали внимания. Стоил он 300 рублей. Примерно раз в полгода я заходил в магазин и с вожделением и одновременно с горечью констатировал, что бюст все еще не куплен. У меня же не было трехсот рублей. И вот однажды, не поверив своим глазам, я увидел новую цену – 120! «Мой» бюст уценили, и я его купил.

Лубки, которые висят у меня в квартире, стоили по 3 рубля, ими мало интересовались. А ты посмотри, какие сюжеты из истории преподобного Сергия Радонежского и Троицкой лавры. Но их просто не брали в магазины: отпугивало религиозное содержание. Религиозное? Но взгляни – на одном из лубков Сергий благословляет Дмитрия Донского. Религия? Прежде всего история! Одна из самых ярких ее страниц.

– *А на этом портрете изображен Павел I?*

– Да, это портрет Павла. И я вынужден назвать цену, которую за него отдал, – 60 рублей. Но и за эти гроши его никто не покупал. Потому что рядом в магазине на Арбате продавались подлинные шедевры. Однажды я буквально заплакал, увидев, как из магазина, куда я ходил в заплатанных штанах, иностранец уносил Франса Гальса. Когда я однажды заговорил об этом со своим другом-иностранцем, он меня успокоил: «Не страшно, что

шедевр уехал за границу, страшно, что он у вас на родине мог погибнуть».

Меня это, конечно, не успокоило.

Один специалист в Лувре сказал мне, что самые красивые люстры – это русские. В моей квартире и мастерской – предметы старинной утвари самых разных сословий. Крестьянская, дворянская, дворцовая. Все это собрано в течение многих лет.

«В Кремль не зовут?» – «Интриги-с…»

– Да, у меня нет привычной современной мебели – стенок, гарнитуров, которые я считаю чудовищным проявлением вкусов XX века. Вот и пишут несведущие журналисты, что я царь Крез.

Я не знаю, сколько стоят сегодня окружающие меня вещи, у меня нет ни времени, ни желания заниматься подсчетами. Конечно, они стоят недешево. Но я знаком с людьми, которые на скудные зарплаты педагогов, инженеров собрали уникальные коллекции. А я ведь не коллекционер, все, что ты видишь в моем доме, – это те вещи, старинные гравюры, камины, мебель, иконы, спасенные мной из руин от гибели, от тлена, они продолжают служить людям, создавать красоту.

– Вас всегда считали придворным живописцем: то Брежнева рисовали, то короля Испании, то королеву Швеции… Нынче-то в Кремль зовут?

– Насчет Брежнева – легенда. Портрет писал по фотографии. Ему понравился мой эскиз, и он потребовал, чтобы все осталось как есть. Так что не виделись. А насчет королей и принцесс, то вся европейская живопись прошлых веков – это во многом царственные особы. Гойя, Веласкес, Рембрандт, Рубенс… Разве это плохо? Не забуду, как министр культуры Фурцева вызвала меня к себе и приказала немедленно лететь в Индию – рисовать Индиру Ганди. Я полетел, встретился, нарисовал. Ганди портрет очень понравился. Я был очень доволен. А потом мне передали, что Леонид Ильич заявил, что Глазунов рисует только буржуазных лидеров.

…В Кремль не зовут. Хотя лично с Путиным я знаком давно. Знаете, как раньше говорили в таких случаях при дворах: «Интриги-с…» А еще лучше сказал примерно на эту тему Петр Первый: «Сенаторы – хорошие люди, а Сенат – злая бестия»…

2002

Глава 19. Илья Глазунов и Владимир Солоухин. Версия одного разрыва

Много лет я был близок и с Ильей Глазуновым, и с Владимиром Солоухиным. Знал, что они дружат, что связывают их прочные «положения и обстоятельства», которые сближают людей навеки, и был уверен, что ничто – ни пошлая молва, ни низкие наветы, ни женщины, ни недоразумения не смогут их разъединить. Я бы даже сказал о некой тайной ложе единомышленников, которых святая и вечная цель возрождения России связала навеки. Казалось, ничто не может развернуть их друг против друга.

Ни на мгновение не мог я предположить, что все нежданно-негаданно обернется так драматично. Эту ссору, этот трагический разрыв не назовешь даже нелепым. Нельзя же, в самом деле, назвать нелепыми действия человека, которые он совершал в течение долгого времени, едва ли не полжизни. Совершал сознательно, ибо действия эти диктовались творческим поиском, вдохновением.

А как же, думаю я, пуд соли, который, по народной примете, надо съесть, чтобы узнать человека? Заинтересовался, за сколько же лет съедается пуд соли. И получил ответ – за 16.

Они дружили 35 лет. Выходит, не все поговорки верны.

Владимир Солоухин

Последняя встреча с писателем в Переделкине

Наверняка Солоухин предчувствовал, о чем я хочу с ним побеседовать. С трудом согласился на встречу, сначала говорил как-то вяло, потерянно. Принесенное мною пиво только пригубил.

В Переделкине копошилась осень. К моим ботинкам пристали листья, словно принес я с ними в кабинет обморочный символ угасающей жизни. Из окна виднелись кресты знаменитого кладбища.

Владимир Алексеевич налил в стакан мутноватой жидкости, почему-то посмотрел содержимое на блеклый осенний свет и заговорил, все более и более оживляясь:

– С Ильей Глазуновым и его женой Ниной я познакомился в 1961 году. Сразу подружились. Вместе много ездили по России, искали старину, иконы, утварь. К тому времени был я уже довольно известным – и по работе в «Огоньке», и по моим вышедшим книгам. По нравственной и политической, что ли, своей сути был я абсолютно советским человеком, и историю страны, особенно с 17-го года, воспринимал, как и большинство моих коллег и читателей, чисто догматически, ориентируясь на труды Ленина и стенограммы партийных съездов. Вообще, чего уж там, слепой котенок, да и только.

И вот мой новый друг, художник, в пространных наших разговорах в Москве ли, в поездках ли постепенно, исподволь начал раскрывать мне глаза на нашу действительность, на то, что происходит в стране на самом деле. Несмотря на свой возраст, а он моложе меня лет на восемь, обладая внушительными познаниями, магической силой убеждения, сокрушительным напором и, я бы добавил, бесстрашием, он начал как бы заново перекраивать меня.

Все, что узнавал от Ильи с Ниной, я заносил в дневник, в некую тайную тетрадь. А говорили они по тем временам абсолютно крамольные вещи. Ни один человек не знал о той тетради с потаенными мыслями.

Догмы и факты

Когда Солоухин проговорил, что, дескать, Россия все равно гнила и спасти ее могла только революция, Илья и Нина прочитали ему убийственно убедительную лекцию о «гнилой» России. На него обрушился водопад разрозненных, но одно к

другому прилегающих сведений о том, что между 1890 и 1900 годами в России были протянуты все основные нити железных дорог, которыми, кстати, мы пользуемся до сих пор; о том, что профессором Вернадским был разработан план электрификации всей страны, который большевики, бессовестно присвоив, назвали ленинским планом ГОЭЛРО; о том, что построили КВЖД, подаренную потом дураками Китаю; что к 13-му году в России сделали самый большой в мире самолет «Илья Муромец»; что царские ледоколы, переименованные в «Красиных», долго еще служили советской власти; что Россия уже наладила выпуск своих автомобилей.

Дотошный и не всегда поддававшийся оппонент, упорно цепляясь за старые догмы, контратаковывал: как же тогда Россия отбилась от четырнадцати государств Антанты и победила? «Чем же она отбивалась, разрешите узнать?» – вопросом на вопрос «наивно» переспрашивали Илья с Ниной. «Как чем, воспетыми потом красными бронепоездами, пулеметами „максим“ на быстроходных тачанках, патронами, которые Троцкий призывал не жалеть», – ответствовал закованный в крепкую броню совковой пропаганды писатель и коммунист. И тут же получал сокрушительный удар, ставящий точки над «i» в этой части дискуссии:

– А разруха, Владимир Алексеевич, а стоявшие без дела заводы? Вы забыли об этом? Так вот, ответ прост: все это и многое другое уже было на складах России. Большевики победили в гражданской войне не своим, а российским царским оружием.

Крушение кумиров

Перековка шла терпеливо, въедливо и мучительно. Месяцы, годы. Взрослый муж, давно уже идеологически и нравственно сложившийся человек, литератор, «глас народа», проходил университеты, равных которым, пожалуй, не было во всей огромной стране. Мало того, в общении с тогда еще неизвестным миру художником и конгениальной ему красавицей женой, в совместных путешествиях по Северу, по старинным городам и селам, в узнавании трагической истории древнерусского искусства родились у писателя книги «Черные доски» и «Письма из Русского музея», сделавшие это имя широко известным.

Как терпеливый, но решительный хирург-окулист осторожными, точными движениями скальпеля снимает катаракту с подслеповатых, а зачастую и слепых глаз пациента, так и упоенный в своей правоте художник от встречи к встрече поворачивал писателя к свету, и проявлялась иная, первозданная

история многострадального Отечества, и уже иным взглядом-прищуром смотрел тот и на катавасию революций, и на большевизм, на натужные «липовые» пятилетки, на судьбы сгинувших в горниле репрессий миллионов людей, на раскулачивание и коллективизацию, религию, на войну с фашистами, монархизм, наконец. Охранявший бессмертного и великого вождя народов, служа в кремлевском полку, толковый ученик низверг и Сталина с пьедестала своего кумирства. Что Сталин?! По-рабски, мучительно, с надрывом он выдавил из себя и самое святое, того, чью плоть он тоже охранял в Мавзолее. Выдавил и с ужасом увидел, как с заскорузлой мумии ручьями течет кровь миллионов загубленных жизней. Загубленной России.

Здесь, как бы в скобках, за кадром, я должен заметить, что и сам много раз испытывал на себе почти мистическую силу убеждения Ильи Глазунова, его способность ненароком, в контексте полуночных бдений преподнести собеседнику искрометный урок исторической или политической грамоты. Урок, за которым скрывался фанатизм проповедника, мэтра, Учителя. Он действительно умел убеждать, заставлял сомневаться в набивших оскомину «истинах».

– Просвещает меня Глазунов, – рассказывал Владимир Алексеевич, – приоткрываю я темные свои вежды и уже с ним полемизирую, формирую свою точку зрения, и тетрадь моя особая все пополняется, разбухает. И вдруг начинаю я понимать, что никогда не смогу воспользоваться этой золотой рудой, чтобы, как у Паустовского, выплавить золотую розу. Время на дворе мертво-стабильное. Надежды на перемены – только в сладком сне. Казалось тогда, что Брежнев, а потом и его наследники будут царствовать вечно.

Но жизнь наша талантливее любого гения. Так порой завернет, что диву даешься. Помнишь, как Ахматова в единственную свою встречу с Цветаевой, услышав стихи Марины Ивановны о смерти, воскликнула: «Ты с ума сошла! В стихах все сбывается!» Вот и я написал как-то стихотворение, заканчивавшееся слишком уж, по-видимому, дерзким вызовом: «Я созрел, я готов, я открыто стою. О, ударьте в меня, небеса!»

И точно, небеса-то в меня и бабахнули.

Тайная тетрадь – тайная книга

– Вы имеете в виду события, описанные в повести «Приговор»?

– Именно так… В 73-м году, мне тогда и пятидесяти не исполнилось, кладут меня на операцию в онкологический

институт. Скоротечный рак, меланома. Каюк, смерть неминучая… Как-то уже потом, спустя много лет, я спросил у хирурга, сделавшего операцию, что спасло меня, за счет чего сумел выжить. «Везучий вы, Владимир Алексеевич, – ответила Агнесса Петровна. – Шанс выжить был один на сто тысяч».

И вот после того как стало ясно, что поживу еще на белом свете, сказал я самому себе: «Дает тебе Бог дополнительный срок жизни. Для чего? Не для того, конечно, чтобы ты штаны свои за бутылкой в ЦДЛ протирал. Так для чего же? Чтобы осуществил сокровенный замысел, книгу главную написал».

– А разве «Владимирские проселки» не главная книга? А роман «Мать-мачеха», который прочитала вся страна, – не главная? А «Черные доски», «Письма из Русского музея»? А «При свете дня», низложившая Ленина? А книга сонетов – тоже ведь не шутка.

– Каждая из названных книг – да, на каком-то этапе была принципиальной. Но самой главной и, быть может, самой мучительной, для себя считаю именно эту книгу – «Последняя ступень», в которой под именами Кирилла Буренина и Елизаветы Сергеевны в основе своей выведены Илья Глазунов и Нина Александровна Виноградова-Бенуа. Закончил я ее в 1976 году. Закончить-то закончил, но понимал, что ни одно советское издательство ее не напечатает, ни одно. Мало того, даже дома держать рукопись было опасно. Чтобы подстраховаться, я сделал семь копий и отдал их на хранение верным друзьям в Москве, Париже, Сан-Франциско и во Франкфурте-на-Майне. Заграничным хранителям дал твердый наказ: без моего ведома книгу из рук не выпускать.

Сам же потихоньку стал зондировать западные издательства. Думал, там-то свобода, бояться им нечего. Ан нет, даже «Посев» в Германии, махрово-антисоветский, отказался: «Вы хотите, чтобы нас разнесли?!» Леонид Максимович Леонов, прочитав рукопись, сказал: «Ходит человек в Москве с водородной бомбой в портфеле…»

Так кто бы рискнул напечатать такую книгу?! Вот и долежала она в моем столе до прошлого года, когда, тяжело заболев, я снова ощутил дыхание смерти. Пришли ко мне частные издатели, оказавшиеся моими поклонниками, и спросили: «Нет ли чего такого, чтобы издать быстренько?» Я и встрепенулся: сам Бог, видать, послал их ко мне. А через месяц «Последняя ступень» пошла гулять по свету. И, конечно же, сразу дошла до Ильи Сергеевича.

«Мы видим его только наполовину»

В эту секунду командным сигналом дала о себе знать игрушка наших дней – пейджер, висевший на моем брючном ремне. Владимир Алексеевич поморщился (перед этим я долго ему объяснял, как при случае вызывать меня по этому самому аппарату), отвернулся, помолчал минуту, будто бы набирая воздуха для каких-то решительных слов:

– Обидно, что так получилось. Не было у меня цели дискредитировать его, окарикатуривать. Я просто поведал, что было на самом деле. Да и выведен-то мой герой чистым гением…

Скажи ты при встрече Илье Сергеевичу, пусть уж сильно-то не обижается. Что его так взорвало, право, не знаю. Жене моей звонил, засужу, орал, разорю, по миру пущу. Я-то знаю от юристов, что ни до какого суда дело дойти не сможет, если в художественном произведении не совпадают четыре позиции – имя, отчество, фамилия и профессия. В «Последней ступени» действует мастер художественной фотографии Кирилл Александрович Буренин, а не художник Илья Сергеевич Глазунов. Так что тут, как говорится, взятки гладки.

Может быть, его задело, что герой книги слишком уж яростный антикоммунист? А может, намек на связь с КГБ? Только вот нынче-то всем этим никого не удивишь, не шокируешь. Да и тертый он калач, Илья-то Сергеич, каких только ярлыков ему не клеили. Но Глазунов – фигура сложная, многогранная, на поверхности мы видим его как бы только наполовину, если не меньше. У него всегда были свои игры и с Кремлем, и с заграницей.

1997

Прощание

Как и обещал, о беседе с Владимиром Алексеевичем я поведал Глазунову. Разговор вышел натянутым, сумбурным. Илья Сергеевич говорил обиженно, раздраженно: «Он меня оклеветал. За что, не пойму?»

Когда я попытался смягчить его гнев, оборвал меня на полуслове: «Ладно, не лезь, мы сами разберемся».

Да, видно, не разобрались. Я понял это, когда спустя полгода Москва прощалась с Владимиром Солоухиным. Мне было до слез обидно, что два человека, которых я очень любил, единомышленники в своем подвижническом служении России, разошлись в разные стороны. Обидно, горестно, тяжко. Но судить кого-то из них я не имею права. Да и никто не имеет на этой грешной земле.

Отпевали Владимира Солоухина в храме Христа Спасителя, это была первая заупокойная служба в возрожденном святилище. Служил сам патриарх. Я стоял у гроба, смотрел на умиротворенное лицо любимого писателя, и страшная догадка молнией сверкнула в голове: «А не ускорила ли приближение смерти та самая „главная“ книга, над которой он бился больше тридцати лет? Может быть, эти последние полгода после ее выхода и тот тяжелый разрыв с другом мертвой тенью накрыли не только душу, но и плоть его? И он все думал, горевал, вспоминал, оглядывался, сомневался, верно ли поступил?»

На отпевании Солоухина была вся Москва.

Илью Глазунова никто не видел.

Эта драматическая история была опубликована в газете «Вечерний клуб», выходившей в Москве в 90-е годы. Вскоре в этой же газете журналист Лев Колодный напечатал отклик на мой материал.

Глава 20. Лев Колодный «Два пула соли на одну рану»

(Ответ на публикацию Феликса Медведева)

В статье «Два пуда соли съели они за 35 лет и…» Феликс Медведев в «Вечернем клубе» рассказал о разрыве Ильи Глазунова с Владимиром Солоухиным, произошедшем незадолго до смерти писателя. Причиной конфликта стала книга «Последняя ступень».

Оскорбленный Глазунов не захотел говорить с Медведевым на больную тему, убежденный, что бывший друг его оклеветал. Владимир Солоухин огорчился этой реакцией, поскольку считал, что поведал все, как было, «да и выведен-то мой герой чистым гением».

Как говорил Владимир Алексеевич: «Может быть, его задело, что герой книги слишком уж яростный антикоммунист. А может, намек на связь с КГБ».

Предстать яростным антикоммунистом Глазунов готов (и прежде, и теперь) пред кем угодно, это его не шокирует. Дело в другом. Хотел бы я знать, как бы отнесся писатель, если бы вышла в свет книга близкого ему человека, где бы утверждалось, что он не только служил солдатом кремлевского полка, секретарем Союза писателей, членом редколлегии «Литгазеты», но и… агентом Лубянки. Неужели бы это его не огорчило?

На выдуманной «связи с КГБ» я хотел бы подробно остановиться и дать свою «версию одного разрыва». Сделаю это, основываясь, в частности, на малоизвестных фактах и документах той самой организации, агентом которой писатель без всяких оснований представил своего героя, прототипом которого послужил знаменитый русский художник. Это необходимо, его честь и достоинство требуют опровержения.

Последняя ступень непорядочности

Статья «Два пуда соли…» проиллюстрирована репродукцией известного портрета Владимира Солоухина кисти Ильи Глазунова, датируемого 1984 годом. В тот год, когда писатель позировал другу, где-то в тайниках хранилась размноженная на машинке рукопись «Последней ступени». Она представлялась среди других его сочинений кому «церковью, венчающей деревенский пейзаж» (поэтессе Красновой), кому «водородной бомбой» (Леониду Леонову). Им и кое-кому еще автор доверительно дал почитать роман. А вот лучшему другу-наставнику сокровенное не показал. Почему? По ясной теперь причине. Не хотел давать в руки «агента КГБ» взрывоопасную рукопись. Но дружил с ним, ходил в Калашный, сиживал часами в гостеприимном доме, наконец, позировал…

Что подразумевает Солоухин под «последней ступенью», послужившей названию книги?..

Наставляя известного публициста, обращая в свою веру, фотохудожник внушает ему: «мы дураки», что воевали с Гитлером. Оказывается, четыре года боролись не с оккупантами, лютыми врагами, пытавшимися превратить русских в рабов. Нет, «…нас гнали в огонь против железных рыцарей, идущих нас же, дураков, вызволять из беды». Мог ли такое сказать прототип – «блокадник», на глазах которого от голода и холода мучительно погибли отец, мать, бабушка?

Это лишь одна ступень лестницы познания, на которую Солоухин поднялся при помощи друга. Восходя по ней, он из атеиста превращается в христианина, из коммуниста – в монархиста с билетом члена КПСС, из интернационалиста в – юдофоба, начавшего считать евреев среди друзей и членов московских творческих союзов. Наша Победа представляется победой… гнусных евреев: «Они победили, как всегда, чужими руками и чужой кровью, главным образом опять же российской». Надо ли это опровергать?

На самой «последней ступени», давшей название книге, не только говорят о судьбе России, Боге, монархии, но и борются с режимом под лозунгом «Кровь и ненависть!». И в тот самый кульминационный момент, когда Солоухин намерен выполнить задание друга – «создать цепь, звено к звену», чтобы противостоять коммунизму, он узнает поразившую его весть: наставник-то – агент КГБ! И провокатор, подставляющий писателя под удар. Его отводят из-под этого удара служители церкви, проинформированные некими «хорошими людьми».

– Да нет! Да как же? Не может быть!

– Может, Владимир Алексеевич, все может быть. К сожалению, так и есть…

Какой это «намек на связь с КГБ»?! Да тут открытым текстом сказано: герой книги черный человек, бежать следует от него подальше.

Но Владимир Алексеевич, поставив точку в романе, не убегает, поверив доброжелателям в 1976 году. Он явился к нему на день рождения весной 1995 года, чему я был свидетель, благодарил за дружбу, без которой, оказывается, не было бы его знаменитых «Черных досок», «Писем из Русского музея». И в это самое время тайком от Глазунова готовил к выходу в свет «Последнюю ступень»! Как это понять?

Я как биограф, автор выходящей в свет книги «Любовь и ненависть Ильи Глазунова», утверждаю: на эту последнюю «чекистскую» ступень, как и на антисемитскую ступень, Владимир Солоухин поднялся самостоятельно, идейно созрел без помощи бывшего друга и его покойной жены. Им он клянется в вечной преданности в финале «исповедального романа».

Да, два пуда соли съели вместе за 35 лет дружбы писатель и художник, как подсчитал Феликс Медведев. Эти-то самые два пуда и насыпал Владимир Алексеевич на старую рану Ильи Сергеевича.

Дружная кампания клеветы

Солоухин не первый, кто наклеил на лоб друга ярлык чекиста, загримировав его в романе под «фотохудожника Буренина». В том самом 1976 году, когда он сочинял роман, Глазунов переживал драму. Он боролся в западногерманском суде против издательства, опубликовавшего в переводе с английского книгу американца Джона Баррона «КГБ». В ней-то впервые публично и утверждалось: Глазунов – агент КГБ. Она вышла в ФРГ, когда там с триумфом проходили выставки художника, когда его принимали в домах первых лиц Западной Германии, когда ему позировала жена Вилли Брандта. Вот тогда германские газеты, основываясь на утверждении Джона Баррона, начали шумную кампанию против триумфатора и принимавшего его лидера социал-демократов.

В кампанию втягиваются наши диссиденты, жившие в Западной Европе. Они публикуют против художника гневное открытое письмо, перепечатанное газетами. В эфире имя Глазунова склоняется «Голосом Америки» и «Свободой». Как же, ведь под письмом стоят подписи известных бывших деятелей культуры СССР. Вот их имена – Галич, Гладилин, Коржавин, Максимов, Некрасов, Шемякин… В суд поступает заявление искусствоведа Голомштока, признанного за границей эксперта по тоталитарному искусству, где тот пытается доказать то, о чем вкратце помянул автор «КГБ».

Вот со сколькими противниками пришлось бороться одному Глазунову. Родное государство не поддержало. Посол СССР в ФРГ умыл руки, настойчиво советовал, в сущности, приказывал не затевать процесс. Художник оказался одним воином в поле, где так много насчитывалось противников. Буржуазный суд впервые не только принял иск советского гражданина, но и полностью его оправдал, обязав вымарать из «КГБ» компрометирующие строчки. Что и было сделано. Скандал погас. Но дым от того давнего пожара по сей день тянется по Москве, что доказывает выход в свет «Последней ступени».

Диссиденты, подписавшие письмо, друзьями Глазунова никогда не были, а Солоухин был. Баррон и Голомшток не знали обстоятельств жизни художника, недоумевали, почему его выпускают в Париж и Рим, куда инакомыслящим дорога была наглухо закрыта. Они находили этому факту объяснение в несуществовавших «связях с КГБ».

Солоухин в отличие от них хорошо знал, какие мучения пережил на пути к признанию Илья Глазунов, как и при каких

обстоятельствах выезжал за границу по приглашению глав правительств и государств, известных мастеров культуры. Знал, но, как диссиденты, заподозрил в «связях»!

Никому из советских живописцев не доводилось писать портреты Патриарха всея Руси и Папы Римского, первых лиц Франции, Западной Германии, королей Испании, Швеции, великого князя Люксембурга, президентов Италии, Финляндии, Чили, премьеров Индии, Дании, Кубы, генерального секретаря ООН, послов многих стран, великих артистов и писателей. Кто еще открыл столько выставок в столицах Западной Европы? Кто десять раз выставлялся в Манежах Москвы и Питера? Причиной всему этому ТАЛАНТ Глазунова, а не мифические «связи с КГБ».

КГБ «сигнализирует»

Хочу представить читателям два документа Лубянки, которые опровергают домыслы диссидентов и бывшего друга. Оба составлены искусствоведами в штатском, подписаны шефами КГБ – здравствующим Семичастным и покойным Андроповым.

Первое письмо появилось после закрытия летом 1964 года выставки в московском Манеже, последовавшего за публикацией письма-доноса членов партбюро МОСХа в «Вечерней Москве». В тексте, адресованном инстанциям, выражалась резкая критика картин Глазунова. Они характеризовались антикоммунистическими, клерикальными, ведшими народ не туда, куда звала партия.

Выставку немедленно закрыли. От чекистов потребовали в ЦК справку о случившемся. Они ее оперативно сочинили. Вот текст:

«Секретно.

Комитет госбезопасности ЦК КПСС при Совете Министров СССР 20 июня 1964 г. № 1467-с, г. Москва.

В Центральном выставочном зале с 15 по 20 июня действовала организованная Министерством культуры СССР выставка произведений художника И. Глазунова.

Как известно, выставка проводилась, минуя Московское отделение Союза художников, которое рассматривает работы И. Глазунова не отвечающими современным идейно-художественным требованиям.

Используя недозволенные приемы саморекламы, Глазунов способствовал созданию обстановки определенной нервозности и ажиотажа на выставке. Несмотря на то, что отдел изобразительных искусств разрешил отпечатать лишь 300 экземпляров афиши, Глазунов добился в типографии „Красное знамя“ изготовления 1500 экземпляров, которые вместе со своими почитателями сам расклеивал в городе. В разговоре с иностранцами Глазунов похвалялся, как в этих целях он разбивал Москву на квадраты, обращая особое внимание на места, где живут знакомые иностранцы. Некоторых иностранцев Глазунов оповестил заранее и пригласил их посетить выставку вместе с родственниками и близкими.

В день открытия выставки, когда были сняты с экспозиции две картины, Глазунов заявил, что „забрали лучшие экземпляры“.

Среди части посетителей выставки распространен слух, что Глазунов является „мучеником“, „борцом за правду“, которого не признают в МОСХе. Этому способствовало поведение самого

Глазунова на выставке, который нередко обращался к зрителям с жалобой, что он-де влачит жалкое материальное состояние, что его не признают.

Выставку ежедневно посещало более пяти тысяч человек.

В книге отзывов имеется ряд восторженных откликов о Глазунове и отрицательных высказываний по адресу художников-реалистов.

Например:

„Выставка – это удар по нашим художникам-иезуитам…“

„МОСХ и Союз художников СССР дают трещину…“

„Глазунов – это Паганини в живописи…“

„Здесь Русь, здесь русским духом пахнет…“ и т. п.

19 июня намечалось обсуждение творчества Глазунова. Министерство культуры отпечатало и разослало специальные пригласительные билеты, однако к моменту начала обсуждения посетители и, в основном молодежь, поклонники творчества Глазунова отказались покинуть зал и, усевшись на полу, криками в течение нескольких часов требовали открытого обсуждения. Обсуждение было отменено.

Ряд иностранных корреспондентов отправили за границу тенденциозные сообщения о выставке И. Глазунова.

Председатель Комитета Госбезопасности

В. Семичастный».

Мог ли человек, за которым, как явствует из этой некогда секретной бумаги, велось наружное наблюдение, чьи разговоры фиксировались следовавшими по его пятам агентами Лубянки, быть тем, кем его представляет писатель вслед за автором книги «КГБ»?

О настроениях художника Глазунова

Второе письмо датируется как раз 1976 годом, когда Солоухин сочинял роман, когда происходил процесс в Гамбурге.

К тому времени мнимый агент прославился не только портретами премьеров и президентов разных стран, которые выполнял по их просьбе. Вслед за королями члены Политбюро начали заказывать свои портреты. Почин сделал Брежнев. За генсеком позировали премьер Косыгин, его первый зам. Мазуров, шеф МИДа Громыко, серый кардинал Суслов, шеф МВД Щелоков… Да, вот с ними был в связи Глазунов как художник, использовал эти контакты для спасения старой Москвы, создания общества охраны памятников, Музея декоративно-прикладного искусства, мастерской портрета. Низкий поклон ему за это.

Вот текст, подписанный Андроповым.

«Секретно.

СССР Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР ЦК КПСС

О настроениях художника Глазунова И. С. и отношении к нему творческой общественности.

С 1957 года в Москве работает художник Глазунов И. С, по-разному зарекомендовавший себя в различных слоях творческой общественности. С одной стороны, вокруг Глазунова сложился круг лиц, который его поддерживает, видя в нем одаренного художника, с другой – его считают абсолютной бездарностью, человеком, возрождающим мещанский вкус в изобразительном искусстве.

Вместе с тем Глазунов на протяжении многих лет регулярно приглашается на Запад видными общественными и государственными деятелями, которые заказывают ему свои портреты. Слава Глазунова как портретиста достаточно велика. Он рисовал президента Финляндии Кекконена, королей Швеции и Лаоса, Индиру Ганди, Альенде, Корвалана и многих других. В ряде государств прошли его выставки, о которых были положительные отзывы в зарубежной прессе. По поручению советских организаций он выезжал во Вьетнам и Чили. Сделанный там цикл картин демонстрировался на специальных выставках.

Такое положение Глазунова, когда его охотно поддерживают за границей и настороженно принимают в среде советских художников, создает определенные трудности в формировании его как художника и, что еще сложнее, его мировоззрения.

Глазунов – человек без достаточно четкой политической позиции, есть, безусловно, изъяны и в его творчестве. Чаще всего он выступает как русофил, нередко скатываясь к откровенно антисемитским настроениям. Сумбурность его политических взглядов иногда не только настораживает, но и отталкивает. Его дерзкий характер, элементы зазнайства также не способствуют установлению нормальных отношений в творческой среде.

Однако отталкивать Глазунова в силу этого вряд ли целесообразно.

Демонстративное непризнание его Союзом художников углубляет в Глазунове отрицательное и может привести к нежелательным последствиям, если иметь в виду, что представители Запада не только его рекламируют, но и пытаются влиять, в частности, склоняя к выезду из Советского Союза.

В силу изложенного представляется необходимым внимательно рассмотреть обстановку вокруг этого художника. Может быть, было бы целесообразным привлечь его к какому-то общественному делу, в частности, к созданию в Москве музея русской мебели, чего он и его окружение настойчиво добиваются. Просим рассмотреть.

Председатель Комитета госбезопасности Андропов».

Не буду комментировать и опровергать характеристику, данную чекистами, где речь идет о русофильстве и антисемитизме. Скажу лишь: из письма явствует, не стал бы апеллировать Юрий Владимирович в ЦК, сам бы сумел приструнить негласного сотрудника, будь им неуправляемый Глазунов, «без достаточно четкой политической позиции».

Но и в этом ошибались на Лубянке. Она у него была, позиция, и формулировалась в словах: «Русский тот, кто любит Россию!» По этой формуле строит он свои отношения. Исходя из нее, стоял у колыбели еврейского театра на Таганке (имеется в виду Камерный еврейский музыкальный театр, который располагался в помещении бывшего кинотеатра «Таганский». – Ф. М.), помог получить здание, оформил первый спектакль Юрия Шерлинга, ставшего настоящим другом.

И последнее. Феликс Медведев пишет с упреком: на похоронах писателя была вся Москва, а Илью Глазунова никто не заметил. Да, не был он у гроба, но не потому что «не разобрался» с бывшим другом. Художник, как он мне сказал, пришел бы проститься в храм Христа. Не смог он этого сделать только потому, что болел.

Сентябрь 1997

Глава 21. Игорь Кио: «Я знаю все секреты Копперфилда»

Самыми известными в нашей стране циркачами считаются Карандаш (М. Румянцев), Олег Попов, Эмиль Кио, Юрий Никулин, Леонид Енгибаров (не успевший раскрыться в полную силу), «кошатник» Юрий Куклачев и народный артист, прославленный мастер иллюзионистского жанра, наследник громкой цирковой фамилии Игорь Эмильевич Кио.

– Два года назад умер Юрий Никулин. Как, по-вашему, ощущается его отсутствие?

– Вы знаете, с его уходом люди стали плохо посещать цирк. Несмотря на то, что он много лет не работал как артист цирка, зрители шли на Никулина. Его аура была огромна: уважаем, любим, авторитетен. Если бы не Юрий Владимирович, Цирк на Цветном бульваре еще строился бы и строился. Это он уговорил Рыжкова, тогдашнего премьера, помочь в важном для столичной культуры деле. И финны возвели новое здание за год и восемь месяцев, а наши сносили четыре года.

– Как много зависит от одного человека…

– Да, от таких, как Никулин, много зависит. Он умел ладить с людьми, был любим большевиками, демократами, входил в любые инстанции. Человек с юмором, он говорил, что лучшие времена пережил при Андропове. Он просил секретаршу соединить его с каким-нибудь министром. Та звонила, представлялась секретарем Юрия Владимировича, и через секунду Никулина соединяли. Какой-нибудь Петр Семенович, дрожа, вставал с кресла, а всесоюзно любимый шутник осаживал: «Это Юрий Владимирович Никулин из цирка…» И излагал суть просьбы.

– А что все-таки произошло с другим легендарным циркачом – Олегом Поповым, который исчез из нашей жизни много лет тому назад?

– Если Никулин получил широкую известность благодаря кино, то удивительная судьба Попова складывалась иначе. Ему сильно подфартило, когда он был еще выпускником циркового училища: клоун Берман по каким-то там мотивам отказался ехать на гастроли во Францию. И тогда юного, еще не оперившегося артиста включили в труппу, и он имел за границей фантастический успех. На приеме у бельгийской королевы находчивый выдумщик выпил воду из вазы, в которой королева

мыла руки. Это показалось Ее Величеству такой остроумной шуткой, что она назвала Попова солнечным клоуном. И с тех пор этот титул приклеился к Попову.

Попов стал, без сомнения, самым ярким русским клоуном после легендарного Румянцева – Карандаша (многие наши клоуны были последователями Чаплина) и самым знаменитым русским цирковым артистом в мире. Другое дело – возраст не красит человека. И клоуна в частности. Вот Никулин мог бы работать на сцене до ста лет. А у Попова был образ молодого, лихого, бесшабашного лицедея. Я не видел Олега много лет, он живет нынче в Германии и, наверное, уже не тот, каким мы его помним.

– Ну а все-таки, почему он в Германии? Почему так много слухов о его судьбе?

– Есть несколько к этому предпосылок. Попов был очень богатым человеком. Еще будучи студентом, получая 250 рублей, 125 он всегда откладывал – то ли клал на книжку, то ли зарывал в кубышку, не знаю. И за свою творческую карьеру скопил немалые деньги. А когда случилась обвальная реформа, сбережения превратились в ничто. И он очень переживал. Во-вторых, его крепко обидел Никулин – не дал ему арену для празднования шестидесятилетия.

– Любопытно почему? Отношения не ладились?

– Да, они не всегда были ровными. Юрий Владимирович вообще был непростым человеком. Он отказал и мне в праздновании на Цветном столетия моего отца. А мотивы могли быть любыми, подчас бредовыми: ремонт, ожидание каких-нибудь заморских гостей.

– И Попов решил попытать счастья в Европе?

– Сначала он поехал по кратковременному контракту, который потом продлил. Германия тогда еще на него ломилась. А когда в Москве умерла его жена, он женился вроде бы на богатой немке, которая, как ни странно, стала работать с ним на манеже. Своими будто бы руками Попов построил дом. Но работает он под флагом российского артиста.

– Но к управлению Госцирка, которое, как я слышал, давно уже дышит на ладан, он отношения уже не имеет?

– Видите ли, всю жизнь цирк приносил государству доход. А сейчас он у государства на дотации. Хорошие артисты ушли из-под опеки этого управления, иные же разъехались по разным странам. И что же? Один наш молодой артист, устроившись в Канаде, по слухам, через два года купил дачу Сильвестра Сталлоне.

– А каковы ваши личные и творческие дела?

– У меня самостоятельное творческое объединение «Школа иллюзиона Игоря Кио». Сказать, что дела идут отлично, не могу. Не сравнить с прежними временами, когда я, что называется, одной левой делал по 150 концертов, а иногда аж 500. Правда, недавно в Екатеринбурге я сделал 30 аншлагов. По нынешним временам это неплохо.

– Ваш отец, Эмиль Теодорович Кио, был, несомненно, великим иллюзионистом. Как я понимаю, многие его трюки повторить уже нельзя?

– Почему нельзя повторить? Большинство фокусников только тем и занимаются, что повторяют проделанное до них. Но мой отец говорил, что главное для него – не что показывать, а как. Многое зависит от индивидуальности. Если артист по-своему интерпретирует номер, то выступление смотрится совершенно по-другому. Бывает, когда два артиста показывают один и тот же номер. В исполнении одного вы ахаете-охаете, ломаете голову, как же так можно, а в исполнении другого – вам скучно и все понятно. Из отцовских номеров есть два-три, например «сожжение» женщины, которые я, повторяя, делаю по-иному.

– А техника имеет в иллюзионе какое-то значение, ведь прогресс и здесь не остановить?

– Техника не играет никакой роли. В тех случаях, когда мои коллеги пытались создавать номера на технических принципах, это не вызывало никакого интереса. Всем было видно, что это техника.

– А как тогда объяснить секрет успеха Дэвида Копперфилда? Все ли у него натурально, на чистом сливочном масле или кругом подстава, обман зрения, ловкость рук и достижения цирковой науки?

– Прежде всего, Копперфилд – явление телевизионное. Он – единственный артист в своем жанре, создавший себе имя благодаря ТВ. Сначала я видел его пленки, а позже посмотрел вживую на концерте в Кремле. У него практически нет шоу, а четыре помощника выполняют функции партнеров, и не более того. И если бы он не был таким хорошим артистом, а он прекрасный артист, то ему пришлось бы туго. Копперфилд подтверждает мнение моего отца, что иллюзионист должен быть хорошим артистом. Он вытягивает программу не за счет трюков, а за счет артистизма.

– Когда вы впервые на кассете увидели его работу, вы «раскололи» премудрости известного мага или он вас тоже очаровал своим «человеческим фактором»?

– На кассете я понял 90 процентов его секретов, а вживую остальные 10.

– Тогда можете мне поведать, как же все-таки Дэвид летает?

– Неэтично раскрывать тонкости работы моих коллег. Люди летали всю жизнь. У Копперфилда преимущество – он летает на освещенной сцене. Как вы понимаете, раньше такое было невозможно.

– Уже много лет, с тех пор, как я прочитал биографию великого американского мага Гудини, мне не дает покоя вопрос: как же мог этот чудодей, будучи связанным по рукам и ногам веревками, замками и цепями и брошенным в воду Гудзона, через пять минут выйти из глубины освобожденным от пут?

– Гудини умер в 1926 году. Не осталось ни одного человека, который бы видел все это. То, что вам не дает покоя, я проделывал несколько лет назад перед миллионами телезрителей в передаче «До и после полуночи». Меня сажали в мешок, крепко завязывали и в сундуке бросали с вертолета в прорубь Останкинского пруда. А из воды я выезжал на автомобиле. «Известинец» Мэлор Стуруа написал тогда статью, в которой сравнил меня с Гудини. Все дело в том, что и сейчас, и сто лет назад принципы и секреты трюков иллюзиониста одни и те же. Другое дело, что с годами «проделки» магов обрастают легендами. Мне не раз рассказывали, что якобы отец или я выполняли на сцене какие-то трюки, но ничего подобного мы не проделывали.

– Люди хотят живого чуда. Это украшает жизнь, делает ее ярче. А вы слышали, что к Христову юбилею в Израиле на озере Кенерет будет повторено одно из самых впечатляющих чудес Иисуса из Назарета – его хождение по воде, аки по суху?

– И, наверное, этот аттракцион принесет хороший доход его придумщику. Но ничего удивительного здесь нет. Все в пределах возможного. Главное – фантазия и труд…

– А то, что вытворял Вольф Мессинг, имеет отношение к иллюзиону? Ну, например, как он мог через охрану проникнуть в кабинет Сталина?

– Это выдумка, бред. Мессинг, конечно, был телепатом, но не до такой степени. Он был артистом в не меньшей мере, чем иллюзионистом. Играл этакого Эйнштейна, сумасшедшего, лохматого. Он входил в зал – и зрители уже были наэлектризованы, они дрожали, готовясь к тому, что Мессинг будет над ними издеваться. И одно это позволяло ему проделывать с публикой все, что угодно.

– Скажите, как ведут себя сильные мира сего, посещая на досуге «легкомысленные» цирковые представления? Приходят, садятся в первый ряд и тупо озирают окрестности или же хохочут, ведут себя по-людски?

– В первый ряд никто никогда не садится. Только в правительственную ложу.

– В целях безопасности?

– Если в цирке не было правительственной ложи, член Политбюро, например, не мог прийти на представление. Очень любил посещать цирк Брежнев. Курьезный случай произошел с Хрущевым. Дрессировщица тигров Маргарита Назарова работала в паре с мужем Константиновским, который в одном из номеров, по сценарию, должен был «защитить» укротительницу от нападения зверя пистолетом с хлопушкой. И вот идет представление. Хрущев сидит в ложе довольный, наблюдает за действием, а Константиновский в нужный момент вытаскивает из пиджака «пушку», и в ту же секунду возникшие из-под земли дюжие охранники первого секретаря сграбастали его в охапку и унесли за сцену. Три часа потом бедный «спаситель» своей жены объяснялся, в кого же все-таки он намеревался палить.

– Да, оздоровляющий душу, любимый народом цирк служил и советским господам за Кремлевский стеной. Но было и по-иному: по приказу сверху рушились карьеры талантливых людей. В свое время нашумела история с арестом директора Союзгосцирка Калеватова. Расскажите о ней.

– История ужасная. Калеватов был единственной личностью из цирковой среды, назначенной гендиректором после всех полковников и большевиков. Его лозунг был прост: пусть артисты больше зарабатывают, и нам с ним легко дышалось. А директором цирка был Миляев, когда-то женатый на дочери Брежнева.

И вознамерилось ему занять тепленькое кресло. А как? Только интригами, близостью к верхам. К самому генсеку он был не вхож, но у Галины Брежневой и Миляева была дочь, любимая внучка Леонида Ильича. И вот, как говорят, через Гришина, тогдашнего секретаря МГК КПСС, заинтересованные лица стали копать под честнейшего и добрейшего Анатолия Андреевича. В день 60-летия директора Союзгосцирка любившие его подчиненные, известные артисты без всяких задних мыслей преподнесли ему подарки. И сразу же домой к Калеватову нагрянула Петровка. Итог – за взятки впаяли 12 лет тюрьмы. Устроили показушный процесс с приглашением иностранных корреспондентов. Сроки получили и другие близкие к Калеватову люди. А что же Миляев? А то, что есть на свете Бог: Брежнев умер, и соискатель не успел сменить титул. Все участники этой жуткой истории уже умерли. И в памяти людей цирка остался светлый образ хорошего человека, ставшего жертвой гнусных нравов эпохи.

– Кстати, вы тоже, так уж вышло, отметились в мужьях у Галины Леонидовны, но расспрашивать об этом вашем браке я не буду и отсылаю всех заинтересовавшихся к многочисленным публикациям в СМИ. Только один вопрос: дочь генсека, на ваш взгляд, фигура трагическая или комическая?

– Конечно, трагическая. Я знал ее совсем с другой стороны и помню, что более простого, душевного, демократичного человека не было вообще. Но льстецы, подхалимы, льнувшие к ней со всех сторон, испортили Галину Леонидовну.

– И все-таки, извините, еще один вопрос на жгучую тему. Есть легенда, что будто бы известную артистку Зою Федорову убили из-за того, что дочь Брежнева пожелала иметь редкое кольцо с ее руки.

– Бред. Думаю, что бред. Ей было доступно приобрести любой бриллиант. Зачем же идти на убийство человека?!

Ноябрь 1999

Игорь Кио, продолжатель дела своего отца, знаменитого иллюзиониста 40—60-х годов Эмиля Кио, умер 30 августа 2006 года на 63-м году жизни.

Глава 22. «Левак» с Гафтом

В 80-е годы в свободное от журналистских и библиофильских дел время я организовывал творческие встречи сначала в столице и вокруг, а потом и по всей стране. Конечно же, часть моих заработков перепадала семье, но основная доля тратилась на приобретение редких изданий для коллекции «Первая книга поэта». Что греха таить, эти вояжи становились неплохим приработком и для деятелей культуры, которых в те годы Москонцерт держал на голодном пайке.

И вот как-то раз в субботний вечер на «жигулях» моего огоньковского коллеги Юрия Осипова, которого я уговорил на «левый» извоз, мы подрулили к служебному входу театра «Современник» на Чистых прудах. Мне очень повезло: стать членом небольшой концертной бригады согласился сам Валентин Гафт. После репетиции Валентин Иосифович вышел к нам усталым, голодным и мрачным. «Ну куда я поеду, – начал отбояриваться он. – Мне к десяти дома надо быть, я обещал…» «Будете! – заверил я его. – Ходу туда от силы полтора часа. Начало в семь, с вас начнем, сразу с машиной отправим вас обратно». Конечно, я лукавил: вечер начинался в восемь, добираться предстояло два с липшим часа, и никакая машина оттуда персонально Гафту не светила.

Объединенными с Юрой усилиями нам удалось сломить сопротивление мэтра, взывая к тому, что он – гвоздь программы, без которого нас всех попрут из подмосковного клуба, и дети поэтессы-барда Вероники Долиной, а она тоже была с нами, останутся голодными. Короче, сердобольный Гафт уселся-таки на заднее сиденье рядом с хрупкой поэтессой, и мы рванули по заснеженному шоссе…

Через час дремавший Гафт очнулся и начал нервно крутить головой. «Ну скоро? Где мы?» – нетерпеливо вопросил он. «Подъезжаем, подъезжаем», – успокоил я его, хотя было ясно, что мы слегка заблудились… Только спустя час в свете фар вырос дорожный указатель: «Киржач. 30 км». Да, мы ехали, чтобы дать концерт любителям искусств небольшого районного центра Владимирской области. Кстати, эти места известны трагической страницей в истории нашей космонавтики: именно здесь в марте 1968 года погиб Юрий Гагарин. Содействовал же приобщению своих земляков к отечественной культуре директор киржачского Дома культуры, энтузиаст-подвижник и просто добрый, открытый парень Валерий Карамин.

Через какое-то время Валентин Иосифович попросил на

минуту остановиться и вышел из машины. Он углубился в придорожный лесок, и мы прождали его минут 15, после чего вдвоем с Юрой отправились на поиски. В кромешной тьме, по колено в снегу Гафт в распахнутой дубленке негнущимися пальцами, тихо матерясь, безуспешно пытался застегнуть заевшую «молнию» на брюках. Мы бросились помогать, Гафт вяло нас посылал… Так и не справившись с «молнией», окоченевшие, вернулись мы к машине, где невозмутимо шуршавшая в салоне листками текстов Вероника Долина под общие шуточки выдала пострадавшему артисту английскую булавку, которой он кое-как зашпилил ширинку. «Я не могу в таком виде выступать. Вы что, посмешище хотите из меня сделать?» – возмущался Гафт. «Возьмем в ДК еще две булавки, и я вам свитер к карманам брюк пришпилю, зрители ничего не заметят», – успокаивала его Вероника.

Отхлебнув с горя из припасенной мной в дорогу бутылки коньяка, Гафт немного повеселел. Остаток пути он развлекал нас байками о том, как сочиняет свои ехидные эпиграммы на товарищей по цеху и что при этом случается. «А обо мне сочините что-нибудь добренькое?» – кокетливо вставила Долина. «Обязательно, – пообещал захмелевший Гафт, обнимая ее за плечи. – Если обо мне что-нибудь грустненькое споете».

…На сцене ДК в Киржаче (конечно же, мы опоздали к назначенному часу) народный артист вышел в пришпиленном по бокам свитере. Но восторженно встретившая его публика, не чаявшая уже дождаться любимца, действительно ничего не заметила и долго не отпускала его со сцены. А потом был, как положено, гостеприимно накрытый в гостиничном ресторанчике стол с заливным, красной икрой и местной горилкой, от чего в одиннадцатом часу вечера никто из нас, конечно, не мог отказаться. Гафт периодически пробовал дозвониться по межгороду домой с директорского телефона, но получал неизменный ответ: «С Москвой временно нет связи». «Ох, подвели же вы меня, черти, под монастырь, ох, подвели! – безнадежно бормотал он, опрокидывая после очередного тоста хозяев новую рюмку. – Дома ведь с ума сходят…» «Зато как обрадуются живым увидеть», – успокоил я Валентина Иосифовича. После обильного киржачского угощения, получив причитающийся за выступление гонорар, усталые, хмельные и довольные мы уселись в машину и двинулись в обратный путь. В три часа ночи любимый артист, проспавший крепким сном всю долгую дорогу домой, был доставлен к дверям его квартиры на Кутузовском проспекте…

После этой трагикомической истории Валентин Иосифович

Гафт, замечательный актер и тонкий человек, зла на меня не держал. Мы общались, выступали, он был у меня дома, я делал с ним интервью. Но… Однажды в час ночи раздался телефонный звонок, и я услышал разъяренный голос Гафта. Оказалось, что интервью, которое я сделал с ним для одной газеты и которое должно было выйти на следующий день, попало к нему в руки ночью. Заголовок был не тот, который он утвердил!!! А легковесно-оскорбительный, выражаясь современным сленгом, «желтый». Валентин Иосифович не дал мне сказать ни слова в оправдание и после нескольких резких фраз бросил трубку. Я не спал всю ночь, размышляя о случившемся. Кто и зачем в последнюю минуту перед подписанием текста в печать вторгся в него? На другой день, придя в редакцию, я узнал, что это санкционировал лично заместитель главного редактора для того, чтобы сделать более раскупаемым тираж, тем более что фотографию популярного актера вынесли на обложку. Я пытался потом объяснить Гафту, что ни в чем не виноват, но он, оскорбленный, не хотел меня слушать. Больше наши пути не пересекались, но я переживаю о случившемся до сих пор.

Вот то самое злополучное интервью с заголовком, утвержденным Валентином Иосифовичем.

«Не выношу похабщины в искусстве»

Я нашел его в кафе на Чистых прудах, рядом с его родным театром «Современник». Обслуга трепетно известила: «Да, Валентин Иосифович здесь, обедает. Просил быстро обслужить, как всегда, торопится».

Я безумно по нему соскучился, мы не общались целую эпоху. Прошлые обстоятельства суетного бытия нас нередко сводили вместе. Мне нравилось, что он звал меня Фелей. В этом весь Гафт: свойский, чуткий, распахнутый, доверчивый, нежный.

На другой день в маленькой комнатке театра я беседовал с одним из самых ярких и любимых актеров нашего времени. С начала своей карьеры в 1956 году с небольшой ролью Марселя Руже в фильме Ромма «Убийство на улице Данте» он сыграл более чем в ста кинолентах, телепостановках и театральных спектаклях, став воистину Народным артистом и Советского Союза, и России.

– Все нынче рвутся к Гафту: журналисты, режиссеры, поклонники и поклонницы. А, между тем, утверждают, что вы любите одиночество. Как совмещается, Валентин Иосифович?

– Никак не совмещается. На днях в одной газете читаю откровения женщины, которую я видел-то один раз в жизни и которая уже не раз писала обо мне несусветную чушь. Это бывшая жена писателя Жуховицкого, которая когда-то, отыскав меня, стала жаловаться, как плохо живется ей с мужем и что я ей очень нравлюсь. Она пришла тогда ко мне, женатому человеку, как журналистка, и я не знал, о чем же с ней говорить. И вот героиня не моего романа инкриминирует мне публично чуть ли не группен-секс. А через две недели в той же газете, которая, видимо, держится на такого рода показаниях, была выдана сенсация о том, что Гафт бросил семью и женился на актрисе, которая тоже бросила мужа и находится от меня в декрете. На все это я даже не хочу реагировать и только задаю вопрос: как газета может такое печатать?

Вот и попробуй побудь в одиночестве. И, если честно, мне с журналистами не хочется встречаться. А газеты не хочется брать в руки.

– Тем не менее, если мы с этого начали, удовлетворите обывательское любопытство определенной части наших читателей, так сказать, из первых рук: вы не муж актрисы Ольги Остроумовой и папой еще одного ребенка вас называть рано?

– К сожалению. Но добавлю: даже если это и правда, то я подобные деяния журналистов квалифицирую как вмешательство в личную жизнь, карающееся законом. И я прибегну к нему для

защиты.

Что касается Оли, то я люблю ее и надеюсь, что она тоже ко мне очень хорошо относится. Может быть, мы объединим наши небольшие жилплощади и будем жить вместе. А сейчас я, конечно же, бываю у Оли, у ее детей, которых тоже люблю (хочу заметить, что через какое-то время Ольга Остроумова и впрямь стала супругой нашего героя. – Ф. М.).

Гафт был возбужден, нервозен. Мы встретились после репетиции, и он еще не остыл, не отошел от роли.

– И все-таки вас прельщает одиночество?

– Тоже легенда. Я же не могу буквальным образом сторониться людей, прятаться от них в гримуборной. Я много играю, много занят, а это значит, я всегда рядом с партнерами, рядом со зрителем, которого, кстати, бесконечно уважаю. И считаю, что я без зрителя – никто. Но всякие сборища, куда тебя непрерывно зовут и тащат, если честно, надоели. Да, идешь, соглашаешься, даешь слабину. Тебе кажется, чуть побудешь, послушаешь, скажешь пару добрых слов – и свободен. Так нет, зовут за кулисы, где надо еще что-то сделать, выступить, выпить – быть свадебным генералом. Я не против ни фотографирования на память, ни автографов – я уважаю людей, не хочу их обижать, я просто констатирую: побыть с самим собой, отдохнуть от суеты не удается. Впрочем, это издержки профессии актера. С другой стороны, пребывать в пустоте тоже не хочу.

– Такого ощущения, по-видимому, нет, когда вы приезжаете, скажем, в Нью-Йорк. Ведь там вас, наверное, знает в основном только русскоязычный зритель. Однажды в аэропорту имени Кеннеди я оказался невольным свидетелем чудовищного инцидента с Иннокентием Смоктуновским, которого буквальным образом арестовали за какое-то ничтожное нарушение таможенного режима. Великий наш актер пробыл в кутузке несколько часов, и ни один из служащих аэропорта не реагировал на возмущение наших соотечественников. Для них имя Смоктуновского ничего не значило. И это было ужасно.

– В общем, верно. Американцы плохо знают наших актеров. Так что любой нашей знаменитости нельзя преувеличивать свое мировое значение. Все относительно. И пусть сверхпопулярный у нас артист не мнит, что его слава всенародна. Другое дело, актеру важно всегда сохранять свое лицо. Особенно нынче, когда плодятся сплетни и родилась желтая пресса. Главное – продолжать выражать себя на сцене, в кино. Ведь, приезжая на Запад, мы привозим не себя, а привозим свой театр. Свое искусство, Москву, привозим Россию.

– А вы, в свою очередь, не ощущаете себя в роли

среднестатистического обывателя, которому хочется, скажем, потрогать Шварценеггера или прикоснуться к Мадонне? Есть ли у вас кумиры в западном искусстве среди великих суперстаров?

– Конечно, есть. И всех не перечислишь, уважаемых, любимых. Самое первое большое потрясение было, когда я учился на втором курсе Студии МХАТ, и к нам в Москву пожаловал знаменитый режиссер Питер Брук, привезший Шекспира. И тогда меня потряс Пол Скофилд. Я будто впервые со сцены услышал о человеческих проблемах и следил за героем, который попал в определенную человеческую ситуацию; Скофилд и его партнеры говорили обыкновенными голосами и были обыкновенными людьми, но я увидел настоящее искусство, актер играл великолепно…

Конечно, Голливуд – это фабрика звезд. Каждый год здесь зажигают новые. Но самое интересное, что эти звезды отличаются от наших только суммой вложенных в них денег. А играют они по той же самой системе Станиславского. И я могу сказать, что наши актеры – великий Михаил Ульянов, которого я безумно люблю, гениальные Иннокентий Смоктуновский, Олег Борисов, Женя Евстигнеев, Евгений Леонов, грандиозный Олег Даль, неповторимый, непревзойденный Евгений Лебедев, да у меня пальцев на хватит, чтобы всех перечислить, – так вот, разве они хуже Де Ниро, Хоффмана, Николсона, Буди Аллена? Их всех объединяет одно – великий талант. Только каждый идет к вершине своим путем. Почему детям нравятся картины со Шварценеггером? Потому что он играет прежде всего человека, в его фильмах справедливость и добро непременно побеждают зло. А фактически-то это наши сказки и про Садко, и про Царевну-лягушку… Просто там фантазии подкрепляются деньгами, которых у нас или нет, или мало. Да, я восхищаюсь и Стайгером, и Николсоном, и Дугласом, и многими другими. А женщины – от Мэрилин Монро до Ванессы Редгрейв и Софи Лорен? А каким потрясающим был Жерар Филип, в которого влюбился весь мир! Но скажите, чем лучше он нашего Алейникова или Крючкова с Бернесом, актеров с таким же обаянием?! Просто нас в свое время оторвали от западного искусства «железным занавесом», и мы ничего не видели, не знали, не могли сопоставить, а потом все сразу обрушилось, и теперь кажется, что у них все великие, а наши, свои, так себе…

– Кстати, насчет «занавеса», ведь вы тоже стали поздно выезжать, пребывая в роли невыездного. Я-то знаю, по какой причине, но, Валентин Иосифович, прошу вас, расскажите эту историю нашим читателям.

– О, боже, я уже забыл о тех перипетиях. Все они в прошлом

и, как говорится, быльем поросли. Первый раз меня не выпустили, кажется в конце 70-х годов, при Брежневе.

Это было время массового отъезда советских граждан за границу. «Современник» собрался на гастроли в Швецию и Норвегию. И вот пришла депеша из КГБ: «Гафта не выпускать». Как, почему? Не объясняют, только намеки, предположения.

Театру предложили сделать замену. Но Галина Борисовна Волчек, наш главный режиссер, наотрез отказалась: либо все, либо никто. И самолет улетел пустым. Росконцерт заплатил огромную, в десятки тысяч долларов, неустойку за срыв контракта. Второй эпизод произошел, когда я снимался на «Ленфильме», уже при Горбачеве. Несколько сцен со мной в фильме «Контракт века» должны были снимать во Франции. Оформился, и все вроде бы было в порядке. Но вдруг та же самая история. Меня буквально сняли с самолета. КГБэшный генерал был сам удивлен. Он сказал, что у меня все чисто, но выпускать нельзя, потому что кто-то очень высокий поставил запрет. Группа улетела. Потом парижскую сцену сняли… в туалетных комнатах новой крупной ленинградской гостиницы, которые были похожи на французские вестибюли.

Еще один эпизод. Снимаюсь в «Гараже» у Рязанова. Снята почти вся картина. И вот уважаемый мною Эльдар Александрович вызывает меня в кабинет, а на самом лица нет. «Что же вы, Валентин, делаете? Я накачиваю картину, такая она выходит острая, интересная, у вас прекрасная роль, а вы подаете заявление на отъезд. Понимаете, что будет с лентой?!» Я в трансе. «Что вы, – говорю Рязанову, – даже в мыслях нет такого…»

Я написал письмо Горбачеву и Чебрикову. Написал, а отправлять передумал, стыдно стало. Спустя много лет у художника Никаса Сафронова встречаю знаменитого тогда генерала Олега Калугина. Спрашиваю, не растолкует ли он, в чем дело, почему я был в запрете. Он и говорит: «Кто-то строчил на вас доносы, что вы хотели сбежать на Запад».

– Кто все-таки закладывал вас, сейчас-то известно?

– С большой долей вероятности могу предполагать, что моего выезда не хотел один человек из близкого окружения.

– Так вы и остались на родине, не бросив свой родной город… Вы ведь москвич? Где вы родились?

– В Сокольниках, в больнице имени Остроумова (хитро улыбается) в 35-м году. И Сокольники, конечно же, мое любимое место в Москве. Парк, аллеи, каток, Ширяево поле, стадион клуба «Спартак», за который я болею. Первые свидания, первые разочарования, друзья, все там…

– Наверняка и Чистые пруды родными стали: и театр здесь, и

уютные местечки отдохновения. Не так ли?

– Вы знаете, эти районы чем-то похожи. Какой красивый здесь бульвар, легендарный пруд. Прогуливаться одно наслаждение.

– *Скажите, визиты в кафе это что – отработка имиджа, или потусоваться, или просто перекусить, выпить чашку кофе? Кстати, кафе-то дорогое, по карману?*

– Фель, секрет прост, когда-то в этом помещении была самая простая столовка, где, кроме чая, бутербродов и сосисок, нечем было разжиться. Но во главе стоял, видимо, талантливый организатор, и он довольно быстро превратил дохлое место в весьма популярное. Здесь нынче можно встретить уважаемого актера, литератора, политика. Да, кафе вкусное и дорогое, но открою секрет – у меня тут большая скидка.

– *Как это, за какие-такие заслуги?*

– Именно за заслуги, ну, извини, как известному артисту (здесь даже моя подошва отпечатана золотом) и как одному из самых первых посетителей сего заведения. Вот и весь секрет. Правда, на выпивку, к сожалению, скидка не распространяется. Увы…

– *Творческий вопрос: много предложений на роли, да и пьес, наверное, море?*

– Сплошной ширпотреб. С трудом выбираю. Все однодневки. Да, есть сюжеты, в которых яркие, любопытные фабулы, но только внешне, внутри же ничего нет. Много похабщины, матерщины. Все, что было раньше под запретом, нынче разлилось вонючей канавой. И от этого никакой пользы. Я ненавижу мат в искусстве. Ведь мат это ощущение, а не слово. Я не ханжа, иногда позволяю себе ругаться, но когда приходится произносить мат по тексту, меня коробит. Как-то снял с полки подаренную книгу, сплошная матерщина, мне стало плохо, аж затошнило. Это чудовищно, мерзко.

– *А наше ТВ?*

– То же самое, закормили порнографией. И уже трудно отличить настоящее от пошлого. Нас затопили в море сексуальности, которое не имеет никакого отношения к жизни, несмотря на то, что появилась программа «Про это». Да, у Маяковского есть поэма «Про это». Значит, про любовь. Теперь же детально разбирается по миллиметрам, что происходит в первую, вторую, десятую секунду полового акта, то есть то, что всегда было тайной, становится прилюдным, раскрытым. У людей отбираются личные интимные ощущения, которые и словами-то нельзя определить. Что же будет дальше? Человек надеется, что есть ощущения, о которых никто не знает, кроме него. Ничего подобного. «Про это» все знают. Теряется смысл жизни, мы

загоняем себя в тупик.

– *Валентин Иосифович, пародии-то издаете, сам видел, продаются в магазинах…*

– В основном все старое. За последнее время только одна и родилась. Есть на «Эхе Москвы» критик по фамилии Карась. Как-то я посчитал, что она несправедливо отнеслась к моей роли в «Пигмалионе», дескать, Гафт не умеет любить и ему эту роль играть нельзя. А наш «Пигмалион» давно уже дефицитный спектакль, за границей имел огромный успех. Короче, вот эпиграмма: «Ты слишком клевом увлеклась, став в „Эхе“ выскочкой лихою, пока тебе везет, Карась, но дело кончится ухою». Мною движет не злость, поверьте, но эпиграмма – жанр с вызовом, с остротой. Как-то эта Карась сама подошла ко мне, и я увидел маленькую девочку, этакую принцессу на горошине, разве можно такую обижать, на нее и сердиться-то нельзя. И я сказал, что прощаю ее.

Я почувствовал, что Гафт устал. Ведь мы встретились после изнурительной репетиции. Да и наверняка голоден…

– *Ну что, в кафе, заморить червячка?*

– Пошли, умираю с голоду!

Пришли, разделись, сели за столик. Крайний слева, у стены. Подошел официант.

– Нам по 150.

Незаметненько свой диктофон я положил на край стола, за вазу с цветами.

– Ну что еще рассказать? Жизнь летит, как гоголевская бричка: то вверх на ухабе, то кубарем с горы…

И я такого понаслушался… Пока не кончилась пленка…

2001

Глава 23. Алексей Баталов: «Моя мама выиграла в карты квартиру»

Алексей Баталов – это целая энциклопедия. Событий, имен, трагедий. Вообще, истории театра и кино. Он снялся не в очень большом количестве лент, но зато каких! Их смотрела вся страна. От «Дела Румянцева» и «Летят журавли» до «Дамы с собачкой» и «Москва слезам не верит»…

У Алексея Владимировича Баталова – все титулы и звания, какие только может получить артист. Но главный, конечно, приз – пусть это звучит банально – всенародная любовь.

…Он только что из больницы. Не был во ВГИКе, где профессорствует уже много лет, больше месяца. Беспрестанно звонит телефон, дверь на кафедру все время приоткрывается. На носу экзамены. Говорили мы, постоянно прерываясь, беседа вышла интересная, но рваная, от одного факта жизни известнейшего актера перескакивали на другой. Интеллигент до мозга костей. Нам сегодня режет ухо: «Милый, милая…» Кажется, такие телячьи нежности – в прошлом. Но нет. В его устах эти архаизмы звучат естественно. И пока есть такие, как Баталов, – российское искусство и российская интеллигенция будут жить.

– Алексей Владимирович, известен ли вам такой факт: еще в девяностые годы, когда какой-то журнал написал о Баталове, несколько читателей задали вопрос: «А разве он еще жив?» Вас это не шокирует?

С Алексеем Баталовым

– На свете нет ничего однозначного, все имеет оборотную сторону. Главное – все узнать и понять вовремя. Благодаря Меньшову и его фильму «Москва слезам не верит», в котором я участвовал, мое имя было… реанимировано что ли. Слава Господу, кто-то обо мне вспомнил: жив курилка. Я не обижаюсь, ведь актер исчезает не со своей физической смертью, а когда он пропадает из поля зрения зрителя.

– Вы очень рано начали жить взрослой жизнью – чего стоит ваша женитьба, говорят, в очень раннем возрасте. Как это могло быть в коммунистически «нравственные» советские времена?

– Не совсем так. Да, я женился, может, и рановато, но уже учась в институте, мы давно дружили, и в чем-то это был брак патриархальный. А пресса приписала мне то, чего не было. Взрослая жизнь, действительно, началась рано, но виной этому война. И не дай бог нынешним поколениям того, что пережили мы. Во время эвакуации, когда мне было 15 лет, я дебютировал как актер. И там же, в театре, работал помощником рабочего по сцене.

– С кем только не сводила вас судьба! Если судить лишь по одному реестру – литературному, то вы, наверное, общались со всеми самыми знаменитыми писателями и поэтами. Разве что не застали Марину Цветаеву.

– И правда, малость разошлись. Марина Ивановна

эвакуировалась в Чистополь, какое-то время жила в Елабуге, где, как известно, самовольно ушла из жизни, и я в это время с родителями оказался в Чистополе. Я был пионером, а у Марины Ивановны сын Георгий тоже был пионерского возраста, и мы могли встретиться. Скажу вам поразительную и страшную деталь – Цветаева предлагала свои услуги в качестве посудомойки именно в том пионерском лагере, в котором я находился.

– Потрясающе!

– А вы знаете, мой актерский диплом – я окончил Школу-студию МХАТ – подписала Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. А это уже век XIX.

– Какое напутствие она дала вам при вручении театрального аттестата зрелости?

– Что-то такое классическое. Я помню, она приходила на спектакли, в которых играли моя тетя – знаменитая актриса Ольга Андровская, мой дядя – актер Виктор Станицын, мой отец – Владимир Баталов и моя мама – Нина Ольшевская. И они все бывали у нее по разным актерским делам. Для них, а уж для меня тем более, Ольга Леонардовна, жена Чехова, была легендой, живым памятником. Ведь Чехов умер, трудно вымолвить, в 1904 году. А с его женой, актрисой, мы общались «уже», или можно сказать «еще», в 40-е годы.

– Выходит, что ваша творческая биография обнимает целых три века.

– Выходит! То, почти библейское поколение людей, актеров, нам сегодня понять не только трудно, но и невозможно. Они словно из другого теста сотворены, для них Станиславский был богом, они были невероятно преданы ему и даже соревновались, кто лучше знает его биографию. Константина Сергеевича они звали уменьшительно-ласкательно КС.

– Ничего себе, я-то полагал, что такого рода аббревиатуры – ноу-хау Голливуда, американской прессы: ММ – Мэрилин Монро, ДФК – Джон Фицджеральд Кеннеди, ББ – Брижит Бардо, а Пугачева давно уже АБП, да и президент всего лишь ВВП. Выходит, что и тут по части лингвистики русские – впереди планеты всей. Я теряюсь, о чем вас расспрашивать, – вы жили внутри огромного культурного слоя, кипящего котла, в котором вываривалось вечное. Столько событий! Имен! Трагедий и взлетов! Я знаю, что Андровская дружила с Ангелиной Степановой, женой Александра Фадеева. Представляю, что творилось в культурной Москве, когда объявили о самоубийстве Фадеева.

– Да, Москва гудела, это событие было предметом разговоров долгое время. Интересовались предсмертным письмом, которое, конечно же, было сразу изъято.

– Точное содержание письма стало известно только во времена Горбачева.

– Да, Фадеев писал о многом: о Сталине, о погибших литераторах.

Моя семья ведь тоже пострадала. Мы жили в особом закрытом мире, мы умели говорить глазами, намеками, даже дыханием. И меня этому специально никто не учил, не науськивал. Я и без объяснений знал, что моя бабушка, главврач Владимирской больницы, никогда не была «врагом народа». И дедушка не был, и оба дяди не были. Все они сидели по 58-й статье, но, что бы мне ни пытались вдолбить в школе пионерские и комсомольские начальники, я никого из родни не предал. Один родственник похоронен в общей могиле во Владимире, второй остался на лесоповале под Кандалакшей… Бабушка умерла после войны, отсидев бог знает сколько лет за то, что была дворянкой, кем быть возбранялось…

– Алексей Владимирович, известно, какой фурор произвел на фестивале в Каннах в 58-м году фильм «Летят журавли». Татьяну Самойлову он вознес на мировой кинопьедестал. Но ведь вы тоже участвовали в фильме. Не обидно было, что не вы стали первым?

– Тут неточность. Не Самойлова получила «Золотую пальмовую ветвь», а вся картина Калатозова в целом. Татьяна Самойлова уже позже получила специально для нее отлитую пальмовую веточку. Причем эту награду ей вручали тайно, что называется, без свидетелей. Наши идеологи не могли пережить, что актриса Самойлова стала самой популярной актрисой вражеской, капиталистической страны. «Премию» вручали в Доме кино в присутствии трех-четырех человек, в том числе и меня.

– Невероятно, я не знал об этом!

– Да мало кто об этом знает даже сейчас. Никто этого не помнит, потому что об этом удивительном факте нигде не писали. При вручении, помню, присутствовал французский дипломат.

Что касается, как вы говорите, моих переживаний, то Самойлова, конечно, сыграла блестяще, ее роль была главной. Моя же роль заняла всего 20 минут. Кстати, после работы с Калатозовым и Урусевским в этом фильме я решил учиться на режиссера.

– В Каннах вы бывали тремя годами раньше с фильмом «Большая семья» Иосифа Хейфица, в котором участвовали. Знаменитая лестница[19] уже тогда существовала?

– Да, конечно, лестница, ковер на всю длину, море цветов, музыка, фанфары… Сказка.

– Кого вы запомнили шествующим по этой лестнице славы?

– Жерара Филипа, Рене Клер, Пабло Пикассо и Марка Шагала. Запомнилось, что на Пикассо был какой-то странный сюртук. Кстати, меня вообще не должны были выпускать за границу и близко подпускать к городу Канны. Ведь вся моя семья была «под колпаком», бабушки, дедушки сидели по 58-й статье… Так что на демонстрации «Журавлей…» я не присутствовал. А зачем, видимо, рассуждали в верхах, Самойлова же едет.

– Да и командировочные надо было платить, зачем же разорять Минфин?

– Да, командировочные, но, если вы обедали или ужинали в ресторане за счет организаторов, то деньги вычитались.

– Как вы воспринимаете нынешних молодых кумиров, скажем, Машкова, Маковецкого, Домогарова?

– Что сказать, хорошие актеры.

– А можно сравнить популярность этих звезд и популярность кумиров вашего времени? Скажем, вашу?

– Я не хочу соревноваться. Во-первых, потому, что моя слава – это и слава моей актерской семьи, довольно большой. Во-вторых, нынешняя известность – она делается, это специальная работа. Как это нынче говорят, надо пиариться… В-третьих, возможности для раскрутки актера у нынешнего телевидения огромны. Так что это вещи несравнимые. Но они несравнимы и в другом. Вы знаете, как был любим и популярен, скажем, Петр Алейников, его популярность нынешним актерам даже не снится. Он мог босой пройти по стране, и его узнал бы абсолютно каждый встречный-поперечный, его позвали бы в первый же дом, квартиру, накормили бы и напоили. Он всегда был в окружении истинно любящих его поклонников. Он был невероятно талантлив и невероятно обаятелен.

– А как любили Быкова! Тоже вся страна носила его на руках!

– Ленечку-то?! Это точно. Тоже удивительно талантливый был актер. А мы с ним жили в одном доме в Ленинграде. Дети заболели легкими, и он уехал в Киев, к теплу. Все происходило на моих глазах. Быков был человеком необыкновенной чистоты и индивидуальности. А взять Евгения Леонова. В раскрученных ныне американских актерах и половины нет из того, что было в Леонове. Его народ любил за какую-то человеческую правду.

– Я слышал, будто бы ваша мама выиграла в карты квартиру. Как такое могло произойти в сталинские, а не в ельцинские времена? Вашей семье не хватало еще одной, простите, статьи?

– Тут такая история. Первая наша жилая комната была, не удивляйтесь, на… производственном дворе МХАТа. Я могу сказать, что родился во МХАТе, и здесь нет выдумки, аллегории. У родителей была комнатка в домике, где жили сотрудники

МХАТа. Такой производственный городок. Поэтому не было в нем никаких качалок, детских уголков. Кругом одни декорации и костюмы. Вокруг меня ходили загримированные тети и дяди и что-то бубнили себе под нос, роли запоминали… Потом мама стала женой писателя Виктора Ардова, и они решили устроить свою жизнь иначе. Тогда как раз строился первый писательский кооператив. Желающих участвовать в нем было очень много. И вот одну из квартир, потому что их все равно бы на всех не хватило, решили разыграть в карты. Кто выиграет, тот и станет ее владельцем. Моей маме и улыбнулась фортуна – она выиграла. Квартира оказалась на первом этаже, и мне, шестилетнему пацану, это было страшно удобно – я вылезал прямо из окна на улицу, где играл со сверстниками. Один из них был пасынком Михаила Афанасьевича Булгакова. В этом подъезде жил и был арестован Осип Мандельштам. В соседнем подъезде жили Илья Ильф, Евгений Петров, Юрий Олеша, Валентин Катаев. Самым близким моим другом был Петя Катаев, позже он стал оператором и снимал «Семнадцать мгновений весны».

– Особая, конечно, тема в вашей судьбе – Анна Андреевна Ахматова. Вроде бы неудобно вас снова расспрашивать о ней, ведь столько на эту тему вами уже рассказано и написано. Но все же, только два вопроса. Сколько лет прожила та первая ваша машина, деньги на которую подарила вам великая женщина?

– Анна Андреевна дружила с моей мамой и с Виктором Ардовым. Когда она приезжала из Ленинграда, то всегда останавливалась у нас. Она была близким нам человеком. Я знаю в подробностях ее московскую жизнь, а не ту чепуху, которая висит об Ахматовой в Интернете. Анна Андреевна – скорее утешающий, успокаивающий людей человек, чем человек несчастный, приговоренный судьбой, какой ее многие представляют. Моя мама была рядом с Анной Андреевной, когда она уходила из жизни. Случилось это в санатории «Подмосковье».

А с машиной такая история. В 53-м году я пришел из армии. Радость великая, я отслужил, теперь могу отдать себя театру. Прихожу домой, и Анна Андреевна, которая в очередной раз у нас гостила, вдруг говорит, что хочет подарить мне деньги, чтобы я приоделся. Раскрывает сумочку и вручает банкноты. Когда я посчитал их, то оказалось, что на них можно купить целую машину. Никому ничего не сказав, я поехал на Разгуляй – там был магазин – и в одночасье стал автомобилистом. Пригнал «колеса» под окна комнатки Ахматовой, вошел в дом и говорю: «Анна Андреевна, на ваши деньги я купил… посмотрите что…» Анна Андреевна подошла к окну и, к моему удивлению, не стала меня корить, а произнесла: «Замечательная покупка». Служила

мне эта машина «Москвич» очень долго.

– *Вы хоронили Ахматову?*

– Конечно. Я установил и первый крест на ее могиле, огромный деревянный крест, который был привезен на багажнике авто. До первого архитектурного креста он простоял несколько лет.

– *Недавно я вычитал, что ваша нынешняя жена по национальности цыганка.*

– А что же в этом необычного. Любите вы, журналисты, сенсации.

2002

Глава 24. Несожженный Жженов

Георгий Жженов родился 22 марта 1915 года в Петрограде. Его родители – из крестьян Тверской губернии. В начале века они подались в Северную столицу, где глава семьи Степан Филиппович открыл собственную пекарню. В 1930 году Г. Жженов поступил, кстати, по паспорту старшего брата Бориса, в Ленинградский эстрадно-цирковой техникум. Потом признался в обмане, и был прощен. Как рассказывал сам артист, немалое значение в его выборе сыграла любовь. Он был тогда влюблен в одноклассницу Люсю Лычеву, ради которой даже прыгал с парапета набережной в ледяную воду Невы. Но циркачом Жженов не стал. Он стал артистом, актером с большой буквы. Народным артистом Советского Союза, одним из тех актеров, которые своим талантом вошли в каждый дом, в каждую семью. Жженов воплотил на экране всех знаковых персонажей советских времен: был и гаишником в «Берегись автомобиля», и разведчиком в «Судьбе резидента», и летчиком в «Экипаже», и генералом в «Горячем снеге».

Девяносто лет прожил на земле этот прямой, сильный, красивый человек. Прожил благородно, честно и… восторженно. Он достойно принимал все, что выпало на его долю. Давно в могиле его палачи и мучители – от Берии и Ежова до самых мелких вертухаев Норильска и Колымы. Но Жженову бог дал длинную жизнь.

Мне кажется, что Георгий Степанович поражал всех, кто видел его «живьем», лицом к лицу, своей духовной и душевной силой. Несправедливо пострадавший (17 лет в лагерях!), но не сломленный, он излучал невероятную мощь и уверенность. Ни лишнего напыщенного слова, ни жалости к себе. Он не суетился, не пытался оторвать каких-то жизненных благ, не гордился, не пыжился. И думалось: неужели, чтобы быть таким, как он, надо пережить, что пережил этот человек. Ответить трудно. Каждый отвечает за себя. Георгий Жженов ответил перед своими зрителями, поклонниками, которых миллионы, перед страной. Перед будущим.

«Мое сознание парило над всем этим адом…»

– Этого прекрасного голубого кота английской породы зовут Челси. В новой пьесе я играю персонажа с таким именем. За киску заплатил сто долларов, но дело не в них. Челси стоит намного дороже. Он объединяет всю мою семью, детей и внуков. Такой ласковый, нежный. Интересна история этой породы, в XVIII веке англичане вывезли из Архангельска несколько местных кошек. За два столетия они у них прижились и стали фирменной английской породой. А теперь «голубые» возвратились в Россию.

– Наш разговор, дорогой Георгий Степанович, мы начинаем с милой, приятной темы. Быть может, каким-то читателям эта тема ближе, чем многие другие. События и времена резко разъединили наше общество. Для многих граждан новой капиталистической России, которые сумели ухватить при дележе свой кусок пирога, сытая жизнь стала нормой. Для них роскошь, уют и развлечения – прежде всего.

Но, наверное, для других, особенно тех, кто, как вы, пережили сталинские лагеря, унижения, гибель близких, – далекие и страшные времена и события навсегда в памяти, не отпускают? Правда, об этом сейчас пишут и говорят все меньше.

– Да, как же все перекосилось. Вот вы говорите «те далекие и страшные времена»…

– …я произношу эти слова с горечью и сочувствием к вам, человеку, отсидевшему в лагерях и тюрьмах целых 17 лет.

– Быть может, вы и правы, со стороны многим и впрямь кажется, что эта тема слишком приелась. Да, это не предмет для «приятных» бесед – гибель миллионов людей, которые были уничтожены ни за что ни про что. Я все больше убеждаюсь, что, не пережив того, что было, человеку невозможно понять ни нашей истории, ни судьбы моего поколения, да, наверное, и самого себя. Какой мне толк обижаться на то, что люди словно отмахиваются от этой темы: дескать, что было, то было… Может быть, так устроена человеческая память: лучше запоминается хорошее, чем тяжкое. Это и прекрасно, иначе, наверное, человек не смог бы жить.

– Илья Эренбург в своей эпохальной книге воспоминаний «Люди, годы, жизнь» сказал: «Тяжело тому, кто все помнит».

– Вот и я уже, чего греха таить, благословляю свою память за то, что она имеет способность отключаться, забывать.

– Память для писателя – самое главное. Вспоминаю, как в

годы перестройки вы принесли в журнал «Огонек», где я тогда работал в отделе литературы, свой рассказ. «Саночки» были напечатаны, и после этого советский народ, ваш многомиллионный зритель, с ужасом узнал о том, что Георгий Жженов провел много лет в сталинских лагерях. Знаю, что сейчас вы пишете воспоминания. А почему так долго их не писали?

– Если честно, мне казалось, что тема репрессий давно приелась. И еще – если Варламу Шаламову как писателю разрешалось вести какие-то записи, то мне в лагере было заявлено: «За найденный клочок исписанной бумаги – расстрел». Вот я и вспоминал свою прошлую жизнь, целых 85 лет. В конце года выйдет моя книга воспоминаний «Прожитое». Как раз вы застали меня в работе над гранками книги. Теперь и умирать не страшно, кое-что о своей жизни я успел рассказать людям.

– Любопытно, писали на машинке или диктовали?

– Упаси бог, я даже редактора не терплю, такой привередливый. Все делаю сам.

– О судьбе ваших братьев рассказываете в книге?

– А как же… Один брат погиб на Печоре в лагерях, другого в Мариуполе расстреляли фашисты. Расстреляли на глазах у матери. Мариуполь, где мы жили, был оккупирован, брат работал на химическом заводе. Стоял он как-то на улице, разговаривал с друзьями. Подошел румынский офицер и говорит: «Снимай часы». По рассказам мамы, Сергей стал увещевать офицера, а тот, вытащив пистолет, заорал: «Снимай часы». Сергей нагнулся к товарищу, что-то ему прошептал, тот кивнул головой, и Сергей ударил офицера по морде. Тот покатился, а ребята бежать. В это время из-за угла появились автоматчики, ну и обоих расстреляли. Мать все это видела в окно.

А Володя в печорских лагерях зачах от дистрофии.

Я снимался на Севере в каком-то фильме и попросил уполномоченного МВД навести справки о брате. Шла перестройка, с реабилитационными делами стало легче, и он раздобыл для меня бумажку, в которой было сказано, что места захоронения не сохранилось. Как же непредсказуемы судьбы людей! Недавно я был с театром в Израиле, и после спектакля ко мне подошел человек, представился: «Яков Наумович». Оказалось, он тот самый следователь, который когда-то на Печоре выдал мне справку о брате. Я говорю: «Как же вы сюда попали?» «Эмигрировал», – ответил он. «Чем занимаетесь?» – «Да ничем, мы тут, несколько бедолаг, купили транспортное средство по уборке улиц, скооперировались бригадой и зарабатываем себе на жизнь». Я говорю: «Это вы-то, коммунист, следователь с высшим образованием, убираете улицы здесь, в Израиле?» – «А здесь мое

прошлое никому не нужно и никого не волнует. А жить-то надо. Между прочим, чтобы попасть на ваш спектакль, мы с женой тянули жребий на один билет. Потому что для двоих слишком накладно. Мне хотелось встретиться с вами».

– В вашей биографии есть фантастический случай, когда мама прислала вам в лагерь продуктовую посылку, а получили вы ее только через три года. Не могу понять, как же все-таки это произошло?

– Ответить трудно, и здесь, между прочим, хочу еще раз поблагодарить, царствие ему небесное, Александра Ивановича Лебедя, губернатора Красноярского края, который, принимая меня, подарил не что иное, как мое «тюремное дело». Так вот, если вы просмотрите весь этот ворох бумажек, переписок, циркуляров, казенного общения чиновников друг с другом, учреждения с учреждением, которые так или иначе имели отношение к моему передвижению по лагерям, ссылкам, сидкам и тюрьмам, вы поймете, что одна жизнь реальная, так сказать, очная, шла сама по себе, а канцелярская, тюремная, бериевская – сама по себе. Поэтому я бы так ответил – жизнь и быт в заключении шли вне зависимости от всяческих внешних событий. При этом, хочу сказать, не однажды Божья спасительная длань опускалась на мою голову. Я мог погибнуть тысячу раз, но что-то спасало меня от смерти, вот и случай с посылкой из этого ряда. В 43-м году я, будучи больным цингой, отмахал пешком по тайге 10 километров, чтобы добраться до «прииска 17», где меня дожидались две посылки, отправленные матерью еще в 40-м году. До прииска я сумел дойти, и хотя все содержимое посылок за три года испортилось, этот переход помог мне понять, что человек и в таком аду может выжить.

– А что все-таки было в посылке?

– Да что перечислять. Я получил прессованную массу из сахара, соли, круп, тряпок и газет…

– Дорогой Георгий Степанович, и впрямь сказано и написано про сталинские лагеря много… Но один вопрос, мне кажется, все равно останется без ответа… Вас дважды арестовывали НКВДэшники, вы отдали системе 17 лет своей жизни. И я рискну задать этот вопрос: как же все-таки, простите, вы не сошли с ума?

– Как тут ответить? Я был молод, здоров, старался не влезать в сложности и тонкости психического состояния своего организма, ведь интеллигенция гибла не столько от непосильного труда, холода и голода, сколько от того, что сознание людей не могло переварить того, что оно фиксировало. А фиксация была только одна: реакция на зверства, смерть, унижение человеческого достоинства… Я был достаточно сильным

молодым человеком с крепкой нервной системой и, не удивляйтесь, видимо, достаточно легкомысленным. Потому что сумел принять законы человеческого (нечеловеческого) существования в лагерях. То есть мое сознание как бы парило над всем этим адом.

– Еще один вопрос на эту тему. Я слышал, что вас выпустили на свободу за ваши творческие актерские успехи. Будто бы начальству понравилось, как в магаданском театре в одной пьесе вы сыграли роль царевича Алексея.

– В чем-то это так. Сыграла свою благую роль Валентина Константиновна Драбкина, царствие ей небесное, прекрасная женщина, жена начальника Управления всех лагерей. Она хорошо ко мне относилась, и однажды, когда я пришел к ней в кабинет, она встала из-за стола и, протягивая руку, сказала: «Здравствуйте, товарищ Жженов, поздравляю вас с освобождением, сегодня ночью муж подписал приказ». Здесь я ставлю три восклицательных знака. Почему ночью?! Что там было той ночью – тяжелый разговор с мужем, увещевания, мольба, а может, просто я вырвался на свободу благодаря любовной ночи женщины, которая любила искусство? И, возможно, по-женски симпатизировала мне?

– Ваша творческая биография, дорогой народный артист Советского Союза, – это биография советского и российского кино, ведь вы успели сняться даже в самом культовом нашем фильме «Чапаев»…

– Не совсем верно, снимался, да не попал. Вышло так, что я играл эпизодическую роль ординарца Фурманова – Терешки. Но в силу того, что раньше многосерийных фильмов не делали, изрядная часть материала вылетела при монтаже. Вот и мой эпизод с ординарцем Чапаева Петькой был вырезан. И, на мой взгляд, образ Петьки стал клочкообразным.

Но анекдот в том, что я единственный ныне из всех актеров, снимавшихся в «Чапаеве». И меня продолжают приглашать на всякие торжества, связанные с историей этого фильма. Жаловала меня и дочь Чапаева, которая недавно умерла. Ну, думаю, моя чапаевиана кончилась. Однако нет, звонит внучка Чапаева и снова приглашает меня на очередной бенефис великого фильма…

– Если честно, товарищ Жженов – ординарец Терешка, Чапаев-то каким вам видится, историки и журналисты во многом развенчали миф об этом человеке. Кем он был на самом деле?

– Да кем, разбойником и был, так же, как и Стенька Разин, и Емелька Пугачев. Их же всех облагородили.

– Что вы думаете о нынешнем кино?

– Лью слезы. Во что оно превратилось: в чертовщину, в

детективщину. Сплошная аморальность, проституционность. Жутко. Замечу, что коммунисты были правы, пропагандируя положительное в искусстве. Мне нынче предлагают играть только гангстеров да воров в законе. Деньги сулят немалые, но я отказываюсь.

– Что делать, мораль общества меняется.

– Вы не правы, мораль есть мораль. 12 заповедей навсегда останутся 12 заповедями. Кто бы их ни произносил – коммунисты или верующие.

– Какая главная заповедь была в лагерях?

– Античеловеческая – помри ты сегодня, а я лучше завтра.

– Как вы думаете, Ельцин был сильным государственным деятелем?

– Это был типичный партийный самодур. «Хороший» парень, натворивший всяких чудес в России.

– А как вы относитесь к Путину? Как, по-вашему, он идет на сближение с олигархами или тайно борется с ними?

– Вот эту тайну мне мучительно хочется разгадать.

– Мне кажется, вы не любите Москву?

– Я истинный ленинградец. Хотя и живу здесь с 1968 года, Москву не люблю…

Я встаю со стула, подхожу к окну, и, глядя на городской пейзаж с 11-го этажа квартиры Жженова, как в каком-то сюрреалистическом фильме, вижу необычное зрелище – передо мной предстали люди и звери, звери и люди. Подъехав к дому артиста с другой стороны, я не понял, что Георгий Степанович живет окнами на зоопарк.

– Да я не просто окнами на зоопарк живу, а я там чуть ли не прописан. С разрешения высокого начальства мне выписан пропуск в зоопарк на целых 12 лет. Как понимаете, это не означает, что я торчу в зоопарке с утра до вечера, а вот мои внук и внучки – постоянные гости медведей, жирафов и львов. Когда-то давно, когда моя дочь Юлия была еще маленькой, она отбирала у мамы принесенную домой живую рыбу, бежала к пруду и выпускала живность в воду. Позже такой же благотворительностью занялась и внучка Полина. Так что чуть не разорился на необычном меценатстве.

– Пропуск выдан на весьма немалый срок. Может быть, с намеком, чтобы вам рядом со зверями лет до «ста расти без старости»?

– Это судьбе виднее. А вот правнуки мои наверняка еще попользуются выданной деду халявой.

2002

Георгий Жженов умер 8 декабря 2005 года на 91-м году жизни. Отпевали его в соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери Сретенского монастыря. «Мы можем сказать, что хотя его и не учили богословию, он был глубоко верующим человеком. Этот дар он приобрел за те 16 лет ссылок, каждый день которых проходил между жизнью и смертью», – сказал наместник монастыря архимандрит Тихон.

Глава 25. Человек-джаз Олег Аундстрем

Говоря о российском джазе, невозможно не вспомнить Олега Лундстрема – руководителя старейшего в стране джазового коллектива. Потому что этот человек и есть джаз.

Великий музыкант родился 2 апреля 1916 года в российской глубинке – сибирском городе Чите. Здесь похоронены два его деда – действительный статский советник ученый-лесовод Франц Карлович Лундстрем и Петр Прокопьевич Валуев, народоволец, готовивший со своими единомышленниками неудавшееся покушение на царя Александра III и приговоренный к смертной казни. Смертоубийство заменили пожизненной каторгой. Так террорист Валуев оказался в Забайкалье. В Чите и родилась мама Олега Леонидовича. В 1921 году его отец получил приглашение работать на КВЖД, и семья переехала в Харбин. Рождение знаменитого оркестра Лундстрема связано с маленьким магазином грампластинок в Харбине, куда молодой меломан часто заходил за новинками модного тогда фокстрота. Купленная пластинка с записью никому еще не известного оркестра американца Дюка Эллингтона перевернула всю жизнь Лундстрема. Было это в 1934 году, когда с продажей советской доли Китайско-Восточной железной дороги обстановка в Харбине изменилась и семья перебралась в Шанхай. Вскоре отец, Леонид Францевич Лундстрем, вернулся в СССР, намереваясь перевезти на родину и всю семью. Он был доцентом Института железнодорожного транспорта и занимался исследованиями в области ядерной физики. Был арестован и погиб в бериевских застенках НКВД.

В 1941 году весь оркестр Лундстрема подал заявление в советское консульство с просьбой отправиться добровольцами на фронт, но все получили отказ.

Первое произведение Олега Лундстрема – широко известная «Интерлюдия» – родилось в необычайной ситуации в 1945 году в Шанхае, в дни празднования победы над милитаристской Японией, в канун концерта перед союзнической американской аудиторией. Неподдельный патриотизм членов оркестра восставал против чужеземной, хотя и любимой музыки западных джазменов. Произведения же Рахманинова, Скрябина и других видных русских композиторов не подходили составу биг-бэнда. Что же играть? Как быть? И экспромтом написанная и разученная «Интерлюдия» была принята на ура. В 1947 году оркестранты

получили визы на въезд в Советский Союз и поначалу жили в небольшом волжском городке Зеленодольске, а затем переехали в Казань. Оркестр Олега Лундстрема – уникальная кузница джазовых кадров. С его историей связаны имена Аллы Пугачевой и Георгия Гараняна, Ирины Понаровской и Станислава Григорьева, Ирины Отиевой и Геннадия Голынтейна, Валерия Ободзинского и Вагифа Садыхова… Этот список можно продолжать и продолжать.

– Ваш оркестр, дорогой Олег Леонидович, занесен в Книгу рекордов Гиннесса. И за что! За самое длительное в истории существование одного состава оркестра!

– Да, это так. Но я этому не удивляюсь, ведь речь не идет о творческом процессе, а только лишь о состоянии здоровья оркестрантов. Вот, допустим, помри я 15 лет назад, как, к великому сожалению, мой младший брат-саксофонист, то никакого рекорда Гиннесса не было бы и в помине. Кстати, составители этой книги целых шесть лет прочесывали мир, узнавая про все оркестры планеты. И вот вышло, что мы самые древние. А вообще-то я равнодушен к званиям и наградам, никогда не хлопотал ни о чем, не хотел и не хочу унижаться и просить. За музыкантов голову положу, а за себя – нет.

– Что же это за штука такая джаз, полонившая мир, и для миллионов меломанов отодвинувшая в сторону другие популярнейшие в мире виды музыкального искусства?

– Отвечаю… Когда великому джазмену господину Эллингтону задали такой же вопрос, он ответил: «Что такое джаз, я не знаю, но я всегда старался сделать лучшее, что я могу» и через паузу добавил: «Вы знаете, ведь вся классическая музыка и музыка джаза говорят, в сущности, об одном и том же – о вечных человеческих чувствах, только на разных языках». Хотите еще один пример. Один знаменитейший американский оркестр любит играть мою пьесу «В горах Грузии». Они считают эту музыку шедевром, но ведь странно, как это – медленная грузинская колыбельная мелодия в джазовой интерпретации? У нас шлягер – это шумная, веселая, озорная музыка, а в Америке шлягер – это когда зал затихает и слышно, как пролетает муха. Я считаю себя сторонником теории Глинки, который говорил, что музыку сочиняет народ, а мы, композиторы, ее только аранжируем. Я горжусь, что наша русская симфоническая музыка – великая музыка, и мало кто задумывается, что ее рождение было, как взрыв бомбы. Все думали: Моцарт, Бетховен, Бах – это гении. Что может дать нищая Россия, страна закрепощенных крестьян? И вдруг – и впрямь, как взрыв бомбы, Глинка, Даргомыжский,

Чайковский, «Могучая кучка», – вся Европа проспала рождение великой русской культуры, для них это был взрыв бомбы. И вот сегодня мы понимаем, что наша музыкальная культура вечна еще и потому, что из нее также родился джаз.

– Но, как известно, джаз родился в Америке и считается символом американской культуры…

– Да, конечно, джаз возник в США, на него до поры до времени обращали мало внимания из-за трения между цветными и белыми. Но именно афроамериканцы сделали огромное дело, открыли новый жанр на основе англопротестантских хоралов, которые они освоили по-своему и назвали спиричуэлсами.

– А как вы оцениваете искусство «великого» саксофониста господина Билла Клинтона, наверняка слышали, как он играет?

– Еще бы! Когда он приезжал в Москву, Министерство культуры попросило мой оркестр поприветствовать американского президента. Это было в небольшом зале в Кремле. Мы даже специально заготовили для этого последнюю вещь Эллингтона, причем решили поозорничать и задумали половину пьесы отдать на исполнение Клинтону. Получилось блестяще. Когда мы отыграли программу, два президента, Клинтон и Путин, не зашли, а забежали на сцену и начали меня обнимать. Особенные восторги выразил Клинтон. Он говорил Путину: «Ты сам не понимаешь, какой замечательный у тебя оркестр!» И стал нам всем жать руки. Мои музыканты до сих пор их не моют.

– Кстати, об американском джазе. Скажите, в чем секрет долголетия знаменитой музыкальной комедии «В джазе только девушки»? В музыке или в игре и пении Мэрилин Монро?

– Думаю, что в равной мере и Монро, и великий Гленн Миллер гениальны. Они сумели совершенно интуитивно предугадать приоритет легкой музыки у широкой публики, и особенно молодежи. А ведь восприятие молодыми музыки, как ни странно, не изменилось за века. Сейчас уже генетики доказали, что со времен Древнего Египта, Индии и Китая количество серого и белого вещества в мозге человека такое же, как было много тысячелетий назад.

– Известно, что ваша непростая судьба связана с эмиграцией, с Шанхаем, и какой-то отрезок времени вы общались с Александром Вертинским. О нем уже много написано и сказано, но все-таки, каким запомнился вам великий певец?

– Да, конечно, мы много общались и, конечно, Вертинский великий артист, но вся беда его в том, что он не был понятен иностранцам. Его песни – не для англичан и китайцев, хотя и те и другие отдавали ему должное в мастерстве. Наверное, сыграла свою роль и политика, все-таки человек приехал в чужую страну.

Он любил Россию и не мыслил себя без нее. Рвался в Москву, где когда-то учился в одном классе с Вячеславом Молотовым, и, единственный человек среди всей эмиграции, решил написать ему письмо о том, что надоело скитаться по чужбине, и он хочет умереть на родине. И он получил въездную визу, хотя шла война и никто, кроме него, такой чести не удостоился. О нем ходили всякие легенды, что, дескать, он столько привез в Россию имущества, что вся Москва ахнула. На самом же деле чуть ли не вся советская колония в Шанхае попросила его передать родным посылки. Он выполнил все просьбы.

– Олег Леонидович, простите резкий переход от одного кумира к другому. Я знаю, что рядом с вами в соседнем переулке живет певец Валерий Леонтьев. Вы не общаетесь?

– У нас в народе это местечко называют переулком Леонтьева. Но я с ним не общаюсь, потому что даже не знаком. Здесь же рядом до недавних пор жил и Макаревич. О нем могу сказать. Первый раз я услышал его группу еще на уровне самодеятельности в клубе электролампового завода. Я сразу сказал тогда, что это единственный джаз-роковый коллектив, который наверняка выдвинется. Меня спросили, а почему вы так считаете, и я ответил: «Я слышу сочетание современной молодежной музыки с содержательными текстами, а такой тандем пропасть не может».

– Какой вы молодец, не ошиблись, предсказав любимому нашему Макару блестящее будущее. Со вкусом у вас все в порядке, дорогой мэтр. А как у вас с чувством страха за себя? Как все-таки смогли выжить в то время, когда джаз считался у нас почти преступлением, идеологическим предательством Родины?

– Я, как ни странно, никогда не чувствовал идеологического нажима. Меня спрашивали, почему, ведь в 47-м году, когда я приехал в Россию, был расформирован Государственный джазовый оркестр Цфасмана. Я отвечаю, что я тогда не следил, кого расформировали, кого нет. Когда в 1948 году вышло ждановское постановление об опере Вано Мурадели «Великая дружба», к нам в коллектив приехал министерский начальник и сказал: «Выяснилось, что джаз народу не нужен». Многие тогда посчитали, что мы теперь на грани самоубийства. А на самом же деле, как ни парадоксально, тогда я увидел в этом начало рыночных отношений, которые по-настоящему пришли к нам в девяностых годах. Ведь что такое кризис? Когда мне было лет 13–14, я уже знал, что в то время, когда Африка пухнет от голода, американские негодяи-монополисты выбрасывают муку и рис в океан, чтобы не снижать цены. Это всех возмущало и отозвалось кризисом. А сейчас то же самое: на наши концерты перестали

ходить простые слушатели и ходят только «новые русские», которые якобы не прочь приобщиться к культуре.

– То есть на ваши концерты трудно попасть из-за дороговизны билетов?

– Именно так. Эти люди готовы купить билет за тысячи рублей, а настоящие меломаны не могут к нам попасть. Это очень обидно.

– Я слышал, что, когда вы недавно улетали на гастроли, вы якобы воспользовались отпускными неделями. Согласитесь, Олег Леонидович, звучит несколько странно: человек в вашем возрасте все еще трудится от отпуска до отпуска, как это объяснить?

– Быть может, вы в чем-то и правы. Если честно, о том, что годы идут и что музыкантом я стал очень-очень давно, я впервые подумал, когда мне исполнилось 60 лет. Представляете, как давно все начиналось. В те дни мой оркестр в неполном составе гастролировал по ГДР. И как раз 2 апреля, дата моего рождения, совпала с этой поездкой. Узнав об этом, военные расстарались вовсю. А я жутко не люблю всякую шумиху. И, между прочим, никогда не праздновал дней рождения. Мне казалось странным, что вчера на меня вроде бы не обращали внимания, а сегодня вдруг отовсюду подарки, хорошие слова, и я стеснялся: что уж такого случилось всего за один день. Наверное, это от мамы передалось, она тоже никогда не справляла свой день рождения. Конечно, на всякий случай для неожиданно пришедших гостей готовила что-нибудь вкусненькое. И уже позже я понял, что на дни рождения приходят действительно настоящие друзья. И не из-за того, чтобы попировать, а просто из-за уважения к тебе. И вот придя со своего юбилея, я вдруг подумал: оркестр Утесова еще существует, но давно не гастролирует, оркестр Эдди Рознера так шумел в свое время, а вот и его уже нет, да и иные коллективы канули в Лету. Задумался, и оказалось, что все самые значимые оркестры куда-то девались и остались лишь мы одни. При этом исключительным ни себя, ни наш оркестр я никогда не считал. Видно, так было угодно или министерству, или там, на небесах…

– Ну, вы, Олег Леонидович, как всегда, скромничаете… Конечно, в долгожительстве вашего оркестра, прежде всего, заслуга его руководителя…

– Между прочим, при каждом удобном случае напоминаю своим поклонникам и друзьям, что я ведь не должен был стать музыкантом. В Маньчжурии я окончил три курса электромеханического факультета Политехнического института, два года работал в слесарных мастерских и освоил все инструменты, включая, конечно же, зубило. Но одновременно

начал заниматься на скрипке. Вы улыбнулись, конечно, зубило и скрипку совместить трудно. Однажды инструктор меня укоряет: «Куда смотришь? Не на руку надо смотреть, а на зубило!» Я отвлекся, раз и – по руке. Инструктор успокаивает: «Ничего, ничего, привыкнешь». Он, конечно же, не знал, что я учился играть на скрипке. Но о музыкальной карьере я не мечтал. Думал, что буду инженером…

– У вас на даче в Валентиновке прямо райский уголок, даже детишки-ангелочки порхают. Наверное, ваши внуки?

– Это внуки моего родного брата. Я им двоюродный дедушка. Они называют меня по-украински – дида, потому что, знаете вы об этом или нет, во мне течет украинская кровь. Мой дед – внучатый племянник Тараса Шевченко. Я живу на этой даче с 64-го года. До меня ее занимала певица Изабелла Юрьева. Она ее построила в 38-м году на участке, который дали МХАТу. Так что у меня много знаменитых соседей. Тут и Олег Николаевич Ефремов тоже жил.

– Годочков вам, Олег Леонидович, много. А много ли у вас было жен? Ведь столько всякого было в вашей судьбе.

– Удивитесь, но у меня была всего одна жена. Жили мы очень дружно. Никогда не ругались. Как-то я говорю ей: «Ты знаешь, у нас не советская семья, потому что мы не ругаемся». Она была актриса драмтеатра в Казани, где я жил. Когда мы переехали в Москву, ей предложили работу в Театре имени Пушкина. Она ответила: «Театру я уже отдала 30 лет. Теперь у меня другая задача». К сожалению, я понял эту фразу только после ее смерти. Она имела в виду, что остаток жизни хочет посвятить мне.

– Сколько вы прожили вместе?

– Почти 50 лет! Хотели сыграть золотую свадьбу, но судьба распорядилась иначе.

2003

Народный артист России, лауреат Государственной премии, руководитель старейшего в мире джазового оркестра, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса, 89-летний Олег Леонидович Лундстрем умер 14 октября 2005 года.

Он не считал летящих годов-отметин. Жил музыкой, творчеством, а главное – своим джазовым оркестром. И доброй подмосковной природой. Не раз я встречал Олега Леонидовича прогуливающимся в окрестностях Валентиновки с кем-нибудь из домашних. Мое соседство со знаменитым музыкантом я старался профессионально использовать: напрашивался в гости с диктофоном, задавал и серьезные, и легкомысленные вопросы.

Однажды я спросил у мэтра, где же его злая собака, о которой

написано на табличке, прибитой к забору. Он по-лундстремовски усмехнувшись, ответил: «Купив эту дачу у Изабеллы Юрьевой, которая побаивалась местных мальчишек и прибила эту табличку, я оставил ее, пусть думают, что собака устала и все время спит».

Да, сколько легенд, веселых и трагических, унес с собой Олег Лундстрем. Ведь четверть века он прожил на чужбине. Обрел мировую славу, настоящее признание тех, кто понимает и в музыке, и в том, как надо служить искусству, как можно быть верным ему до конца дней. Хотя к славе знаменитый мэтр был почти равнодушен.

– Любимым делом надо заниматься бескорыстно, – говорил он, – и не делать из него карьеру. Вот тогда ты будешь на высоте.

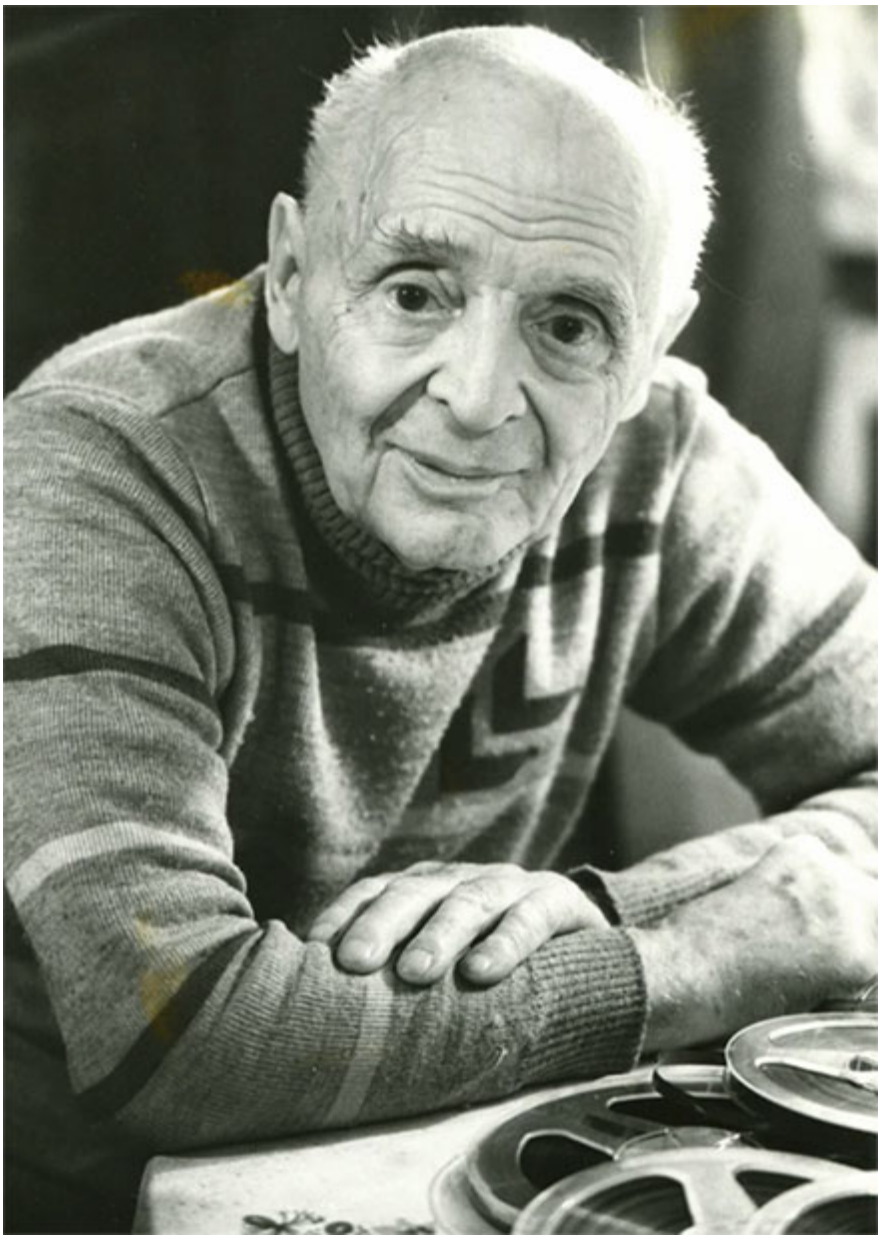
Глава 26. Вадим Козин. Даже в ссылке его посещали знаменитости

Певец Вадим Козин – один из ярких, талантливых, но и трагических персонажей XX века. О славе и популярности Вадима Козина в годы его творческого расцвета, когда он пел знаменитые романсы на слова и великих поэтов, и никому не известных авторов, и на свои собственные слова, говорит тот факт, что по раскупаемости пластинок и заполняемости залов Козин опережал Леонида Утесова, Клавдию Шульженко, Петра Лещенко. Кстати, в Америке пластинку Козина выпустили еще в 60-х годах, когда наша «Мелодия» спала глубоким сном, и «бескультурные» янки наградили великого русского певца бриллиантовой звездой.

Покоритель миллионов любителей музыки, песни, Орфей с «шелковым» голосом после пика своей сумасшедшей предвоенной славы стал колымским узником. Магаданцы говорили: «В Париже есть Эйфелева башня, а у нас – Вадим Козин». Он знал Вертинского и Русланову, Есенина и Маяковского, Сталина, Берию, Черчилля и Рузвельта. И сам стал человеком-легендой.

Берия ходил в соперниках

Существует несколько версий ареста Козина. С помощью его биографа Б. Савченко, много лет знавшего Вадима Алексеевича, можно назвать основные.



Вадим Козин

Первая. В начале войны знаменитый исполнитель часто выезжал с концертами на фронт. Однажды его пригласили генералы сформированного на востоке польского корпуса. Певец с энтузиазмом принял приглашение коллег советского военного командования. И этим якобы подписал себе приговор. По доносу «благожелателя» из собственного ансамбля его арестовали за «измену Родине».

Вторая версия вроде бы банальна – любовный треугольник, если бы не таким зловещим был третий персонаж – Лаврентий Берия. Якобы и певец, и глава НКВД были неравнодушны к знаменитой летчице-красавице Марине Расковой, которая будто бы предпочла любимца публики.

Третья. Мать и сестры Козина жили в блокадном Ленинграде. Популярный артист, имевший хорошие знакомства в государственных и партийных кругах, хлопотал о вывозе близких на Большую землю. Ему долго отказывали, и когда первый секретарь Московского комитета партии Щербаков выделил для семьи певца специальный самолет, было уже поздно – мать и сестры умерли от голода. Вадим Алексеевич сгоряча пожаловался кому-то на неразворотливость властей. Этого было достаточно, чтобы «нейтрализовать» недовольного.

Следующая версия – самая, пожалуй, экзотическая и необыкновенно интересная. Она связана с политикой, с именами участников исторической Тегеранской конференции конца 1943 года – Сталина, Рузвельта и Черчилля. В дни работы Большой тройки английский премьер отмечал свой день рождения. Поприветствовать яростного борца с фашизмом в Тегеран прилетели Марлен Дитрих, Морис Шевалье и Иза Кремер. Неожиданно Черчилль обратился к Сталину с просьбой, чтобы от Советского Союза на торжественном вечере выступил… Вадим Козин. Сталин поразился столь своеобразному выбору лорда, ведь Козин слыл всего лишь исполнителем легких песенок и романсов. Иосиф Виссарионович оценил бы тонкий вкус аристократа, если бы тот «заказал», скажем, Галину Уланову или Сергея Лемешева, блиставших тогда на советской сцене. Но отказать союзнику он не мог, и на специально отправленном самолете из Москвы популярный артист был доставлен в Тегеран, а как только закончился его номер, немедленно препровожден обратно. Существует легенда, будто бы перед возвращением в Москву Козин повел себя как-то не так. То ли в силу необыкновенного напряжения, связанного с неожиданным и очень ответственным вызовом, тяжелого перелета и нервического выступления, то ли еще по каким-то причинам, с певцом случилось что-то вроде нервного приступа. Еще поговаривают, что в Москве кто-то

насоветовал Козину пасть в ноги Черчиллю и попросить о политическом убежище в Англии. Дескать, на Западе ты сделаешь великую карьеру…

Известно одно: сам Козин не любил вспоминать Тегеран. А странно – ведь выступление перед хозяевами мира в годину великого противостояния Гитлеру было его звездным часом.

Через некоторое время певца вызвал к себе Лаврентий Берия. Он стал расспрашивать Козина о его исполнительском репертуаре, и в частности о том, почему тот не поет песен о Сталине. Вадим Алексеевич ответил, что в его активе есть песня о Ленине и этого достаточно, ведь он всего лишь лирический певец и серьезных патетических вещей исполнять не может. Берии ответ не понравился, и он снова переспросил, не хочет ли Козин подготовить что-либо о вожде народов. Певец снова ответил отказом. А через какое-то время его арестовали.

Наконец, пятая версия, связанная якобы с нетрадиционной ориентацией певца. Все взрослое население советской державы, и я в том числе, «знало», что Вадим Козин сослан в Магадан, потому что в гостинице «Метрополь» его застукали с 14-летним якутом. Приговор оказался суровым: после годичной камеры на Лубянке – Колыма, Магадан, куда он и прибыл весной 1945 года. Особым совещанием НКВД певец был осужден на восемь лет лишения свободы.

(Второй арест в 60-м году снова связывают с запрещенным в те годы законом половым пристрастием мужчины к мужчине).

Кстати, мне рассказывали такой эпизод из биографии Козина. Когда он находился еще в первом заключении, в магаданском театре отмечали день 7 Ноября. В правительственной ложе восседал сам начальник «Дальстроя» генерал Никишов, не стеснявшийся прихлебывать коньяк прямо на людях. Козин должен был петь в концерте, и постановщик программы, тоже заключенный, мейерхольдовец Варпаховский, именно с него решил начать торжества. Раскрылся занавес, и на сцене у рояля возник тогда еще молодой и стройный певец. Зал зааплодировал, сначала робко, потом кто-то вдруг крикнул: «Козину ура!», и весь зал в едином порыве, забыв обо всем, заревел «Ура!», «Слава!». Не ожидавший ничего подобного, разгоряченный алкоголем и разъяренный генерал заорал благим матом: «Вы кому кричите „ура!“»? Зал мгновенно замолчал, и в тишине раздалось: «Спрашиваю, кому вы орете „Слава!“?! Педерасту?! Только правительству можно кричать „ура“. Убрать дураков из зала! И ты вон со сцены». Побледневший артист вмиг ретировался за кулисы. После этого находящийся в заключении артист еле спасся от звериного гнева начальства.

В судьбе Козина было много загадок. Одна из них: почему, получив свободу в 50-х годах и вновь обретя ее после второй отсидки в 60-х, коренной петербуржец не покинул холодный далекий край. Ведь, отбыв сроки, с Колымы немедленно уехали Георгий Жженов, Эдди Рознер, Леонид Варпаховский, Василий Шухаев. Судьба дала Козину долгий срок на этой земле – он умер 19 декабря 1994 года на 92-м году жизни, и обожаемый публикой артист, король сцены, мог бы наслаждаться славой, почетом, жизненными благами в родном городе. Козин пел до глубокой старости, конечно, голос был не тот, но обаяние, артистизм, высочайшее профессиональное мастерство собирали полные магаданские залы.

Сегодня трудно объяснить затворничество Козина в местах, отстоящих от Москвы на целых восемь часовых поясов. Не хотел унижаться в просьбах и поклонах, не желал возвращаться туда, где прошли счастливые годы его творческой карьеры, боялся переменить климат, к которому привык за полвека колымского бытия, не хотел бросать людей, которые стали для него родными? Когда его звали в какой-нибудь город, отвечал: «Приезжайте ко мне сами». И многие приезжали. Если начать перечислять имена, то у Козина перебывал весь цвет советской российской эстрады. В 1973 году в Магадан приезжал Махмуд Эсамбаев, которого все знатные люди города звали к себе. Но он остановился у Козина, в его крохотном закутке.

Так что Козин не чувствовал забвения. А касательно того, что ему не дали «народного», Вадим Алексеевич остроумно замечал: «Я не рвусь в народные, это все равно, что солдату в 50 лет присваивать звание старшины. А вот если бы меня выбрали почетным гражданином Магадана, тогда другое дело». И еще Козин завещал, чтобы после смерти его прах развеяли над Магаданом.

Пугачеву не любил за «хроническое несмыкание связок»

Судьба этого талантливого артиста всегда меня волновала. Но узнать что-то о нем было трудно, единственный источник – народная молва, сплетни, воспоминания. В мае 1944 года имя певца исчезло с афиш, граммофонные пластинки перестали продаваться в магазинах, голос больше не звучал в передачах Всесоюзного радио. На имя опального артиста было наложено табу. Так продолжалось до горбачевской перестройки, пока в прессе не появилась публикация о знаменитом магаданском сидельце. Из нее меломаны и узнали, что певец, оказывается, жив, но место его прописки по-прежнему Магадан.

Это известие еще больше распалило интерес поклонников к его необычной, трагической биографии.

Автором одной из публикаций в 80-х годах стал Игорь Дудинский, который был хорошо знаком с Козиным по Магадану. Но по тону его статьи я чувствовал какую-то недоговоренность, казалось, что автор что-то скрывает. Его можно было понять – тогда ведь гласность только начиналась. И я решил позвонить коллеге и попросить дополнить написанное им когда-то.

– Ну, во-первых, как я оказался в Магадане? Просто и категорично: возможно, как и Козин – где-то чего-то брякнул про партию и правительство, донесли, вот и загремел в ссылку на край света. Было это в начале 70-х. А раз оказался в Магадане, значит, окажешься и у Козина. Познакомившись с ним, каждую неделю я стал бывать у него дома, в небольшой комнатенке, вмещавшей человек 10–12. Козин был уже на свободе, эдаким вольнопоселенцем, всех заметных магаданцев уже знал, а каждый новый гость из столицы искренне его радовал. Визитеры приносили выпивку, закуску и, что тут сказать – шла обычная пьянка: с воспоминаниями, песнями Вадима Алексеевича за стареньким пианино, лобызаниями, творческими прожектами, перемыванием косточек тогдашней эстраде. Козин, к примеру, не любил Аллу Пугачеву и постоянно повторял, что у нее «хроническое несмыкание связок». Возмущался Майей Плисецкой – как это можно танцевать Гоголя. Зато любил стихи Андрея Дементьева, которые перекладывал на музыку и с удовольствием исполнял. Андрей, уже бывший тогда главным редактором журнала «Юность», о козинской любви к нему не знал, и когда я при встрече рассказал ему об этом, он, как мне показалось, смутился. Еще бы, имя певца было в запрете.

До глубокой старости артист был в форме и регулярно давал концерты и ездил с бригадами на «чес». Жить-то надо было на что-то.

Каждый вечер мы выбирали так называемую Матильду – главу стола, который и руководил действом. Здесь же среди нас, мы об этом догадывались, пьянствовали и гэбэшники, они были приставлены к Козину пожизненно. А первый арест, как я слышал, был провокацией ГБ – бериевцы подсунули ему мальчонку, с которым певца и застукали.

Насчет деликатной темы могу сказать: вроде бы все считали, что он «голубой». С лицами мужского пола он общался, на мой взгляд, чаще и охотнее. Был с ними ласков, говорлив. Меня звал Игорчиком.

Вадим Козин со своим любимым котом Бульдозером. Магадан, март 1982 г.

А вот что мне рассказала известная артистка эстрады Клара Новикова, которая тоже гостила у певца:

– Я была у Козина незадолго до его смерти. Приехав на гастроли в Магадан, сама напросилась в дом к главной достопримечательности Колымского края. Певец был уже в преклонном возрасте и мало кого принимал. Помню небольшую квартирку, которая была, собственно, музеем Козина, а он – его живым экспонатом. На стене висели портреты, фотографии

хозяина, а также любимых им кошек. Повсюду были любопытные безделушки. У стены стоял большой рояль, подаренный ему Иосифом Кобзоном.

Не знаю, каким он был раньше, но предо мной предстал довольно капризный обиженный старик. Первое, о чем спросил он меня прямо с порога, принесла ли я чего-нибудь выпить. Я сказала, что шампанское. «Фу, гадость, я пью только водку». Меня предупредили, чтобы я никоим образом не пила у него из так называемой адмиральской бутылки, если он будет потчевать. Я видела эту огромную зеленую тару, в которую он якобы после гостей сливал все ликероводочные остатки из стаканов. Образовавшейся гремучей смесью Козин угощал следующих визитеров.

Обут он был в валенки, на плечах – когда-то модный малиновый пиджак, в который почему-то было воткнуто множество булавок. «К Клавдии Новиковой имеешь отношение?» – спросил он довольно грубо. Я говорю: «Нет». – «А жаль, звезда своего времени, опереточная певица». По его просьбе я исполнила монолог. Когда я попросила в ответ что-нибудь спеть, долго капризничал, отнекивался. «Не буду, не буду, я сказал, не буду», – гримасничал, топал ногами, ругался. Потом все-таки спел. О своей жизни он так ничего и не рассказал…

Поведал мне сокровенное о Козине и фоторепортер Борис Заянчковский. Оказавшись в Магадане, он много снимал его.

– Козин не сразу разрешил фотографировать его. Ссылался на плохое настроение, на недомогание. А снимки ему были очень нужны: десятки, сотни поклонников не только в СССР, но и в разных странах, узнав, что он жив, просили его фотоизображение. И мы подружились. Человеком он и вправду был сложным. Мне казалось, что он и пострадал из-за своего характера… Но приезжавшие из Москвы артисты сначала шли не в филармонию, а к Козину. Надо сказать, что не все безбоязненно навещали любопытную, но опальную персону. Мне кажется, что приехавшая однажды в Магадан Людмила Гурченко, которую я сам пригласил от имени Вадима Алексеевича навестить его, деликатно, но твердо отказалась.

На окраине великой державы закончил жизнь Вадим Козин, кумир миллионов, «опущенный» властью старик. Нередко нашими судьбами вершат палачи, но искусство, слово, музыка – сильнее. Потому что тираны умирают (говорят, что следователь, пристрастно допрашивавший на Лубянке тщедушного интеллигента, страшно пил и, в конце концов, сошел с ума), а талант вечен. Вот и Вадим Козин остался в народной памяти

трагическим тенором русской эстрады жестокого XX века. И если хотите, голубой легендой.

2004

Глава 27. Драма Ростислава Небольсина

Он мечтал передать России свой архив

Из множества встреч с русскими людьми в разных странах одна мне особенно дорога. Именно эта встреча расширила мое понимание трагедии и величия русского человека, оказавшегося за пределами родины после революции.

А случилось так, что на приеме у советского посла Дубинина в Вашингтоне (было это в самую первую мою поездку в США в январе 1988 года) ко мне подошел энергичный молодой человек и представился: Михаил Хлебников, потомок декабриста Ивана Пущина. Познакомились, разговорились, сблизились. Михаил пригласил меня в Нью-Йорк в гости, к его деду Ростиславу Аркадьевичу Небольсину, женатому на правнучке Ивана Пущина.

Я не замедлил воспользоваться приглашением и познакомился с двумя братьями Михаила – Петром, журналистом, сотрудником газеты «Нью-Йорк сити трибюн», и Павлом, тоже журналистом, пишущим на экономические темы.

Представили мне и сестру трех парней-красавцев, Анну. Колоритной и яркой личностью оказался их дядя, Аркадий Ростиславович, культуролог, знаток русского искусства. Я вспомнил, что именно о нем мне не раз рассказывал в Москве Илья Глазунов. Уже в следующую поездку в США несколько дней я провел на даче этой семьи в местечке Саутхемптон под Нью-Йорком. (Именно там я брал интервью у знаменитого американского писателя Курта Воннегута, именно там присутствовал на дне рождения у сына белого генерала Врангеля, у которого, надо заметить, безуспешно пытался взять интервью. Я оказался первым советским человеком, с которым он вообще согласился разговаривать, потому что не верил ни Горбачеву, ни перестройке.)

Духовным, нравственным центром большой семьи Хлебниковых-Пущиных-Небольсиных был Ростислав Аркадьевич Небольсин, мудрый, много переживший человек. Он родился 17 апреля 1900 года в Петербурге. Накануне Февральской революции окончил Первый кадетский корпус и поступил в Петроградский политехнический институт, но прервал занятия после захвата власти большевиками. На его глазах в Гельсингфорсе в феврале 1917 года был убит матросами отец, контр-адмирал А. К. Небольсин. В 1920 году семья уехала в США. Там Р. А. Небольсин окончил Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. Работал во Франции, США, в странах Южной Америки и на Дальнем Востоке в области очистки сточных вод. По проектам Небольсина построено

множество очистных станций в 11 странах мира. В 70-е годы вел обширные работы по ирригации и водоснабжению в Алжире, руководил реставрацией римских акведуков и очисткой римских озер.

Состоял попечителем Общества помощи русским детям за рубежом и Русского православного богословского фонда.

В первую и в последующие встречи Ростислав Аркадьевич с горечью говорил мне о том, что у него собран большой архив, связанный с его профессиональной деятельностью, и он мечтает передать его России, но не знает, как это сделать. Проблема очистки вод актуальна во всем мире, говорил он, но в России она особенно важна. Он уже обращался в наше посольство с просьбой помочь, ему обещали, но воз и ныне там.

Вскоре потомки декабриста Пущина приехали в Москву. Я решил посвятить этому событию телевизионную передачу «Зеленая лампа». Мы снимали Пущиных и на Ленинградском вокзале по прибытии, и на могиле Ивана Ивановича Пущина в Бронницах, и на улицах Москвы, и на Красной площади. Основной разговор состоялся у меня в квартире на Покровке, где снималась передача.

С тремя братьями – Михаилом, Павлом, Петром и их сестрой Анной мы говорили об их судьбах, о дружбе Пущина и Пушкина. Михаил читал стихи великого поэта, посвященные другу. Все было раскованно, интересно. Говорили внуки и о любимом дедушке, о его мытарствах, о его желании сослужить последнюю службу родине своими познаниями. Телепередача имела большой резонанс, ее показывали несколько раз, русские американцы стали у нас знаменитыми.

Мне позвонили из редакции газеты «Правда» и предложили написать о судьбе Р. А. Небольсина. А вскоре в «Известиях» появилась статья Г. Васильева «Эта многоликая эмиграция», где рассказывалось о Ростиславе Аркадьевиче. Казалось, после этого ему предоставят возможность приехать на родину и передать свой архив. Но не тут-то было. Время шло, а дело не двигалось.

В квартире на Парк-авеню все чаще и чаще стали бывать советские журналисты, писатели, гости из Москвы. Здесь по-свойски останавливались, гостевали Д. Лихачев, В. Распутин, В. Солоухин, Е. Евтушенко, А. Собчак… Журналист Петр Хлебников побывал у Валентина Распутина в Иркутске. Заинтересованный в очистке байкальских вод, Валентин Григорьевич обещал помочь, но даже у него не получалось сдвинуть дело с мертвой точки.

И тогда я решил дать телеграмму Председателю Совета Министров СССР Н. И. Рыжкову. Телеграмма получилась большая, на несколько страниц, мне надо было объяснить суть вопроса,

историю семьи Пущиных…

На другой день позвонил помощник Рыжкова.

Не знаю, телеграмма ли все решила или какие-то другие обстоятельства, но через месяц Ленгорсовет пригласил Ростислава Аркадьевича Небольсина и одного из его внуков, Павла Хлебникова, в Ленинград. Свой родной город Небольсин увидел спустя 72 года. Выступал с лекциями, договорился о новом приезде уже на длительное время, с тем чтобы передать свой архив и, главное, профессиональный опыт.

К сожалению, он не успел этого сделать: в сентябре 1990 года позвонил Петр и сообщил, что дедушка скончался в возрасте девяноста лет.

1992

Не раз я встречался с внуком Р. А. Небольсина Павлом Хлебниковым, который приезжал в Россию по разным делам, а потом и вовсе остался работать в Москве, став во главе русского издания журнала «Форбс». Последняя наша встреча произошла за несколько дней до его трагической гибели в Москве в начале июля 2004 года. Мы говорили, как всегда, обо всем… Сфотографировались. Просто так. На бегу. Щелчок затвора фотокамеры. Секунда.

А вышло навсегда.

Павел Хлебников многое успел сделать за свои 40 лет. Как и его великие предки, он верил в будущее России.

Павел с гордостью рассказывал о своей семье, особенно, с большим уважением и нежностью говорил о деде – Ростиславе Аркадьевиче Небольсине.

У меня сохранилась запись его монолога, сделанная при подготовке передачи «Зеленая лампа» в 88-м году.

Павел Хлебников: «Я горжусь, что в моих жилах течет русская кровь…»

Мама моя родилась в 1930 году в Греции. Она из старинного русского рода Небольсиных, который продолжается от татарских князей, впервые упомянутых в летописях XII века. Ее отец, мой дед Ростислав Небольсин, крупный инженер с мировым именем, специалист по очистке сточных вод. Его отец, мой прадед Аркадий Константинович Небольсин, убитый большевиками в феврале 1917 года, был адмиралом Балтийского флота, командовал второй линией броненосных кораблей. Знаменит тем, что стал капитаном 2-го ранга на «Авроре» во время Цусимского боя с японцами в 1905 году. Хотя был три раза ранен, он спас корабль, когда убили командира. А его отец был главнокомандующим в городе Николаеве и после Крымской войны руководил строительством нового Черноморского флота.

Мать моей матери, Екатерина Лаврентьевна, урожденная Пущина, была правнучкой декабриста Ивана Ивановича Пущина, друга Пушкина. Пущины родом из Казани, впервые упомянуты в летописях XI века. При Иване Грозном они перешли в царское подданство.

Другая моя бабушка, мать моего отца, Елена Владимировна Бернард, французского происхождения, баронесса. Один из ее предков был при дворе короля Годфруа де Буйона и ходил крестовым походом в Иерусалим. По легенде, он вернулся оттуда с ручным львом. На юге Франции есть наш замок, который уже двести лет в руинах. Еще до Французской революции король сделал Бернардов маркизами, и позже они вынуждены были бежать от революции в Россию. Приняли русское подданство. Но по иронии судьбы после 1917 года бежали обратно во Францию. Ее отец был полным генералом артиллерии. Таким образом, четыре моих прадедушки были полными генералами. А один из них к тому же был и общественным деятелем, членом Думы.

Отец моего отца Сергей Владимирович Хлебников – потомственный дворянин из Ярославля, род идет от XVI столетия. Его мать Евдокия Комовская – внучка Сергея Комовского, одноклассника Пушкина по лицею. Комовский же был женат на дочери графа Евграфа Федоровича Комаровского, участника войны 1812 года, он написал интересные мемуары.

Через Комаровских Хлебниковы в родстве с графами Ламсдорфами, Трубецкими и другими именитыми фамилиями.

Мой отец, поселившись во Франции, освоил несколько

языков, что позволило ему позже работать переводчиком на Нюрнбергском процессе. Вместе со своим другом, моим крестным отцом, князем Джорджем Васильчиковым, они стали первыми устными переводчиками в мире. Имея в виду переводы на процессах, собраниях и других общественных мероприятиях, отцу предложили должность устного переводчика в ООН. Так семья оказалась в Америке, в Нью-Йорке. Тут-то он и встретил мою маму, позже они обвенчались. Здесь, в Нью-Йорке, родились и двое моих братьев – Михаил и Петр, и сестра Анна. Все мы очень близки. Нас воспитали в любви к родной истории, родному языку, в православном духе. Я, как и братья, и сестра, учился в частной школе, где наша мама преподавала. Родственники, бабушки, дедушки заставляли нас чаще говорить по-русски. Дети, естественно, часто переходили на английский, и тогда бабушка кричала: «По-русски!» Значит, надо было повторить.

Петр работал в Марокко, он журналист, получил национальную премию за освещение президентских выборов в США в 1984 году. Сестра Анна работала в юридической конторе, потом менеджером в туристической компании.

Я закончил университет в Беркли, штат Калифорния. Меня очень заинтересовала европейская и в особенности русская история. Сейчас я продолжаю обучение в Лондонской школе экономики и изучаю судьбу и дела великого Столыпина, в особенности его реформы в области сельского хозяйства. Думаю поступить на работу в журнал «Форбс» (Тяжело перечитывать это сегодня, как знать, может быть, если бы Павел стал работать в другом месте, то остался бы жив? – Ф. М.).

С так называемой третьей эмиграцией из России у нас мало общего, потому что наши дедушки и бабушки были политическими эмигрантами, а наши родители эмигрантами себя уже не считали. Они больше американцы. У нас с новоприезжими мало общих интересов, да и живем мы в разных районах. У нас другой подход к политике и к жизни вообще, мы вполне чувствуем себя американцами. Хотя воспитывались в воскресных школах, ходили в русскую церковь, пребывали в отрядах скаутов, витязей… Образование у нас американское, а воспитание русское. Получилось весьма интересно, мы как бы носители двух культур. Отсюда и ощущение какой-то хорошей жизненной перспективы. Особенно сейчас, когда в России большие перемены.

Наши родители уже бывали в СССР в 60-х годах, а мы впервые оказались там два года назад. Я и все мы очень чувствуем близость с русскими людьми. А многие эмигранты, приехав в США, меняют фамилии, имена, они гордятся, что стали американцами. Да, американцы – справедливый народ, они

уважают этническое происхождение своих сограждан. Мы же не поменяли наши русские фамилии. Несмотря на то, что в нашу семью вошли американцы. (Через три года после нашего разговора Павел Хлебников женится на американке итальянского происхождения. – Ф. М.)

Во времена «холодной войны» нам, русским, было нелегко. Тогда звучало: если у тебя русская фамилия, значит, ты враг, ты коммунист. Да-да, нас так и называли – коммунистами. Несмотря на то, что многие наши родственники были убиты большевиками. Мы очень всем этим возмущались.

В последнее время, если честно, мы еще больше стали гордиться, что мы русские. Мы сострадали русскому народу во всех ужасах, случившихся с ним после 17-го года. Мы считаем это самой величайшей трагедией в истории человечества.

Хочу сказать, что между русскими и американцами много общего. Россия – огромная страна, и Америка – огромная страна, Америка заселялась 150 лет назад, и Россия осваивала свои сибирские и южные просторы в это же время. А ощущение географического пространства формирует характер, воспитывает любовь к природе, зовет к самостоятельности в жизни. Русские и американцы – люди сильной воли, натуры, очень гостеприимны. Они любят размах, широкие дела.

Стремиться к высотам карьеры, бизнеса доставляет нам большое удовольствие. Ведь американцы тоже такие. Иметь свое дело – это как иметь собственного ребенка. Ты его рожаешь, воспитываешь, ты его кормишь, лелеешь. Чувство собственности – это, быть может, главное в человеке. И дело не в количестве этой собственности, а в том, что ты чувствуешь себя полноценным человеком, твердо стоящим на земле.

Религия, вера в Бога тоже дают нам ощущение стабильности, морали, сострадания. Я никогда ни от кого из наших не слышал, что он атеист. Ведь атеист – ненавистник Бога, он против Бога. Агностик – это нейтральный человек: ни за Бога, ни против него. Но вера есть вера. Это особое. Недаром слово «вероисповедание» от слова «вера». Православие не может сделать человека эгоистом. Человек должен жить по совести, жизненная цель человека – не погоня за богатством, за материальным, она в духовности, в спасении наших душ. Ведь мы не одни на земле, мы живем среди людей. И жить среди людей надо честно.

Я, мои братья и сестра любим встречаться с русскими, вместе отмечать праздники, какие-то события, удачи. Мой старший брат Михаил рассказывал про одну пасхальную встречу, на которой были наша прабабушка Александра Федоровна Пущина, супруга Лаврентия Ивановича, внука декабриста, тетя Люба, княгиня

Оболенская, почетная дама с изящными манерами, великая княгиня Вера Константиновна Романова, дочь брата царя Константина Романова, известного еще как поэт К. Р. Все они сидели на одном большом диване, с каждым, кто входил в дом, христосовались, говорили добрые слова.

Я не помню, но другие, кто постарше, видели еще Александра Керенского, высокого худого сгорбленного старика, стоявшего перед причастием.

Все это наша история. И мы, носители русских имен и фамилий, живущие в Америке, ее продолжатели. Мы всегда будем гордиться, что в наших жилах течет русская кровь.

1988

Глава 28. Александр Яковлев – отец перестройки

Он переделал Горбачева

Много раз я слышал еще от своей владимирской бабки-крестьянки: легкая смерть – значит, Богом любим. Значит, человек был хороший. Конечно, многие сравнения хромают, но по отношению к Александру Яковлеву, который, придя домой с прогулки и сев в кресло, взял да и умер, это так. 81-летний мужчина принял легкую смерть 18 октября 2005 года. Как награду за то хорошее и благородное, что сделал для людей. За то, что всю жизнь к чему-то стремился, учился и стал академиком, воевал на фронте, был ранен, жене своей единственной верен был до конца дней. А прожили они 60 лет. За то, что другие люди – начальники из ЦК – рано заметили в смущающемся скромном парне достойного важной работы кадра. И пошел он вверх, добравшись до самой верхушки партийно-чиновничьей пирамиды. А позже, много лет спустя, с его легкой руки в стране началась перестройка.

И как бы ни оценивали ее современники и будущие поколения, те несколько разломных лет навсегда останутся не только в советско-российской, но и в мировой истории. Нынче, спустя 20 лет с начала перестройки, это стало ясно. И Александр Яковлев останется главным ее архитектором.

Александр Яковлев

Я оказался непосредственным свидетелем происходившего на фронте гласности с 1986 по 1988 год.

Работал я тогда в журнале «Огонек» под редакторством Виталия Коротича. Наш журнал, как известно, стал флагманом, знаменем перестройки и гласности. И, конечно же, ничего бы мы не сделали на том гласном фронте без Александра Николаевича. Ведь Горбачеву было не до нас, не до прессы. Он вершил все остальное, весь, как говорится, базис. Яковлев же возился с редакторами газет и журналов, с писателями, артистами, художниками.

О тех трех-четырех годах написаны десятки книг, созданы кино– и телефильмы. Но тема не исчерпана до конца. Оглядываясь назад, я вспоминаю, например, когда впервые и по каким поводам стали произносить имя Александра Николаевича, когда оно вошло в наш журналистский обиход. Говорили о том, что Яковлева вернул из «дипломатической ссылки» Михаил Сергеевич. Если бы не он, тянул бы Александр Николаевич свою посольскую лямку в Канаде до самой пенсии. Ведь десять лет отбывал он, бедняга, брежневское наказание за «идеологическую ошибку» – за статью в газете, в которой Суслов и его приспешники увидели «наезд» на их моральные устои.

Так вот, приехал с визитом в Канаду Горбачев и будто бы в первый же день проторчал он в сером посольском здании аж целых восемь часов. Потом они вышли, что называется, на свежий воздух и продолжили общение в пеших прогулках по посольскому саду, вдвоем, без всякой охраны и соглядатаев. И вот за эти-то часы Яковлев «перестроил» Горбачева, убедил его в том, что дальше так жить нельзя.

А. Н. Яковлев в зрелом уже возрасте стажировался в Америке, в престижном Колумбийском университете, и политологи считают, что именно пребывание в штаб-квартире высокой американской политики во многом перевернуло его сознание, изменило восприятие Яковлевым отношений между СССР и США. Позже факт колумбийской стажировки стал притчей во языцех при обличении Яковлева нашими «ура-патриотами». Дескать, американцы завербовали его крушить-ломать нашу страну.

…Когда к нам в «Огонек» пришел главным редактором Коротич, имя Яковлева стало в коллективе почти домашним. «Яковлев разрешил, Яковлев так считает, Яковлев рекомендует…» И мы старались «плясать под эту дудку», как только могли и умели. Кто более ярко и талантливо, кто сдержанно, но глубоко копая, кто с открытым забралом без всякой оглядки назад. А какие ребята, какие перья стояли тогда под яковлевскими

знаменами. Что ни имя, то история журналистики. Думается мне, всех их можно назвать яковлевскими солдатами, а их перья – перестроечными штыками. Артем Боровик, Александр Минкин, Дмитрий Лиханов, Владимир Яковлев, Дмитрий Бирюков, Андрей Караулов, Александр Радов, Константин Елютин… Их публикации читала вся страна, весь ошалевший от изменений в Советском Союзе мир. Это они своим мужеством и талантом препарировали, ломали старое, вчерашнее, полумертвое. Артем Боровик служил солдатом (это был шоковый эксперимент) в американской армии. Владимир Яковлев внедрился в логово подмосковных «люберов», чтобы узнать, куда они идут и чего хотят. Александр Минкин разоблачал «заразу убийственную» – преступления рашидовского клана в Узбекистане. Андрей Караулов впервые в прессе обнародовал скандалы в театральной среде. Дмитрий Лиханов наступал на милицейскую мафию… Всего не перечислишь. Перелистав подшивку «Огонька» за те годы, я насчитал более сотни ударных публикаций на самые разные темы. И вся эта работа была работой Александра Яковлева, который через главреда давал нам возможность проявить свои журналистские способности и политическое чутье.

Персональная пенсия для княжны Мещерской

Чуть ли не в каждом номере журнала выходили и мои интервью: с Виктором Астафьевым, Сергеем Михалковым, Иосифом Бродским, Артуром Миллером, Элемом Климовым, Анной Михайловной Бухариной-Лариной, Софьей Радек, Арсением Тарковским, Чингизом Айтматовым, княжной Мещерской, Ивом Сен-Лораном… И я думаю, что почти все они были благословлены сверху Яковлевым.

Однажды Коротич вызвал меня в кабинет и бросил: «Вас вызывает Александр Николаевич». – «Зачем я ему понадобился?» – «Вам скажут на месте. Что-то, связанное с княжной Мещерской». А до этого я с помощью Беллы Ахмадулиной познакомился с Екатериной Александровной, человеком трагической судьбы. Взяв у нее интервью, я никак не находил время обработать его и отдать в печать. Прошел месяц, неподготовленный материал пылился на рабочем столе. По-видимому, в это время Мещерская написала письмо о своей тягостной судьбе Раисе Максимовне Горбачевой.

Так вот, сломя голову помчался я в здание на Старой площади, получил пропуск, взбежал на четвертый этаж и вошел в помещение, на двери которого висела табличка «А. Н. Яковлев».

Но к члену Политбюро меня не позвали: «Александр Николаевич сейчас занят». Его помощник протянул мне какое-то письмо и предложил ознакомиться с его содержанием здесь же в комнате, за столом у окна.

Мы хотели, чтобы вы использовали это письмо для публикации в «Огоньке», – напутствовал меня цековский работник.

Текст оказался довольно длинным, на десяти страницах, и, как только я начал читать, меня околдовала красивая, грамотная интеллигентная русская речь. Это было письмо-обращение Мещерской к жене генсека с приколотой к верхнему уголку маленькой запиской от Раисы Максимовны: «А. Н. Яковлеву. Прошу помочь».

Мещерская рассказывала о своей тяжелой жизни, об отце и матери, о роде князей Мещерских, верой и правдой служивших государю и Отечеству, о несметных богатствах своих предков, теперь принадлежащих государству. О том, что после революции она работала ткачихой и дворничихой и ее много раз арестовывали… Моя героиня молила Раису Максимовну о

помощи. Она извещала, что сохранила серьги Натальи Николаевны Гончаровой, которые мать подарила дочери, когда та выходила замуж за Пушкина. Мещерская хотела предложить эти рубиновые серьги в Фонд культуры СССР, который курировала тогда Раиса Максимовна Горбачева. Рассказывать всю эту историю дальше нет необходимости. Скажу лишь, что после моей публикации в «Огоньке», благословленной Яковлевым, у княжны Мещерской резко улучшились условия жизни и быта. Она стала получать персональную пенсию.

Говорили, что его настоящая фамилия Эпштейн

В конце 1986 года, когда перестройка начала плавно набирать обороты, по инициативе заведующего отделом литературы «Огонька», горячего радетеля отечественной культуры Владимира Петровича Енишерлова мы решили попробовать опубликовать стихи великого поэта Николая Гумилева, имя которого было в забвении целых 60 лет. В советские годы он считался контрреволюционером, и о возврате его творческого наследия читателям и во сне никому не снилось. Завотделом, согласовав проблему с главредом, поручил мне заняться письмом в Политбюро. В течение короткого времени мне удалось собрать подписи под этим письмом видных деятелей советской культуры. Первую подпись поставил Валентин Распутин. Специально за этим я летал к нему в Иркутск. Не за очерком, не за интервью, а за одним-единственным росчерком пера под обращением государственного значения. Недешево обошелся издательству «Правда» этот автограф. У Распутина я пробыл 10 минут. Ближайшим рейсом вернувшись в Москву, я помчался в Ленинград к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, который с воодушевлением принял наш призыв. Затем свои подписи поставили Сергей Бондарчук, Евгений Евтушенко, Евгений Велихов, Илья Глазунов… Отказался только Роберт Рождественский, мотивируя тем, что он не участвует ни в каких коллективных акциях.

Конверт с письмом я отвез в ЦК партии для передачи секретарю ЦК КПСС, члену Политбюро Яковлеву… И, о чудо! Буквально в ближайшем номере появились стихи опального поэта. Это была сенсация. Впервые за 60 лет открытая, наша советская, не тамошняя, не американская публикация стихов трагически погибшего поэта, мужа Анны Ахматовой. Люди не верили своим глазам…

Не могу не вспомнить ошеломляющую реакцию миллионов читателей на публикацию Артема Боровика о службе в армии США и на его мужественные афганские очерки. Артем казался еще совсем мальчишкой, открытый, прямой, упрямый. Он не боялся рискованной командировки в пекло страшной войны, а погиб в мирное время на вершине своей карьеры. Не исчерпав ни творческих, ни организаторских способностей. И, конечно же, Артем Боровик тоже творил под зорким оком Александра Николаевича, «дяди Саши», как иногда мы его называли.

Яковлев был открытым человеком, а его атаковали, как правило, исподтишка. В последний же год его пребывания в Политбюро «ура-патриотическая» братия поперла в открытую. Коротич вспоминал, как Яковлев удивленно показывал ему листовки, разбросанные на Старой площади, у входа в ЦК. В них сообщалось, что он происходит из старой еврейской семьи, а настоящая его фамилия Эпштейн. «У нас в Ярославской области и евреев-то почти не было», – окал он по-волжски и хохотал.

Думаю, вряд ли среди советских партийных иерархов был человек такой широкой образованности и глубокого ума. Система приподняла его и, испугавшись, быстро убрала-упрятала, понизив в должности и рангах, потому что он был слишком умен и честен, чтобы и дальше оставаться в лидерах и идеологах главной партии.

За Яковлевым закрепились титулы «архитектора перестройки» и «отца гласности», которые до сих пор используются как людьми ему симпатизирующими, так и противниками. С самого начала перестройки Яковлев оказался основной мишенью политических атак со стороны лидеров коммунистического фундаментализма, шовинистических и антисемитских группировок. Бывший председатель КГБ В. Крючков обвинил Яковлева в связях с западными спецслужбами. По требованию Яковлева это обвинение было расследовано Генеральной прокуратурой, которая установила клеветнический характер утверждений Крючкова.

Отвечая на обвинения в «антипатриотизме», Яковлев говорил: «Патриотизм не требует шума. Это, если хотите, в известной мере интимное дело каждого. Любить свою страну – значит видеть ее недостатки и пытаться убедить общество не делать того, чего не надо делать».

Он ушел из жизни и впрямь непобежденным. Несломленным. Он умер тихо. Но прожил так громко и всеохватно, как искрометный майский гром.

Октябрь 2005

Глава 29. Михаил Содоменцев – соратник пяти генсеков

Откровения бывших членов Политбюро еще несколько лет назад казались фантастикой. Во времена генсеков не принято было выносить сор из избы. Между прочим, и сейчас многие «бывшие» не очень-то делятся своими воспоминаниями. Вполне возможно, срабатывает рудимент опаски, недавно за одно неосторожное слово можно было лишиться должности, да и не только… Бывший член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР, Председатель Комитета партийного контроля Михаил Сергеевич Соломенцев тоже поначалу размышлял, а стоит ли исповедоваться перед журналистом. Потом решился и принял меня в полной книг и всевозможных сувениров квартире в Леонтьевском переулке…

За трещины в здании сняли главу госстроя

– Михаил Сергеевич, в свое время ходила такая шутка: дескать, открыли сто первый элемент таблицы Менделеева под названием «политбюрит».

– Действительно, смешно, но хорошо, что Менделеев до этого не додумался.

– Зато кому как не вам знать, кто такой этот «политбюрит». Вы ведь были на вершине власти в годы правления пяти генсеков – Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачева. В моем представлении, без решения Политбюро в стране ничего не решалось. Пикнуть было нельзя.

– Знаю одно достоверно: только при Сталине Политбюро было мощнейшим органом. Единым кулаком. Дураков в нем не было. А после количество членов Политбюро менялось и доходило до двадцати человек, но качество работы этой ударной бригады было менее эффективным.

– Это был совещательный орган или каждый в отдельности обладал особой властью?

– Особой власти у членов Политбюро не было. Но я как председатель Совета Министров ею обладал. И то, только тогда, когда Политбюро давало мне какие-то поручения.

– Например?

– В Волгодонске Ростовской области построили большой завод «Атоммаш». И вдруг по корпусам, по стенам домов пошли трещины. А закупленному оборудованию цены не было, очень дорого оно нам обошлось. Доложили об инциденте Андропову. Собирается Политбюро. Спрашивают Новикова, председателя тогдашнего Госстроя: «В чем дело?» А тот ничего ответить на вопрос не может. И мне поручают ехать на место и все выяснить.

– Жуткая история, напоминает о трагических событиях рухнувшего столичного аквапарка. Если бы там своевременно обнаружились неполадки… Ну а вы с Волгодонском разобрались?

– Да, и довольно быстро. Новикова вскоре освободили от обязанностей.

Андропов принял меня в больнице

– Расскажите, почему все же покончили с собой министр внутренних дел Щелоков и его жена?

– Разобраться с Щелоковым было особым поручением Политбюро. Я этим занимался. Дело по тем вроде бы строгим временам было позорное. Министра обвинили в стяжательстве, во взяточничестве, в нарушении норм и партийной жизни, и простой человеческой морали. Щелокова исключили из рядов КПСС. Он подал апелляцию в комиссию партконтроля. Но мы оставили дело без изменений. Николай Анисимович пришел ко мне в приемную, но не застал. А на другой день мы были шокированы известием о самоубийстве бывшего министра. Ко мне на прием приходила его дочь и рассказывала леденящие кровь подробности трагедии: «Отец выстрелил себе в голову из охотничьего ружья… По всей комнате разлетелись мозги…» Дочь министра хотела убедить меня, что отец ни в чем не виноват, а главное – боялась за себя и за всю семью. Я как смог успокоил ее: «Никого из вас не тронут…»

– Не страшно было вершить чужие судьбы?

– Ответственно. Помню, когда меня назначили на пост Председателя Комитета партконтроля и я принял дела, был очень удивлен: вместо рассмотрения серьезных государственных проблем контроля за соблюдением партийной дисциплины КПК занимался «мелочевкой»: усмирял пьяниц, сводил и разводил неуживающихся супругов.

И еще, я был поражен, узнав, что выполнение решений и правительства, и Политбюро зачастую не контролировалось. Даже в армии, на флоте. Поняв это, я решил доложить обо всем Андропову. Он лежал тогда в ЦКБ, но почти сразу меня принял в больничной палате. Я рассказал ему, в частности, о дедовщине в армии. Министра обороны Соколова вызвали на ковер в Политбюро. Ох, и горячо ему было на нем стоять.

– Я слышал, что летчика Руста[20] посадили на Красной площади специально для того, чтобы подставить Соколова. Тогда маршала и сняли.

– С Рустом, конечно, была глупость. Мальчишку пропустили чуть ли не прямо в Кремль. У Соколова, видно, не хватило командирских качеств: спрашивать, требовать. А как без этого в армии?

– Быть членом Политбюро – работа напряженная. Приходилось ли вам ночевать на рабочем месте?

– Случалось. В 1968 году, когда мы вводили войска в

Чехословакию, этот вопрос решался в самом узком кругу. Боялись, чтобы не поднялось народное восстание, не взбунтовалась Прага. Действовать надо было без стрельбы, аккуратно. Ввели войска, и даже мы оказались на казарменном положении. Вот тогда-то я ночевал у себя в кабинете.

– Интересно, какие сны видел в те дни Леонид Ильич, лежа на раскладушке. Кстати, вы тогда знали, что народ смеялся, когда Брежневу вешали очередную награду?

– Да нет… Все, конечно, голосовали «за». Случаев «против» не было. Задача была – поддержать авторитет первого лица. Хрущев тогда надоел, напортачил много, набороздил, а Брежнев был по характеру покладистый, мягкий, более человечный. Позже звучало много разговоров о кандидатах на пост генсека, говорили о Гришине и Романове. Всем хотелось стабильности, у каждого члена Политбюро были и свои интересы.

Чаушеску был хитрый интриган

– Политбюро, Кремль, как известно, управляли не только Советским Союзом, но и считали себя полухозяевами в странах социализма. Какая страна была закреплена лично за вами?

– Я был ответственным за контакты с Чаушеску, встречал его, провожал, ездил в Румынию. Как говорится, был в курсе.

– Любопытно, как это происходило, каким был «обожаемый» всем румынским нищим населением «дорогой Николае»?

– С ним мы много общались, ужинали, обедали, разговаривали. Чаушеску был спокойный, сдержанный в общении, я бы даже сказал, суховатый, без лишних эмоций человек и государственный деятель. Хитрый был, интриган. Но держался свободно, по-свойски. Ни разу не затрагивал проблемных моментов, за которые мы его критиковали. Последняя с ним встреча была в Бухаресте в 1987 году, накануне семидесятилетия Октябрьской революции. Вошел в кабинет, часа два сидели, о многом говорили. Час он говорил, час – я. Запомнилось, что он был доволен освобождением страны от внешнего долга. Дескать, теперь будем все на себя тратить. Претензий к Советскому Союзу не предъявлял, обид не высказывал.

– Ваше отношение к нему не изменилось после того, что вскоре случилось в Румынии? Ведь дело закончилось расстрелом Чаушеску и его жены. В 1990 году меня пригласили в Бухарест по журналистским делам, мне показали огромный Институт геронтологии, который работал только на Чаушеску – чтобы он жил вечно.

– Мне ничего такого не известно. Были какие-то разговоры о его дворцах, шубах жены. Еще говорили, что его жена любила животных, особенно собак. Что касается расстрела, то это все ужасно. Я считаю это варварством. Ведь не было ни суда, ни следствия. Никаких обвинений. Зачитали приговор, вывели во двор и расстреляли. Разве это не полное беззаконие?

Замерз у Фиделя Кастро

– Кто еще из западных лидеров был под вашим кураторством?

– Фидель Кастро. Я был у него на Кубе много раз. Встречал он по-доброму, в политике вел свою линию. От социалистических принципов не отказывается до сих пор. Однажды, когда я прилетел к нему на празднование какого-то юбилея, мы проговорили с глазу на глаз чуть ли не до рассвета. В глухом помещении с включенным кондиционером. На нем были две куртки, теплые ботинки. А на мне – рубашка да майка, легкие туфли. В ожидании торжественного приема мы просидели, не вставая, более трех часов. Продрог я тогда страшно. На приеме пробыли полчаса, и Фидель снова позвал меня в то же помещение. И снова проговорили много времени. Он известный говорун, оратор. Заслушаешься. Обладал редкостной памятью, сыпал цифрами, датами. С любовью рассказывал о Латинской Америке, причем то, что я нигде не мог вычитать. Он выдавал информацию, как автомат.

– Просил помощи, чтобы мы Кубу не бросали?

– Да нет, все такие вопросы решались на самом высшем уровне.

Произвели на меня впечатление и камеры в крепости Монкада. Кастро ходил, показывал, вспоминал, как воевали.

– Кеннеди, небось, поносил почем зря?

– Америку, действительно, сильно ругал: такие-сякие… Все повторял: «Что мы им плохого сделали?»

– Чем угощал-потчевал?

– Да вода на столе стояла – и все. Ну а потом на крохотной дачке, там тоже была холодина, за большим столом вроде бы хорошо поужинали. Я налегал на сыры, покажешь пальцем на какой-то кусок – тебе и отрежут.

– Когда выезжали за границу, наличные вам выдавали? Или, как считал народ, все на гособеспечении?

– Давали суточные. Я их тратил на сувениры.

– Интересно, а какая зарплата была у члена Политбюро?

– Я получал 1200 рублей, их переводили на сберкнижку. Когда были нужны деньги жене, приходила кассир, и я получал конверт с наличными. Если спросите про налоги, то вычитали, как и у всех.

– Вы свою жизнь не страховали?

– Нет, никогда.

– Но ведь вы не только в Кремле сидели, но и на самолетах часто летали. А вдруг…

– Что сделаешь. Надеялись на лучшее. Да, летал в США во главе делегаций представителей совминов республик в качестве ответного визита к нам американских губернаторов. Мы-то летали, конечно, без жен, а те к нам – с женами. Запомнилась такая деталь: на них произвела огромное впечатление дешевизна наших детских товаров. И вкусные кондитерские изделия: «Такого нет нигде в мире, – восхищались они. А я им в ответ одно: „И вам, в Америке, надо социализм строить“».

– Но, видно, не послушались вас, Михаил Сергеевич, до сих пор живут при своем «захудалом» капитализме. Как, впрочем, теперь и мы с вами. Выгляните в окно. Согласны?

– Да я нынче редко выхожу на улицу, мне уже десятый десяток пошел. И я больше живу прошлым. Вспоминаю, анализирую, сопоставляю…

2005

«Последний рыцарь коммунистической эпохи», как называли Михаила Сергеевича Соломенцева, скончался 15 февраля 2008 года на 95-м году жизни. По словам его коллег, людей такой эрудиции в советской политике было крайне мало.

Глава 30. Судьба князя Тарановского – кровавая история русского XX века

Он потомок двух славнейших и древнейших родов.

По отцу – рода Тарановских – Черниговских князей, по матери – рода Воротынских, представителя которого – князя Воротынского – Пушкин вывел действующим лицом в «Борисе Годунове».

Скучная для непосвященных и нелюбознательных кровавая наша история вобрала в себя и жестокую повесть о жизни моего героя – князя Тарановского, нашего современника. Жгучими отметинами остались в его биографии эмиграция, КГБ, двадцатилетний срок заключения без суда и следствия, лагеря в Голодной степи, смертельные уколы чекистских «врачевателей». А также реабилитация и ничтожная пенсия… Все то, что пережил А. А. Тарановский…

Когда началась война с Гитлером, Анатолий Тарановский, живший тогда в Шанхае, пришел в советское посольство и попросился на фронт. Но ему нашли другое ответственное задание. Посольство получало радиоаппаратуру из США, требовавшую правильной настройки. Анатолий умел это делать великолепно. Связь с Москвой стала безотказной.

Работая на американском аэродроме, он раздобыл систему наведения самолетов и посадки «вслепую», которой у СССР тогда не было.

В 1947 году Тарановскому удалось выскользнуть из рук американской контрразведки и покинуть Китай. Но на исторической родине его ждали не почет и уважение, а 20 лет лагерей за… шпионаж! В Марфинской шарашке высококлассный радиоэлектронщик Алексей Тарановский стал одним из создателей шифровального прибора для телефонных переговоров Сталина. После реабилитации работал в радиоэлектронной промышленности. Под его руководством были радиофицированы Кремлевский Дворец съездов, Останкинская телебашня, многие олимпийские объекты 1980 года. Он любил повторять: «Мы – русские, и нас не сломит ничто».

Ты мне не сын и сестрам твоим не брат

– Многие годы я никому ничего не говорил о себе. Кто мои родители, кто я, какое отношение имею к древнему русскому роду Тарановских-Воротынских. Тем более, я молчал о том, что делал в Китае, как помогал в трудные времена Советскому Союзу, работая на военную разведку могучей державы, на Сталина… Я жил прошлым, своими воспоминаниями, и нести их груз одному было очень тяжело. Теперь мне стало легче. Я многое рассказал и живу сегодняшним днем. Сложная моя жизнь, к сожалению, подходит к концу. Но мне не хочется тихо и мирно в постели уйти в небытие. Вот вспыхнуть бы где-нибудь и как-нибудь, чтобы сразу вмиг, точно в бою, превратиться в частицу мироздания, вечности. Так погибали в ратных подвигах мои предки, верой и правдой служившие царю и Отечеству. Обо всем, что пережил, перечувствовал, не упомнишь. Самое страшное, что я бросил маму. Она была против того, чтобы я покинул родной мне Китай и поехал в Советский Союз. «Если ты сделаешь это, ты мне не сын и сестрам твоим не брат», – говорила она. Роковые слова, для семьи я был похоронен заживо.

Когда я окончательно склонился к тому, чтобы уехать в Советский Союз, то написал об этом маме в Харбин. Писал мучительно, рука дрожала от волнения. Как она воспримет такое решение? Наверное, надо было к ней поехать и лично поговорить о предстоящем повороте в моей судьбе, но шла война, дороги закрыты, поездка могла быть опасной.

В ответ на мое письмо мама написала буквально следующее: «Ты уже большой, самостоятельный, ты можешь все решать сам. Но знай: мы все против: я, твои сестры, – все. Так что делай, как хочешь, поступай, как хочешь». Но «против» – для меня уже было поздно. Я и женился-то на Соне, первой своей жене, тоже против воли родителей, и особенно сестер. Никто из них не держал в голове даже мыслишки уехать в сталинскую Россию. Анна вышла замуж за крупного физика-математика, англичанина Гарри Оре. Он преподавал в Гонконгском университете, получал большое жалованье. Когда началась война, Анну как британскую подданную интернировали. Под Циндао был замечательный город на берегу моря, а в нем лагерь под названием «Вейсан». В этом лагере она, бедная, просидела целых четыре года. Когда вышла из заключения, сразу же уехала в Англию. Проездом Анна побывала в Шанхае, посетив нашу общую с ней знакомую – дочь графа Разумовского. У графа была огромная семья – десять девочек и три мальчика. Все девочки такие хорошенькие,

красивые, ласковые, воспитанные. С одной из них, Викой, я дружил. И вот, пригласив меня к себе домой, Вика и сообщила неприятную для меня новость: Анна, моя старшая сестра, зная, что я женился против воли семьи, не захотела со мной даже попрощаться. Потому что мама сказала девочкам: «Анатолий мне больше не сын, и он не ваш брат».

Так что мое своеволие, а потом дружба с Советами, обошлись мне очень дорого. Я потерял семью, которую очень любил, дом, где жили мои сестры. Перед самым отъездом из Китая я получил письмо из Америки от одной из них – Музы. Она писала: «Из Китая приехали американцы, они были моими гостями и весь вечер говорили о тебе. Твердили, что „Толя очень толковый парень“. После того как они ушли, я решила, что ты непременно должен приехать в Америку. Я сделаю тебе вызов, здесь ты развернешься, покажешь свои способности. Используй благоприятный момент».

Но я не послушался сестру. Уже не хотел. Да и не мог. Вместо выезда в Штаты я с женой уехал в Советский Союз. Нам, эмигрантам, и тем, кто родился по тем или иным причинам за пределами России, разрешили приехать или вернуться на свою историческую Родину. Это потом я понял, что нас заманивали, чтобы при первой возможности арестовать. Ведь не доверяли всем поголовно.

Секретная карта Добыта из-под носа Эйзенхауэра

– Когда президент США Эйзенхауэр приехал в Шанхай, со мной произошел забавный случай. Моя Соня ждала первенца, а когда позвонили, что она родила, я очень переволновался. До этого в столовой я переел бобов с томатом и салом. Ехать домой после ночного дежурства было поздновато, и я пошел в штаб отдохнуть. Только прилег на кровать, как меня затошнило. Высунул голову в окно, и все содержимое неудачного ужина опростил вниз. А там висел американский флаг. Конфуз. Утром на построение приезжает Эйзенхауэр. «Кто это сделал? – закричал он. – Вы тут все пьянствуете. Позор! Кто это сделал?» Но мой след уже простыл – я сел в джип и умчался. Потом мне рассказали, что генерал дал всем ужасный разнос. Но так никто и не узнал, кто опозорил американский флаг.

…В те же дни я сумел выполнить одно довольно важное задание. Джеймс Лейкин, сын американского сенатора, пригласил меня на встречу с Эйзенхауэром. Встреча проходила в американском клубе рядом с нашим консульством. У меня был хороший автомобиль Бьюик Делюкс, 180 лошадиных сил. Ездил я хорошо, скорости не боялся. На встречу с генералом примчался на машине. Мы все основательно тяпнули, а я знал, что у капитана Белинского, американца польского происхождения, есть стратегическая карта нанесения ударов после войны. Он сам мне ее показал – настолько я был в доверии у американцев. Карта лежала у него в штабном столе. Поскольку в штабе не могло быть посторонних, Белинский не боялся за секреты, которые ему доверялись командованием.

Я веселил супругу Эйзенхауэра, мы с ней танцевали и болтали, потом она объявила, что должна посетить туалет. А я в ответ сказал, что мне тоже нужно пройтись, освежиться на воздухе. В голове же у меня был свой план. В мгновение ока я оседлал свой джип, стрелой помчался на базу. Меня там, конечно же, знали и впустили в помещение, где лежала карта Белинского. Маленьким советским аппаратиком величиной с зажигалку я снял секретную карту. Вышел, сел в машину и со скоростью 150 километров в час помчался обратно.

Что бы вы думали, хоть слово благодарности за добытые военные сведения я получил? Ничего…

Виноват ли я перед Америкой?

Анатолий Александрович до сих пор чувствует свою вину, вольную или невольную, перед Америкой. У американцев, которые, поддерживая Чан Кайши, чувствовали себя полухозяевами Китая в те далекие годы, он многому научился. Еще бы, пытливый, тянущийся к техническим знаниям молодой человек, восхищавшийся достижениями американской науки и техники, он с жадностью постигал секреты самых совершенных в те времена технологий. Особенно в области радиоэлектроники. И военные спецы, ощущая в русском китайце тягу к знаниям, освоению нового, передового, не раз предлагали ему уехать в Штаты.

– Конечно, на фоне настоящих специалистов-американцев мне было трудно выйти на первые роли. Но я очень старался.

Я очень быстро освоил все радиоэлектронные передатчики. Потрошил их вдоль и поперек, до самой внутренней обмотки, до последнего винтика. И вот приезжает из Америки большая группа специалистов по антеннам. Им была необходима устойчивая и надежная связь с Сан-Франциско, с островом Окинава, где у них стояли военные базы. Меня представили начальнику группы господину Смоллу. И он сказал: «Анатолий, я представляю ACS, я дам тебе возможность прослушать курс по самой закрытой аппаратуре, но для этого надо пройти собеседование». «Что ж, надо так надо, я готов», – твердо ответил я.

Сняли с меня отпечатки пальцев, причем со всех пяти (это у них считалось высшим допуском к секретной работе), и тут же дали разрешение на работу с самой закрытой информацией. И я, конечно же, сполна воспользовался представившейся возможностью – познал все. И помог группе навести непрерывный воздушный мост за сотни и тысячи километров. Я настраивал передатчики так, что работали они безотказно и выполняли все необходимые американцам военные функции.

А дальше произошел неожиданный для всех инцидент, который мог бы закончиться для меня трагически. Мой контракт с американцами заканчивался в конце 1947 года, но в ночь на Рождество рухнули на землю сразу три самолета. Причина – команда, причастная к обслуживанию полетов, напилась вдрабадан. Я весь в сборах к отъезду в Советский Союз, а пришедшие гости из аэродромного начальства стали меня уговаривать продлить контракт. «Мао наступает, и нам надо продержаться несколько месяцев». И снова позвали меня передислоцироваться с ними на Окинаву. «Спустя год-два ты

получишь вид на жительство в Америке», – заманивали они.

Ну а пока мне надо было исправлять кризисную ситуацию. Как говорится, назвался груздем – полезай в кузов. Начал с ремонта маяка, без сигналов которого самолеты летать не могли. Пришел в помещение и поразился – повсюду валялись банки из-под пива. Да, здесь была хорошая попойка. Старший по дежурству на маяке американец, увидев меня, обрадовался и обратился к Метцу, инженеру, выходцу из Германии: «Вот приехал Толя, он тебе, Метц, поможет». А тот в ответ, зло и резко: «Не надо мне помощи, эти русские – наши враги». Что мне было делать? Как вести себя? Я повернулся и направился к двери. Американец закричал: «Нет, не уходи». А Метц в ответ: «Ах так, тогда или я, или он». И американец отрезал: «Метц, ты можешь уйти с маяка». И оскорбленный Метц пулей выскочил вон.

А я довольно быстро – в течение двадцати минут – определил причину аварии, нашел место поломки: надо было заменить конденсатор и трансформатор. Мне тут же их доставили, я все наладил, и уже через час маяк снова заработал.

Выполнив просьбу-задание командования, я с легким сердцем направился в столовую. Была суббота, и я знал, что по субботам служащих части кормили бесплатно и только выпивка – виски – стоила три доллара. Выпивать мне не хотелось, и, скромно устроившись за свободным столом, я начал трапезу. И вдруг, по-видимому, узнав, что «русский враг» устранил неполадки на маяке, и не в силах пережить такое унижение, пьяный Метц с криком «Я покажу сейчас этому русскому!» ворвался в столовую. В руках он держал 16-зарядный карабин-полуавтомат и сразу же направился в мою сторону. «Я убью тебя, я размозжу тебе голову!» – орал он во всю глотку. И нажал на спусковой крючок. Прямо в упор. И здесь произошло странное – оружие дало осечку. Вообще – и это особая тема – я замечал, что много раз в моей долгой жизни в самые критические моменты судьба поворачивалась ко мне лицом. Так было и здесь – щелчок, а звука нет. Американцы, поняв, что дело серьезное, схватили нападавшего за руки, выхватили оружие и скрутили бузотера. Потом много раз я вспоминал ужасный эпизод и думал о том, что смерть дышала мне в затылок. Но, видно, было еще рановато. Разве мог я предположить, хоть на мгновение, что пройдет всего лишь год с небольшим, и в глаза смерти я буду смотреть много раз. И это будет далеко от Шанхая, на родине моих предков.

Побег в СССР

– Как я уезжал, а точнее бежал, из Китая? Почти детективно. Американцы, с которыми я работал, относились ко мне очень хорошо, уговаривали уехать в Америку и продолжать с ними работать. Среди них был Джеймс Лейкин. Мы были с ним настоящими друзьями.

Контракт с американцами заканчивался, но они были на сто процентов уверены, что я уеду в Америку. Они знали, что сестра прислала мне письмо с приглашением. Но я уже уволился с работы. Поскольку я продал свое жилье, то временно поселился в квартире советского посла. Стал чувствовать, что за мной следят – звонили, проверяли, дома ли я. Ясно было, что вот-вот прихватят. И я задумал опередить преследователей – в 8 часов вместо 12-ти прибыл на теплоход «Гоголь», стоящий под парами для отправки в сторону Владивостока. Ступив на трап, я мгновенно оказался на территории Советского Союза. А в 11 часов к причалу неожиданно подъехали два джипа с американцами. В одном из них сидел Джеймс Лейкин. В его глазах был ужас. Он понял, что я уезжаю, что я его предал.

КГБ: допрос с пристрастием

– Осенью 1947 года я прибыл в Советский Союз. Поселился на Урале. Потом вместе с женой и маленьким сыном перебрался в Свердловск. В городке чекистов я получил комнатку. Офицерский паек давал возможность нормально существовать. Вроде бы все шло хорошо.

Но вот в один прекрасный день, как сейчас помню, 4 сентября 1949 года, сижу я в местной киностудии научно-популярных фильмов и выполняю свою работу. Раздается телефонный звонок: «Вы можете прийти в МГБ?» (Министерство государственной безопасности.) «Конечно, приду», – спокойно ответил я.

Приезжаю, докладываю, захожу в кабинет генерала Золотова. «Ну, как живешь?» – «Нормально, сейчас занимаюсь дубляжом фильмов „Суд чести“, „Сельская учительница“ и других. Перевожу на французский, немецкий и английский». Генерал в ответ: «Мы это хорошо знаем». И сразу же без всякой паузы: «Но у нас есть мнение, что ты не борешься за советскую власть». Вопрос для меня был неожиданным. «А как я, собственно, должен за нее бороться? Расскажите, посоветуйте, какую борьбу я должен вести за советскую власть? Считаю, что, занимаясь фильмами „Ленин в Октябре“, „Суд чести“, я и борюсь за нее как могу. Что же еще я должен делать?» – «Да, но вокруг тебя шпионы, Власов, Петров, Сидоров. Они же шпионы». – «Если они шпионы, хорошо, что вы их обнаружили. Просто здорово!» – «Здорово-то здорово, – продолжал генерал, – но только вот что: я сейчас иду обедать. Даю тебе три листика бумаги, и ты должен написать все, что тебе известно о шпионской деятельности внутри киностудии. Напиши, что эти люди завербованы в Шанхае и прибыли в СССР с определенными заданиями». Я говорю, что мне незнакомы эти фамилии и я ничего не знаю об их шпионской работе. «Как не знаешь?» – раздраженно, с упреком и, по-видимому, с разочарованием продолжает наступать на меня Золотов. «А вот так, не знаю», – отрезал я. «Ну ладно, заканчиваем наш разговор, повторяю: я иду обедать и к моему возвращению ты должен написать все, о чем я тебе сказал». И хлопнул дверью, оставив меня один на один с чистыми листами бумаги.

Что делать? В Свердловске осень, погода сырая, мрачная. Настроение паршивое. Взял ручку и коротко написал о том, что, да, я знал хорошо этих людей, что, как и я, они всегда стремились в Советский Союз. Хорошо работают, всем довольны.

Вернувшись с обеда, генерал сразу же заглянул в мои записи и покраснел, как помидор. «Ты что, дурака из меня делаешь? Тебе

сколько лет?» – «Двадцать семь». – «Двадцать семь плюс двадцать пять – сколько это будет?» Я говорю, что довольно много, пятьдесят два года. «Так вот, – устрашающе продолжал экзекуцию глава свердловского МГБ, – если сейчас здесь же не напишешь всего, о чем я говорил, ты выйдешь на свободу через двадцать пять лет». Что мне было делать, как отвечать на эту угрозу? Но я, как ни странно, довольно спокойно, а может быть, и уже обреченно сказал: «Писать ничего не буду». «Не будешь?» – зловеще заорал генерал и нажал какую-то кнопку.

Пришли люди, сняли с меня галстук, американские (довольно хорошие) часы. И началось следствие. А точнее, банальный допрос.

И пошло-поехало… мне то не давали спать, то вызывали к следователю. Так продолжалось несколько месяцев. Я не мог понять, чем все это закончится, что со мною будет.

И вот 31 декабря 1949 года мне зачитывается приговор Особого совещания: «20 лет исправительно-трудовых лагерей. Поражения в правах нет, ссылки нет». Подписывать собственный приговор я отказался, считая, что «наказание» сфальсифицировано и я его не заслужил.

Но мои эмоции и мое возмущение никого не трогали. Меня отвезли в тюрьму, и стал я вместе с другими арестантами готовиться к этапу.

В Степлаг – на 20 лет

Привезли нас в Голодную степь, где располагался один из лагерей для заключенных.

В Степлаге выжить было трудно, мне повезло, что я не попал в общий поток приговоренных к гибели.

А спас меня случай. Идя однажды на работу в каменоломни, я увидел в стороне от дороги валявшиеся бесхозные моторы. Они свое отслужили, но мне пришло в голову предложить бригадиру их восстановить. Я это умел, понимал, что надо делать. В ответ меня направили к начальнику, русскому немцу, который тоже отбывал срок. Я предстал перед ним и довольно решительно предложил свои услуги по перемотке утраченного механизма. И сделал все как надо. С этого момента моя жизнь изменилась: конкретная работа, нормальное питание, из скелета я стал превращаться в нечто похожее на человека. И уже через шесть месяцев вместо объявленных двадцати лет меня выпустили из Степлага и переправили в Москву. Как специалист я понадобился в шарашке, той самой, которую позже опишет Александр Солженицын в «Круге первом».

Шарашка, Солженицын, Копелев…

– С Александром Солженицыным мы были в одной Марьинской шарашке. Но встретиться с ним не пришлось по простой причине: когда меня привезли, его уже там не было. Но из бесед с Львом Зиновьевичем Копелевым, другим знаменитым «марьинским» сидельцем, с которым мы подружились, из разговоров с людьми, жившими бок о бок с Александром Исаевичем, я многое узнал о будущем авторе «Архипелага ГУЛАГ».

Копелев многому меня научил. Например, писать прошения, ходатайства. Он звал меня Сисан, по-китайски «учитель». Потому что я тоже старался всем помогать выживать в неволе. «Не пиши длинных просительных писем, – говорил Копелев, – никаких пяти или шести страниц. Все излагай на одной. Начальство не любит читать большие рапорты. Суть дела излагай емко и скупо». И я написал: «Не понимаю, что такое „Особое совещание“. Я вырос в Китае и приехал в СССР из Китая. Прошу пересмотреть мое дело и, если виноват и сознаюсь в своей вине, прошу расстрелять». Я написал и Ворошилову, он тогда был председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Смертельный укол

– Много в моей жизни было тяжелого, страшного, унижающего человеческое достоинство. И, наверное, я человек неслабый, если многое сумел пережить. Но одно обстоятельство, связанное с моим заключением и работой в закрытой воинской части № 1201, не дает мне покоя до сих пор. Я говорю об этом впервые.

После окончания срока «наказания» в отдельном лагерном пункте тюремного отдела КГБ при Совете Министров СССР 16 мая 1955-го, я, конечно, ждал реабилитации. Работал в должности старшего инженера. У власти был Хрущев, и этот короткий период его правления Эренбург назовет «оттепелью». Но оказалось, что вся эта государственная камарилья, которой я был вынужден служить верой и правдой, продолжала замышлять против меня и таких же, как я, воистину шекспировскую месть и казнь. Да что Шекспир, страдания его героев – детские забавы в сравнении со страданиями тех, кто попал под молот чудовищной карательной системы той эпохи.

Вместе со мной работали два сотрудника – Барышев и Надеждин, здоровые, крепкие мужчины. Зимой они выбегали на снег, делали гимнастику, круглый год обтирались холодным полотенцем. Они тоже, как и я, ждали реабилитации после освобождения. И вот как-то их позвали в медсанчасть и предложили пройти оздоровительный курс лечения. Заключался этот курс только в одном – пациент должен был регулярно приходить к медсестре для укола. И что же, неожиданно один за другим Барышев и Надеждин умирают. Один – от инсульта, другой – от инфаркта. Все мы, знавшие их, были в шоке. И вот однажды симпатичная молодая сотрудница санитарной части как бы между прочим предложила мне малость подлечиться – пройти курс оздоровления. Я пришел к ней в кабинет в тот момент, когда она перебирала медкарты, и краем глаза заметил, что под моей фотографией на плотной картонной карточке было жирно выведено «Сов. секретно». Я еще подумал, что же совершенно секретного в том, что со мной делают врачи и сестры? Ну вколют витамин С или какой-то иной витамин. Мысль промелькнула, и я о ней тут же забыл, подставил свою руку для банальной оздоровительной процедуры.

Вспоминает жена Анатолия Александровича Валентина Николаевна: «Я помню тот день, помню, как это начиналось. Я пришла из института, где тогда работала, и стала мыть окна. Толя, молодой, красивый в белоснежной рубашке и светлых

брюках, сидел на диване. И вдруг он попросил меня закрыть окно. „Закрой окно, мне плохо“, – вдруг четко сказал он. Я посмотрела на него, выглядел он нормально, и я, подумав, что Толя шутит, продолжила свое дело. Но он снова уже более настойчиво бросил: „Закрой окно, мне плохо, я умираю…“ – „Не выдумывай, дай мне домыть окно, завтра не будет времени“. „Вызывай „скорую“, немедленно…“ – закричал муж. Я бросила на него взгляд: его всего трясло, зрачки расширились. Так началась непонятная до сих пор болезнь. Приехавший врач недоумевал: „Очень странно, человек вроде бы здоров“. Мы поместили Толю в Институт профзаболеваний, но и профессор Кукушкин, которому он рассказал о грифе „Сов. секретно“, не прояснил картину. Я интересовалась у разных медицинских начальников, но никто ничего не понимал. Короче говоря, тот единственный укол стал причиной повторяющихся приступов головной боли и шума в ушах. Каждую ночь в течение многих лет мы вызывали „скорую“. А вы, наверное, удивлялись, почему Анатолий Александрович временами как будто бы вас не слышит?»

А. А. Тарановский:

– Из страшной смертной картотеки я знал только тех двоих, которых отправили на тот свет. А карточек в ящике было много. Зачем они такое творили? Догадываетесь? Они не хотели оставлять свидетелей. Мы слишком много знали. Над страной вроде бы забрезжил рассвет, люди стали легче дышать, и инквизиторы заметали следы.

2005

Советский разведчик русский князь Анатолий Александрович Тарановский скончался 18 июня 2010 года в возрасте 87 лет.

Глава 31. Фотограф Владимир Мусаэльян и генсек Леонид Брежнев

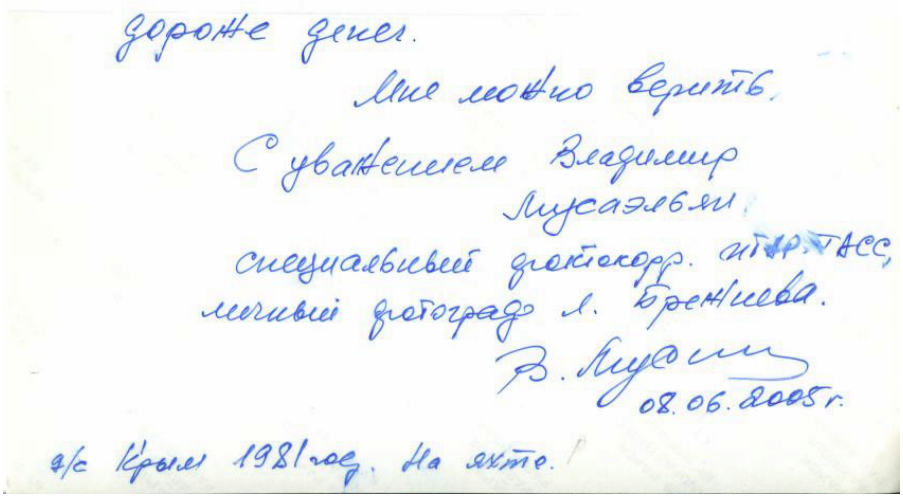
«Хороша машина, но четыре колеса мои…»

Владимир Мусаэльян всю жизнь запечатлевал советских вождей от Хрущева до Ельцина. В течение многих лет он был допущен к телу Леонида Брежнева, пребывая в статусе его личного хроникера. В ТАСС он пришел в 1960 году и до сих пор работает в должности специального корреспондента. «Скромный, не чиновный, не амбициозный человек», – сказали о нем коллеги.

На самом же деле Владимир Мусаэльян – один из самых ярких журналистов XX века, последний фотограф советской империи.

Эту фамилию я запомнил еще в середине 60-х годов, когда в петушинскую районную газету (помните, «Москва – Петушки» Венички Ерофеева?) приехал за репортажем обо мне, тогда начинающем журналисте, тассовский репортер Николай Акимов. От него-то я впервые и услышал о Владимире Мусаэльяне, который в то время уже снимал Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Помимо написания очерков о колхозниках, секретарях парткомов я пробовал себя и в качестве фотохроникера районной жизни. Какой же творческой завистью проникся я к человеку, допущенному к работе в Кремле! И разве мог я тогда подумать, что через много лет судьба сведет меня с этим уникальным свидетелем многих эпизодов нашей истории, и мы не только станем с ним друзьями, но и совместными усилиями создадим к столетию «дорогого Леонида Ильича» роскошный фото-фолиант.

Владимир Мусаэльян и Леонид Брежнев. Редкий кадр, на котором запечатлен сам фотограф



Надпись на обороте фотографии

За годы знакомства с Владимиром Гургеновичем мы проговорили бесчисленное количество часов о профессии вип-фотографа и, конечно же, о жизни и судьбе хозяина великой державы, рядом с которым Мусаэльян, что называется, дневал и ночевал. До сих пор безуспешно уговариваю скромного, не тщеславного и, я бы сказал, оставшегося верным своей профессии и эксклюзивной должности человека написать книгу о генсеке и о себе. Намекаю, что профессионал его уровня живет на Западе припеваючи и получаю ответ: «Знаю, конечно, но никому не завидую. При Горбачеве мне предлагали, да и сегодня иногда сулят златые горы за эксклюзивные снимки советских вождей. Но

я отказываюсь от назойливых просителей. Одна итальянская журналистка обозвала меня сумасшедшим. Но в шутку добавлю, что, когда за серию снимков Брежнева я получил дорогой „Опель“, это было при жизни генсека, Леонид Ильич, поглаживая крылья, пошутил: „Хорошая машина, но четыре колеса мои“. Эта шутка для меня дорогого стоит».

Владимир Гургенович Мусаэльян родился в Москве в 1939 году. По окончании школы поступил слесарем-сборщиком на авиационный завод. Кстати, работал вместе с будущим зятем Брежнева Юрием Чурбановым. Юрий клепал центропланы, а Мусаэльян фюзеляжи. А фотографией увлекался с самого детства. Отец привез с фронта любительскую камеру фирмы «Цейс». Она и привела Владимира Гургеновича, в конце концов, в Фотохронику ТАСС, в 1960 году его зачислили на работу. Окончив с отличием двухгодичный лекторий по фоторепортажу и институт журналистского мастерства при московской организации Союза журналистов СССР, он освоил все жанры специфической профессии.

За годы работы в ТАСС В. Мусаэльян стал лауреатом премии Союза журналистов СССР, отмечен целой коллекцией наград:

– бронзовой медалью на «Пресс-фото» (Прага, 1972 год);

– большой Золотой звездой на международной выставке в Болгарии (1974 год);

– Гран-при и золотой медалью на выставке «Пресс-фото» в Москве (1977 год);

– четырьмя дипломами всемирной фотовыставки «Ворлд пресс-фото» и ее высшей наградой «Золотой глаз» (1978 год). Кстати, за слезы Брежнева на фотографии встречи нашего генсека с генсеком Чили Луисом Корваланом, освобожденным из пиночетовских застенков;

– дипломом и общественной премией профессионального призвания «Лучшие перья России» (1999 год);

– высшей наградой «Золотой глаз» от международной гильдии профессиональных фотографов СМИ России (2003 год);

– четырьмя медалями всех достоинств ВДНХ СССР.

Маститый специалист своего дела имеет два ордена Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медаль «В память 850-летия Москвы», медаль «Ветеран труда», медаль имени Ю. А. Гагарина.

По ТАССовской легенде, один из мэтров советской фотографии Николай Васильевич Кузовкин как-то увидел одну – лишь только одну! – опубликованную в журнале выставочную фотографию, сделанную электротехником Володей Мусаэльяном,

и предложил ему место штатного корреспондента фотохроники ТАСС. Когда я спросил об этом Владимира Гургеновича, он подтвердил молву и добавил: «Уже 45 лет каждый год я прихожу с цветами на Новодевичье кладбище на могилу человека, которому обязан своей любимой профессией».

На мой банальный вопрос, считает ли он себя счастливым человеком, Мусаэльян разразился эмоциональной тирадой:

– Да, я считаю, что на полную катушку использовал выпавший мне счастливый лотерейный билет, можно назвать его и шансом – я попал на работу в самое престижное фотоагентство страны. Я счастлив оттого, что в 1964 году высаживался на льдину станции «СП-12», находившейся в 100 км от географической точки Северного полюса. Летели мы на эту льдину целых 16 часов. Температура за бортом – 40 с лишним градусов мороза. А потом я изнывал от 40-градусной жары в городе Кушке на 23 столбе границы с Афганистаном. В те же 60-е высаживался с Балтийским десантом на самой западной точке СССР и любовался красотами Камчатки на Дальнем Востоке. Повзрослев и заслужив доверие начальства, я «прикрепился» к теме космонавтики и видел, как готовились к полетам в космос наши первые экипажи. Моя тогдашняя работа была настолько засекречена, что все пленки «компостировались» спецслужбами прямо на Байконуре.

Снимал я и спорт, чемпионаты мира по хоккею и по футболу.

В самом конце 60-х годов стал заниматься политическим репортажем.

– Кто из генсеков был для тебя самой трудной моделью? Ведь ты не только с Брежневым работал.

– Юрий Владимирович Андропов.

– Из-за его закрытости, замкнутости?

– Совершенно верно. Зайдешь к нему в кабинет, а он не один, кивнешь головой: «Здравствуйте, Юрий Владимирович». Молчит, не мигая, на тебя смотрит. Гнетущая тишина. Наверное, думает про меня: чего это он пришел? А я в камеру вижу, как он смотрит на меня, точно сфинкс. Пять секунд проходит, десять. «Ну что, – говорит, – снял?» Я отрываюсь от камеры: «Нет, Юрий Владимирович, еще ни разу не нажал». Обращается к собеседнику раздраженно-извиняющимся тоном: «Ну вот, еще просят». В этот момент я успеваю два-три раза нажать на спуск. И меня выпроваживают из кабинета.

Не могу не согласиться с прописной истиной, что общество, прогресс держатся на профессионалах. Но, как с горечью сказал один наш известный юморист, в России профессионал живет, преодолевая ежедневное презрение номенклатуры. И недоверие.

Ведь от отличника-профессионала каждую минуту можно ожидать «подляны» – в виде независимого мнения, свободного поступка. Куда легче с троечниками, с соглашателями. Быть профессионалом в любом деле – высокая нравственная миссия. Не совсем разбираясь в тонкостях, скажем, политического репортажа или событийной съемки, я попросил своего друга разъяснить мне степень риска при выполнении ответственных кремлевских съемок. Историки фотографии знают имя личного фотографа Сталина Вадима Ковригина, обладавшего тонким фотографическим вкусом. Отозванный с фронта талантливый репортер, начав снимать вождя, за какой-то неудачный кадр отсидел в местах не столь отдаленных пять лет. Кстати, лишь близкие люди знают, что любимая работа «наградила» Мусаэльяна двумя инфарктами…

Владимира Гургеновича мой вопрос слегка напряг, он призадумался и откровенно признался мне вот в чем.

– Честно, без лишней скромности хочу тебе сказать, что считаю себя неплохим фотографом. При этом полагаю, что свою профессию я все же до конца не постиг. Мне жалко тех людей, которые думают, что своей профессией они овладели в совершенстве. Недаром же Сократ абсолютно точно сказал, скорее всего, об этом, да и вообще о жизни: «Я знаю, что ничего не знаю…» При скудном фотографическом мышлении и непомерных амбициях покорение фотоолимпа невозможно. Впереди тупик. Эти слова я говорю не только тебе, а повторяю их при встречах со студентами журфаков. Скажу, что событийная съемка заставляет мгновенно оценивать ситуацию, видеть героя в нужном ракурсе и в нужном пространстве. Да, это необходимые моменты. А еще надо иметь в виду и задний план, и свет, и многое другое…

Так вот, применение всего этого и подвело меня к политическому репортажу, который я тяну все последние годы, а они у меня уже приближаются к юбилейному, семидесятому.

Кстати, не могу не сказать о том, что я не мастак снимать спорт, хотя работал на чемпионатах мира по хоккею, по футболу.

Больше удаются портреты. Наверное потому, что очень нравятся лица людей.

– Не ошибусь, если скажу, что главным твоим героем, то есть главной моделью, было лицо «дорогого Леонида Ильича»? Или я не прав?

– Думаю, что ты прав. Леонид Ильич очень любил сниматься и сам определял политику фотографии. Он понимал, что я не просто фиксирую мгновения его жизни, а это нужно для дела, для

истории, для него самого. К фотографированию он относился трепетно, ответственно, волей-неволей осознавая историческую значимость вроде бы обычной бытовой работы. К тому же, что очень важно, и в этом мне как профессионалу повезло, Леонид Ильич был импозантным, красивым человеком. Когда он выходил на трибуну, в его редкостно фотогеничном типаже была видна державная мужская стать.

Еще секунда, и могла произойти трагедия

Рассматривая фототеку Мусаэльяна, я обратил внимание на странный кадр, на котором изображен почему-то сам Владимир Гургенович, да еще в неловкой позе – вцепившимся в пиджак Генерального секретаря. Увидев мой вопросительный взгляд, Мусаэльян поведал любопытную историю.

– Это случилось во время визита в Польшу. Шла церемония возложения венков к памятнику советским воинам. Венок несли военные, а Брежнев, как и полагается, шел следом. И вдруг он почему-то решил прыгнуть на высокую, около метра, гранитную ступеньку обеими ногами, но… потерял равновесие и начал падать назад! В тот момент рядом с ним никого, кроме меня, не оказалось. Я бросил фотоаппарат, сумку с причиндалами, мгновенно кинулся к нему и очень жестко схватил за локоть. Падения удалось избежать, и он, резко вырвав руку, бросил: «Мне же больно». А вечером меня тепло благодарил. Потом начальник охраны генсека мне говорил: «У нас у всех ноги точно приросли. У меня все опустилось, я понял, что еще секунда – произойдет трагедия. Ты спас всех нас». А ужасное действительно могло произойти – на территории мемориала все было сделано из камня и падение навзничь человека могло обернуться трагедией. Кстати, этот снимок подарили мне польские коллеги.

– И, кажется, он до сих пор не опубликован? А много ли таких кадров, на которых «вождь» схвачен беспристрастным аппаратом в не совсем приглядном виде, скажем, больным и немощным. Или ты прячешь их на самом дне архива?

– На эту тему могу заметить, что, когда у нас началась перестройка, ко мне ринулись толпы просителей из многих мировых информагентств. Шла критика так называемой эпохи застоя, и все хотели напечатать снимки недужного генсека, чтобы показать, кто привел страну на край пропасти. И я тогда говорил: «Господа, ничего я вам не дам, Леонид Ильич мне доверял, и его доверием я не торгую». Кстати, я ничего не прячу на дне архива. Публикую самые разные неожиданные кадры. Все дело в их трактовке. Считаю, что власть, конечно же, изнашивает человека, а огромная безграничная власть изнашивает смертельно. Брежнев занял самый высокий пост в государстве осенью 1964 года, его личным фотографом я стал позже. Так вот, я, молодой человек, не успевал за ним, за темпом его жизни и работы. Даже перекусить иногда не успевал, потому что Леонид Ильич вечно торопился и на обед тратил всего… 8 минут. Мне же в таких случаях всегда

приходилось оставаться голодным. Мы были с ним в постоянных разъездах, в месячных командировках. Он мотался по стране, по миру, встречался с самыми разными людьми. Его все интересовало, волновало. Это был энергичный, темпераментный человек. Недаром ходит много легенд и о его увлечениях прекрасной половиной человечества, особенно в молодые годы.

Леонид Ильич не жалел себя, много курил, и врачи не могли ничего с ним поделать, он их не слушал…

К сожалению, все, и в Кремле, и на местах, замыкалось практически на одном человеке. Конечно, функционировал огромный аппарат, но без Брежнева не принималось ни одного более или менее важного решения.

«На моих глазах генсек не деградировал, а изнашивался»

– Выходит, он старел, деградировал на твоих глазах?

– Нет, не деградировал, он изнашивался. Однажды сижу дома, времени 11 вечера, звонит генеральный директор ТАСС Леонид Митрофанович Замятин: «А почему ты дома?» – говорит он. «А где я должен быть?» – спрашиваю. – «Как где, хозяин на работе, а ты дома». Я пошутил, хотя такие шутки тогда особенно не ценились: «У хозяина большая страна, понадоблюсь – вызовет».

Недавно меня поразила одна газетная публикация о знаменитом в свое время фотохроникере жизни первых советских вождей, трибунов революции, умершем в нищете, всеми забытом. Хоронить его никто не пришел, а жэковские работники, оприходовавшие ставшую бесхозной жилплощадь, выбросили на помойку нехитрый стариковский хлам. И никто не обратил внимания на коробки и ящики с какими-то кассетами, пластинами, пленками, механизмами. Когда хватились, кто был владельцем однокомнатки, то поняли: на подмосковную свалку, а значит, и на свалку истории выброшены уникальные свидетельства первых десятилетий советской власти, в том числе изображения только что умершего в Горках Ленина, еще «неозверевшего» Сталина и только что вернувшегося после подавления тамбовского крестьянского мятежа Тухачевского…

И я подумал: каково будущее архива Владимира Мусаэльяна, свидетеля потаенного, скрытого? А будут ли кремлевские тайны того времени интересны через двадцать или пятьдесят лет? Будут ли изучаться по событиям, датам, именам, фотоснимкам судьбы и биографии тех, кто правил страной под названием Союз Советских Социалистических Республик?

– Ты был личным фотографом Брежнева 14 лет! Почти все годы его правления прошли на твоих глазах. Любопытно, сколько кадров из его жизни ты запечатлел?

– Ой, трудно сказать… Чемоданы негативов. Уже несколько лет разбираюсь, привожу все в порядок.

– Архив, а ведь это настоящий музей, – твоя собственность?

– Все, что касается лично-семейной съемки Брежнева (тогда это называлось НДП, «не для печати»), – да, моя собственность. А официальные кадры пребывают в анналах ТАСС или Государственного архивного хранилища.

Операция на сердце в обмен на архив?

– Я слышал, Владимир Гургенович, что предприимчивые американцы, узнав о предстоящей тебе операции на сердце, предложили свои услуги в обмен на твои сокровища. Было такое?

– Было, только немного иначе. И впрямь о предполагавшейся операции на сердце узнал мой приятель, живший в Лос-Анджелесе. И вот однажды у меня на работе появляется прилетевший оттуда врач-кардиолог и здесь, в этой комнате, докладывает: «Меня прислал ваш друг Михаил, надо спасать вашу жизнь. Собирайтесь, летим в Америку на шунтирование». Я оторопел, но сказал, не понимая еще, к чему он клонит, что такая операция стоит много денег. Кто будет за меня платить? И гость ошарашил меня прямо-таки «царским подарком»: «Операция вам ничего не будет стоить. Компенсацией будет только ваш архив. Мы сделаем все, чтобы операция прошла успешно». Поблагодарив своего друга за внимание, я отказал визитеру. Архив я оставлю на родине, а операцию мне сделают наши врачи. И впрямь спас меня замечательный хирург, великий мастер своего дела Юрий Владимирович Белов. Ты, кажется, делал с ним интервью. Он блестяще провел шунтирование, и, как видишь, я продолжаю заниматься своим делом, работая все в той же фотохронике ТАСС.

– По-твоему, какая съемка тебе наиболее удалась? Так сказать вершина твоего творчества? Не с Корваланом ли, когда он вырвался от Пиночета? Недаром за слезы на глазах генсека при встрече со спасенным лидером чилийских коммунистов ты получил международную премию «Золотой глаз» – мечту каждого репортера. Что тут скажешь, этот снимок – шедевр психологической съемки…

– Для меня все было уникальным, ведь Леонид Ильич сам по себе был неординарным человеком. А разве съемки на охоте, в плавательном бассейне, в кругу семьи не уникальны?

– Отчасти тебя можно считать папарацци.

– Нет, я не папарацци, ведь я не снимал скрытой камерой, чтобы заработать хорошие деньги. Наоборот, все работы согласовывались с моим героем.

– Ну, хорошо, а Леонид Ильич, пропустив рюмку-другую, не останавливал ли твою работу, дескать, Володя, иди погуляй…

– Пьяным я его никогда не видел. Бывало, что после длительных командировок в другие страны или, пребывая в хорошем настроении, Леонид Ильич предлагал своим соратникам, друзьям немного расслабиться. Ехали, скажем, на дачу. И что же, другие пили, сколько хотели и сколько могли. Но

Брежнев никогда никого не осуждал, он понимал, всякое бывает в жизни. Кстати, он был прекрасным тамадой: всех замечал, благодарил, обласкивал, говорил хорошие спичи. Даже если ему в чем-то не нравился человек, присутствующий за столом, он не подавал вида и всегда уважительно с ним прощался.

Брежнев отличал охоту от убийства

– Ты, конечно, знаешь о произошедших совсем недавно событиях, связанных с гибелью вип-охотников. Конечно, жаль погибших в вертолетных авариях приближенных к Кремлю чиновников, но, увы, это случилось, потому что были нарушены законы об охране природы. Легенды гласят, что наши генсеки, будучи на охоте, палили в привязанных к дереву кабанов. Ты-то, наверняка, знаешь, было ли такое? Как вел себя на природе любитель поохотиться Леонид Ильич?

– На моих глазах не было такого никогда. Брежнев считался прекрасным охотником. Другое дело, егеря прикармливали животных в определенных местах, и охотники стреляли по кабанам и лосям, когда они шли или на корм, или уже насытившись. Брежнев никогда не убивал самок, а выбирал махрового самца. Помню охоту в Югославии с Иосипом Броз Тито. Леонид Ильич метко попал в горного марала, но, редкий случай, – видно, пуля не стала смертельной, и, когда к нему подошел егерь, марал был еще жив. Егерь перерезал ему горло. Леонид Ильич осуждающе посмотрел на экзекуцию, оставшись очень недовольным. А потом сказал, что это не охота, а убийство.

Компанию Леониду Ильичу составляли, как правило, старший егерь Василий Щербаков и кто-то из дежурных адъютантов. Иногда на вышку он брал и меня. Вот почему я могу свидетельствовать, что мой шеф превосходно стрелял и разил зверя с первого выстрела, тем самым не обрекал животное на мучения в случае промашки. Охотился он и на лосей, оленей, маралов, которых было в Завидово предостаточно. Любил и утиную охоту, в августе улетая в астраханские плавни. Частыми гостями охотничьих хозяйств были Подгорный, Громыко, Гречко, Черненко, Устинов. Каждому выделялся егерь, и охотники разъезжались на расстояние между вышками от 5 до 20 километров. После охоты за ужином они с удовольствием делились впечатлениями и хвалились своими трофеями.

…Вообще, Брежнев любил проводить время за городом, на природе. Кроме охотхозяйства в Завидово Леонид Ильич жил с семьей на небольшой даче в Заречье (ее сейчас занимает Гавриил Попов[21]). Кабинетик маленький, но уютный. Леонид Ильич не любил грандиозных апартаментов. Однажды приехал смотреть, как строится санаторий ЦК «Южный». Показали ему много трехкомнатных люксов. Он спросил: «А кто здесь жить будет?» – «Ну, вот к нам прилетают из других стран секретари…» – «Но зачем такие большие номера?» Даже дача в Ореанде, где жили

цари и генеральные секретари, была совсем небольшой, намного меньше горбачевской в Форосе.

«Здесь я, как Ален Делон…»

– Ты сказал, что Леонид Ильич всегда выглядел импозантным. Мне кажется, что его знаменитые густые брови, харизматическая деталь его внешности, облегчали твою задачу.

– Человек с юмором, он сам шутил на эту тему. Однажды в Крыму на отдыхе генсек вышел, что называется, в народ, попить простой газировки. Люди к нему. А он им говорит: «А как вы меня узнали?» – «По бровям, Леонид Ильич». Об этом эпизоде он рассказывал друзьям. А однажды ему так понравился один мой кадр, что он сказал:

«Здесь я, как Ален Делон». Запомнился мне и такой эпизод общения генсека с народом. Как-то в провинции зашел разговор Генерального секретаря с колхозниками. «Как вы живете?» – спросил он подошедших к нему селян. «Хорошо живем», – ответили они хором, а я подумал: как же хорошо, когда на них старая обувь, руки у них заскорузлые, а на плечах грязные телогрейки? Но на многих снимках Брежнев выглядит «свойским», словно понимает неловкость ситуации.

Возможно, по этой части какой-то урок Леонид Ильич получил в 71-м году, когда мы собирались с визитом во Францию. Рабочая группа в Завидове готовила его выступление, обсуждались всякие детали. И Брежнев вдруг мне говорит: «Нет ли у тебя, Володя, фотографий, ну посвободней, что ли, менее официальных, французы просят». Я говорю: «Конечно, есть, среди членов семьи, на юге, на отдыхе, на охоте». – «Привези». Я сел в машину, помчался в Москву. Он с интересом долго все рассматривал и отобрал для печати несколько кадров. Среди них был и тот, на котором глава партии и страны снят на яхте в майке и в подтяжках. И загнали мы в Париж восемь таких «раскованных» снимков. И что же, приезжаем во Францию и видим во всех газетах именно эти снимки, распространенные агентством «Франс пресс». И тогда не только Франция, но и весь мир увидели иного Брежнева, простого земного человека, а не увешанного наградами орденоносца, хозяина ядерной державы.

«А на этом снимке – его могила…»

Пребывая в маленькой фоторепортерской комнатке, я не мог оторвать взгляд от удивительного вернисажа на стене – сотни снимков знаменитого мастера, в беспорядке прикнопленных к обоям, – звездные мгновения истории нашей страны.

– Это с Фиделем Кастро на Кубе, 1973 год. Брежнев представил меня как его личного фотографа с армянской фамилией. И Фидель стал звать меня «арминьяком»; это с Ильей Глазуновым, мы давние друзья; это с Володей Медведевым, тогдашним еще брежневским адъютантом, потом он был главным охранником Горбачева и написал мемуары; а это редкие снимки Валентины Терешковой – скромная и замкнутая, она мало снималась; а это снимок семилетней давности – Михаил Касьянов в МГТУ имени Баумана; это в индийской командировке с премьером Рыжковым, рядом Раджив Ганди, позднее убитый террористом; Брежнев с сигаретой, он очень много курил; это мои фотографии в редкие минуты свободного от официальных съемок времени – видишь, барханы, точно женские груди; это в Крыму, на дорожку выбежала внучка Леонида Ильича; съезд нардепов, Горбачев и Ельцин еще улыбаются друг другу; это почти неузнаваемый молодой полярник Артур Чилингаров, будущий вице-спикер Госдумы; а здесь космонавты, ведь я до Брежнева довольно долго отработал на космических съемках и в Звездном, и на Байконуре, снял всех тогдашних покорителей космоса; уникальный снимок – два патриарха рядом – будущий Алексий и тогда действующий Пимен; а на этом снимке Леонид Ильич представляет меня президенту США Никсону, Вашингтон; а здесь мы собрались на охоту, иногда такие сборы были мгновенными, и кто был одет по-зимнему, тот садился в машину; официальный портрет Константина Устиновича Черненко, он только что стал генсеком; а это Югославия, Тито пригласил Брежнева на охоту; а на этом снимке все близкие генсеку люди – жена Виктория Петровна, дочь Галина, зять Юрий Чурбанов, внучка, – трогательная фотография; Евгений Иванович Чазов – главный кардиолог страны, мой спаситель: когда со мной случился обширный инфаркт, он вытащил меня с того света; а на этом по-нынешнему папарацционном снимке Брежнев, выходящий из бассейна в трусах (просматривая кадры и увидев этот, спросил: «А я такой нужен?»); а это за два месяца до смерти – Брежнев не любил мягкие кресла, но врачи и близкие уговаривали его сидеть на мягком; а здесь его могила…

– *Владимир Гургенович, а за какие пироги, прости, кроме*

приятной близости к «телу», ты вкалывал и тоже износился до двух инфарктов? Неужели ничего не получал помимо зарплаты?

– Практически нет. Разница лишь в том, что где-то в середине 70-х я стал получать в два раза больше, чем обычный фотокор ТАСС, – 240 рублей. Прибавили и командировочные, в месяц выходило около пятисот. По тем временам хорошие деньги. Однажды японцы заплатили мне приличный гонорар за один из понравившихся им снимков. Заплатили сами, я не просил. За фотографию Брежнева на Малой земле под выставочным девизом «Человек и Черное море» я получил премию на биеннале в Болгарии, «Опель», машин такой марки, конечно, в Москве были единицы. Она мне долго служила. Квартира у меня была, но однажды Леонид Ильич, время от времени интересовавшийся нашими личными заботами, спросил, нуждаемся ли мы в чем-то. Я ответил, что нет, но только вот квартира, дескать, в шумном месте. Он позвонил Промыслову, и я переехал.

Выдающаяся карьера будущего вип-репортера началась в 1964 году, когда он стал снимать главу государства. Первые правительственные съемки разбудили в молодом человеке творческую амбициозность, и он почувствовал себя на ступеньку выше. Любовь и интерес к своей профессии не угасил во Владимире случайно услышанный им разговор Леонида Ильича и Алексея Николаевича Косыгина, тогдашнего премьер-министра. Указывая на группку фотографов, толпившихся поодаль, Брежнев вдруг заявил: «Вот она, Алексей Николаевич, отмирающая профессия». Сначала Мусаэльян не понял смысла услышанного и лишь позже, поразмыслив над главным политическим событием того времени, поразившим страну, а именно снятием с должности Первого секретаря КПСС и Председателя Совета Министров СССР Хрущева, неожиданно для себя пришел к выводу – новый хозяин страны отдалит от своей персоны многочисленную фотографическую рать. Что и говорить, советскому обывателю давно уже надоели бесчисленные хрущевские изображения во всех газетах страны. Мусаэльян был в курсе того, что Хрущев знал в лицо многих репортеров, даже помнил их фамилии.

И правда, фотографии Л. И. Брежнева поначалу редко появлялись в печати. Он почти не ездил за рубеж, всецело занимаясь лишь внутренними проблемами страны. Командировки по Союзу иногда длились до двадцати пяти дней. В одной из таких поездок по Средней Азии судьба и свела уже утвердившегося в своем творческом цехе молодого фоторепортера с Генеральным секретарем ЦК КПСС. Впервые В. Мусаэльяну была поручена ответственная работа – сопровождать

Л. И. Брежнева в рабочей поездке. Работа, надо сказать, оказалась нелегкой: ежедневно следовало передавать по фототелеграфу фотоснимки о встречах Леонида Ильича с рабочими, колхозниками, партийно-хозяйственными активистами. Сегодня в Алма-Ате, завтра в Ташкенте, а послезавтра во Фрунзе. Внешне почетная деятельность давалась огромным напряжением сил и воли. Тогда Владимир Гургенович был молодым, полным творческой энергии, в меру тщеславным, и ему льстило то, что сделанные им снимки печатались на первых полосах центральных газет – «Правды», «Известий», «Труда», «Комсомольской правды», и под каждым стояла подпись: «Фото спецкора фотохроники ТАСС Владимира Мусаэльяна».

Молодой тассовский работник подружился с сотрудниками службы безопасности первого лица страны. Нередко они помогали ему дотащить до места съемки его тяжелую профессиональную аппаратуру (несмотря на то, что как-то начальник охраны сделал Владимиру замечание: «Ты что эксплуатируешь моих ребят, у них своя служба, гляди у меня…»). Но ситуация вокруг этих взаимоотношений вскоре неожиданно изменилась. Что и говорить, как шеф тебя жалует, так жалует тебя и его окружение. Как-то Леонид Ильич, оглядываясь по сторонам, вдруг громко произнес: «А где Володя Мусыльян?!» И Владимира Гургеновича мгновенно подвели пред очи Брежнева. Вот тут-то и зажегся свет! Один из многочисленного отряда фотокоров ТАСС стал практически персональным фотографом Генерального секретаря ЦК КПСС. Оказалось, что Л. И. Брежнев долго присматривался к работе и поведению нового сотрудника кремлевской фотослужбы. А по своему характеру Брежнев был из тех, кто если уж доверял человеку и привыкал к нему, то это было надолго, если не навсегда.

Машины были его страстью

– Что больше всего в жизни любил Леонид Ильич? Женщин или шикарные машины?

– Насчет женщин, старина, вопрос особый. До следующего раза… А к машинам, особенно западным, Леонид Ильич питал особенную слабость. Он очень любил сам порулить. Но, что примечательно и, это я особенно хочу подчеркнуть, на государеву службу ездил только в отечественных автомобилях марки ЗИЛ. Это очень комфортабельные авто, весьма представительные, не уступающие, а иногда и превосходящие западные аналоги. Отличный внешний вид, шикарные салоны, необходимые скоростные данные. Со временем приходит понимание, почему и другие члены Политбюро ЦК и Совмина ездили на отечественных лимузинах. Государь должен ездить в «каретах» своего отечества. А вот во время отдыха Леонид Ильич садился за руль любимого «роллс-ройса». Водил он великолепно, увлекался быстрой ездой, иногда даже с какой-то молодецкой удалью.

Припоминаю один случай по дороге в Завидово. Ленинградское шоссе в районе города Клин, надо было переехать реку, тогда еще по узкому мосту. Ранняя весна, на обочинах дороги лежит снег, а в низине – большая лужа.

Леонид Ильич резко притормозил, и машина прикрытия покатилась с горки на него. Водителю ничего не оставалось, как направить машину в придорожный сугроб, где она и завязла в снегу. Конечно, без охраны он не остался, а, приехав в Завидово, смеялся, рассказывая, как посадил ребят в сугроб.

Во время зарубежных визитов руководители стран обменивались подарками. Например, Фиделю Кастро преподнесли катер на подводных крыльях. Зная пристрастие Леонида Ильича к охоте и автомобилям, ему делали подарки в виде ружей и авто. Где-то я читал, по-моему, у Роя Медведева, что у Леонида Ильича скопилось около 50 машин различных марок. Не буду спорить, но такого количества машин я у него не видел, да и разместить их было негде. Знаю, что автомобили дарили, знаю, что все автомобили находились в Кремле в гараже особого назначения (ГОН), основанного еще при Ленине. Там им присваивались государственные номера.

Вспоминается еще один случай. Во время визита Брежнева в ФРГ, когда канцлером был Вилли Брандт, в резиденции на горе Петерсберг недалеко от Бонна фирмой «Мерседес» нашему Генсеку был приготовлен подарок – шикарный автомобиль спортивного класса. Леонид Ильич сел за руль, рядом –

представитель фирмы, дававший пояснения. Брежнев развернулся и поехал вниз. Охрана переполошилась, никто и сообразить ничего не успел, а его и след простыл. Немецкая охрана связалась по рации с постом, который контролирует выезд и въезд в резиденцию. Машину, естественно, не выпустили на автобан. Леониду Ильичу пришлось разворачиваться на узкой дороге. Во время маневра он пробил картер о бордюрный камень, потекло масло. Сколько было разговоров! Немцы очень долго смаковали эту ситуацию. Конечно, она была необычной.

Раньше много говорили о привилегиях работников ЦК, Совета министров, Моссовета. Но разве это можно сравнить с нынешней вакханалией на дорогах. Развелось столько машин с мигалками и сиренами, что рядовому автовладельцу остается только шарахаться из стороны в сторону.

Михаила Андреевича Суслова (члена Политбюро ЦК КПСС, второго секретаря партии) водители Москвы прозвали «гонщиком», потому что скорость автомобиля, в котором он ехал, была 58 км в час, и если водитель превышал эту скорость, он лишался работы. Представьте себе, по Кутузовскому проспекту движется большая колонна машин, а впереди – правительственный ЗИЛ, который водители не решаются обогнать. И вся эта кавалькада доходила до площади Революции, где Михаил Андреевич выходил и до ЦК КПСС на Старой площади шел пешком.

Я знал, что в ту пору многие водители, которые ездили по Ленинградскому шоссе, ругались из-за того, что дорогу заблаговременно перекрывали для спецпроезда. А делалось это потому, что за рулем сидел не профессиональный водитель, а Генеральный секретарь.

Еще один пример того, как было опасно ездить даже по свободной дороге. Возвращаемся из Завидово. В городе Солнечногорске во время основного проезда с второстепенной дороги на перекресток выезжает грузовой ЗИЛ-130. «Мерседес», шедший справа на прикрытии, обгоняет головную машину и мчится наперерез грузовику, закрывая собой авто, за рулем которого сидит Леонид Ильич. Водитель грузовика, видя, что ему наперерез несется машина, остановился, но было уже поздно. Головной автомобиль успел пройти, а от столкновения «мерседеса» и ЗИЛа-130 пострадали сотрудники личной охраны вождя. Правда, на этот раз обошлось без жертв, но для двоих больничная койка надолго стала домом.

– За годы твоей журналистской работы наверняка было немало курьезов, забавных происшествий…

– Было, конечно. 70-е годы. Война на Ближнем Востоке. В

Москву для встречи с Брежневым должен был прилететь Президент Алжира Хуари Бумедьен, который выполнял посредническую миссию между воюющими сторонами. Время прилета было неизвестно. Визит строго засекречен.

Согласно договоренности, сижу дома и жду звонка из секретариата. Звонок раздался с большим опозданием, секретарь Брежнева извинился и сказал, что гость уже прилетел и выезжает из аэропорта Внуково-2. В моем распоряжении 20 минут, столько времени правительственному кортежу нужно, чтобы домчаться от аэропорта до Кремля.

Времени в обрез, и я с нарушением всех правил дорожного движения на большой скорости лечу с проспекта Мира в Кремль. Уже на площади Дзержинского меня стала преследовать машина ГАИ с требованием остановиться. Но остановиться – значит сорвать важную съемку. Пока будешь объяснять, кто ты и зачем, потеряешь драгоценные минуты.

Представь себе воскресный декабрьский день, идет мокрый снег, по Кремлевской набережной несутся две «Волги» ГАЗ-21. Обе снабжены световыми мигалками, сиренами, одна хочет обогнать другую. Скользко. Скорее бы поворот, и вот они – спасительные Боровицкие ворота Кремля. Я буквально ныряю в них, так как посты были предупреждены. Успеваю увидеть в зеркало заднего вида, что машина ГАИ остановилась на углу Александровского сада. Подбегаю к лифту, а у него стоит Председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный, встречавший гостя. Бегом на третий этаж. Кремлевский этаж – как шесть в обычном доме. Время шло не на минуты, а на секунды. Мне одному была доверена эта съемка, и срыв мог дорого стоить. Спрашивали строго. Удалось на какой-то миг оказаться в нужном месте раньше почетного гостя. Потный, с трясущимися руками успеваю все же сделать несколько фотографий.

Фотографии встречи Брежнева и Бумедьена сочли нужными опубликовать в газете «Правда». Старания мои были не напрасны.

На следующий день начальник отдела дорожной службы КГБ полковник Леваков показывает мне рапорт, написанный сотрудниками 10-го отдела ГАИ, в котором зафиксировано все, что я вытворял на дороге.

Но то, что я прочел в конце этого рапорта, было очень смешно. Он заканчивался словами о том, что нарушитель скрылся в Кремле через Боровицкие ворота… Но тогда мне было не до смеха.

Из личных записей В. Г. Мусаэльяна

Москва, Кремль, 19 декабря 197… года

В этот день в рабочем кабинете Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева собралось высшее руководство страны, чтобы поздравить его с днем рождения.

М. А. Суслов, второй человек в партии, зачитал текст поздравления и указ о награждении орденом Ленина и очередной медалью Героя Советского Союза. «Ну, раз вы так решили, мне приятно принять эту награду», – сказал именинник.

И вдруг, я не поверил своим ушам, он заговорил о том, что стал уставать и не пора ли ему оставить пост Генерального секретаря…

Все замолчали, эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Было короткое замешательство, которое переросло в нестройный хор. Не сговариваясь, перебивая друг друга, собравшиеся стали говорить ему: «Дорогой Леонид Ильич! Вы наше знамя. Страна без вас не сможет. Вам нужно побольше отдыхать, мы будем работать с удвоенной энергией…»

– Хорошо, – продолжал Леонид Ильич, – сделайте меня почетным председателем партии. Как в США, Генри Уинстон – почетный, а Гэсс Холл – Генеральный секретарь коммунистов США.

Я сначала подумал, что это сталинский синдром. Иосиф Виссарионович тоже говорил, что неплохо бы ему на покой. И те, кто поддержал его инициативу, потом горько пожалели. Хотя я, много лет находившись рядом с Брежневым, видел, как власть изнашивает человека. Он стал часто болеть, особенно осенью. Выглядел уставшим, изможденным. Было очевидно, что он и впрямь думал о своей отставке, но еще не совсем утвердился в таком решении.

– Мнение товарищей для меня очень важно, – сказал Леонид Ильич. – Будем работать.

В Политбюро условились об ограничении его рабочего дня.

– Наверное, многие тебе завидовали – ведь всю свою творческую жизнь ты провел возле сильных мира сего. Ты видел их вблизи, здоровался с ними за руку, слышал их разговоры, чувствовал их настроение… Одним словом, ты, наверное, и сам стал немного политиком? Ты фотографировал Никиту Сергеевича, я знаю, что ты знаком с членами его семьи, знаешь Раду Никитичну, знал Алексея Аджубея, ее мужа. Ответь мне на такой

вопрос: наверняка ты видел фильм, в котором Ролан Быков блестяще сыграл роль поверженного Никиты Хрущева… Как ты воспринял образы вождей в фильме? Тебе не жалко было Хрущева, когда на экране его «сваливал» Брежнев? И, как ты думаешь, так ли было на самом деле?

– Ты знаешь, к этому нельзя подходить однозначно. Моя точка зрения, что фильм снимали люди, которые знали всю эту кухню понаслышке. Да, какие-то совпадения есть. Но многое надумано.

– Брежнев в фильме такой, каким был в жизни? Или нет?

– Нет. Конечно, со временем Брежнев в совершенстве овладел приемами монархического властвования. Большинство его политических поступков, кадровых решений выполнялись четко, без всяких всплесков и лишних эмоций. Я бы сказал, он хорошо владел собой. Он следил за молодым, подрастающим поколением политиков, присматривался к ним и делал ставку наперед.

Что же касается Хрущева, то мне в фильме действительно его жалко. Но зайти с другой стороны, дров он наломал немало, вот Брежнев взял его и свалил. Что тут скажешь? Политика – всегда борьба.

– Владимир Гургенович, думаю, что вкалывать в самом авторитетном фотоагентстве страны надо было, как говорится, по полной форме и, зная твое трудолюбие и увлеченность профессией, я понимаю, что ты был почти рабом на галерах. И этому «рабству» уже 50 лет. Мне так хочется «выкрасть» тебя из суетной Москвы и на какой-нибудь загородной даче днями и ночами расспрашивать о том, что ты пережил, с кем встречался, с кем работал. Надеюсь, что когда-нибудь мне это удастся…

Понимаю, что ты мастер из мастеров, но ведь рядом с тобой фотоисторию великой державы творили и твои коллеги, тоже «золотые объективы» ТАСС…

– …понял, понял тебя, спасибо за вопрос! С удовольствием вспомню о них. И о тех, кого, к сожалению, нет уже на свете. И о тех, кто, слава богу, продолжает запечатлевать новую эпоху, лица новых вождей.

Моими учителями были известные всей стране фотокорреспонденты – солдаты Великой Отечественной войны: Вадим Ковригин, Николай Кулешов, Наум Грановский, Эммануил Евзерихин, Николай Ситников. Особенно тонким художественным вкусом обладал Вадим Ковригин. Талантом видения бог одарил и знаменитого Евгения Халдея, снимки которого превращались в нечто большее, чем документ, – они становились символами. Чего стоит хотя бы только фотография – «Знамя победы над Рейхстагом»! Наум Грановский защищал небо столицы,

одновременно делая фотографии на крыше гостиницы «Москва». Целых 60 лет своей жизни он отдал съемкам родного города. И ты, наверняка, не знаешь, что он единственный из нашего цеха, кто был принят в члены Союза архитекторов СССР. Марк Редькин, веселый, шумный, великолепный рассказчик, снимал, можно сказать, все. Закончив войну у Бранденбургских ворот в Берлине, он объездил весь мир, проплыл все моря. Думаю, мало кто знает человека с фотоаппаратом, который работал с первыми космонавтами: Гагариным, Титовым, Леоновым, Терешковой, Поповичем… Это был Валентин Чередищев. Он один из первых освоил цветную технику. Вальяжными казались Сергей Преображенский, Владимир Севастьянов, но это были настоящие редакционные мэтры. Также хочу назвать и тех моих коллег-ровесников, с которыми мы вместе начинали, – Олега Иванова, Виктора Будана, Володю Лагранжа, Валентина Кузьмина.

Не могу не вспомнить главного редактора Николая Кузовкина, который практически своими руками и энергией создал Фотохронику ТАСС, ее корреспондентскую сеть. Он организовал журнал «Советское фото», так много сделавший для развития культуры фотографии в стране. Ведь хороший фотограф – это думающий фотограф. Каждый из нас – человек своей эпохи, независимо от того, является он субъектом или объектом фотосъемки. Недаром существуют такие понятия, как идеология, востребованность конкретного снимка в данный исторический момент. Хочу сказать, что летопись нашей советской и российской истории – это и те конкретные имена и фамилии, которые я назвал.

2009

P.S. В. Мусаэльян – обаятельнейший человек, скромный, почти застенчивый. Но при этом высоко ценит свою профессию, свое имя. Таких людей в наше время не так уж много. Вспоминаю такой эпизод. Один обеспеченный человек попросил меня найти фотографа, чтобы заснять торжество в честь своего юбилея. И добавил, что за работу хорошо заплатит. Я подумал, почему бы не предложить Мусаэльяну. Он ответил не сразу. Вроде бы задумался, но дал согласие. Я пришел в роскошный зал, где начали собираться гости, и стал поджидать Владимира Гургеновича. Прошло пять, десять минут, полчаса. Я позвонил ему на мобильный и на мой вопрос «где ты?» услышал поразивший меня ответ: «Я стою у входа… Понимаешь, хоть я и не заработал своей профессией золотые горы, но снимать рублевских персонажей не хочу. Извини… А впрочем, не зря приехал, впервые увидел роскошный „Майбах“. Вот бы Леонид

Ильич обрадовался такому авточуду…»

Глава 32. Легенды и быль от Евгения Рейна

С поэтом Евгением Рейном я знаком с середины 70-х годов. Он жил тогда в Москве, покинув по семейным обстоятельствам родную Северную Пальмиру. Не помню, по какому поводу попал я к нему впервые в гости (хотя поводов было немало, а главный – наши общие книголюбские страсти), но помню, что тот вечер оказался в моей жизни одним из самых интересных и ярких. Потому что Женя умеет так «развлечь» собеседника, что тот уходит от него с больной головой: интеллектуальные истории, неожиданные мемуары о его многочисленных друзьях – поэтах, художниках, актерах, бытовые новеллы, анекдоты, громогласная декламация стихов – и все это шумно и возвышенно.

Когда летом 1988 года мы вместе оказались в Ленинграде, Евгений Рейн показал себя истинным патриотом родного города: повез меня и моего сына-школьника на могилу Анны Ахматовой в Комарово, показал здание, где проходило судилище над его другом Иосифом Бродским, познакомил с дочерью знаменитого фотографа-портретиста Наппельбаума поэтессой Лилей Моисеевной Наппельбаум, и, быть может, самое главное – привел в гости на чай к недавно вернувшейся на родину из Парижа Ирине Одоевцевой.

Интервью у известного поэта, лауреата многих литературных премий я никогда не брал. Руки-ноги не доходили. Но для этой книги я предложил Евгению Борисовичу провести со мной несколько часов. Эти «часы» растянулись на месяц. Беседовали мы, как правило, в ресторане Центрального дома литераторов. Народу немного, столик на двоих. Пятьдесят граммов водки – мне, сто – Рейну. Беседовали легко, непринужденно, вопросы и ответы приходили сами собой. И все фиксировал мой диктофон.

С поэтом Евгением Рейном

– Тиражи поэтических книг от полумиллиона еще в 80-х упали сегодня до нескольких сот экземпляров. Как ты считаешь, нужна ли сегодня поэзия?

– Поэзия нужна всегда. В поэзии отражается история и смысл жизни народа.

– Это касается не только России?

– Это касается всего человечества.

– Поэзия сохраняет слово – основу понимания человека человеком.

– Да, это так. Язык – это то, что отличает одну нацию от другой.

– Когда-нибудь ты говорил на эту тему с Анной Ахматовой?

– Да, конечно, говорил.

Ахматова часто говорила о том, что стихи приходят и уходят. Но без стихов жить невозможно. К примеру, эпоха 1910– 1920-х годов подарила России почти два десятка великих поэтов. Такой эпохи больше не было никогда. Ты хочешь, чтобы я их перечислил? Пожалуйста. Белый, Блок, Вячеслав Иванов, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Георгий Иванов, Гумилев, Ходасевич, Маяковский, Бунин, Пастернак… Я говорю о первом ряде, а во втором тоже были замечательные поэты – Вера Инбер, Багрицкий, Асеев, Заболоцкий… А среди молодых того периода я считаю выдающимся поэтом Бориса Поплавского.

– Тебе сейчас, если не ошибаюсь, 77 лет?

– 29 декабря мне будет 76.

– У тебя прекрасная память – ты мгновенно сориентировался, назвал целый ряд имен.

– Ну да, чувствую я себя неплохо, однако годы есть годы.

– Как я понимаю, вся твоя жизнь после встречи с Ахматовой и, конечно, с первых стихов, связана со словом, с творчеством?

– Только. Я давно сам уже преподаю в Литературном институте, я – профессор.

– Среди твоих воспитанников есть подающие надежды?

– Если честно, к сожалению, могу назвать только единицы. Очень одаренным, к примеру, считаю Григория Петухова. Увы, многие молодые литераторы начинают пить. Талантливую поэтессу Светлану Кхаражевскую исключили из института за пьянство. Где она теперь, не знаю. Очень способным был студент Гудзев. Появился Лев Казовский. В общем, по пальцам одной руки можно перечислить тех, от которых в литературе можно чего-то ждать.

– Но при этом ты находишь удовлетворение в своей работе?

– Да, я люблю свою работу.

– Сколько получает профессор Литинститута?

– Очень маленькие деньги – 12 тысяч.

– Сменим тему. Ты по-прежнему живешь и в Москве, и в Ленинграде?

– Да, у меня даже есть такие строчки: «Двух столиц неприкаянный житель».

– Тогда ответь: как сегодня ты воспринимаешь Москву и Петербург? Какой город тебе больше импонирует? В Москве работаешь, живешь. Ленинград – твой *родной город.*

– Хороший вопрос. Отвечаю. Я был и остаюсь петербуржцем. Но Петербург сегодня – это глубокая провинция. Бедная, нищая, с очень высокой конкурентностью, с бесконечными интригами, с бесконечным недоброжелательством, с очень небольшими деньгами, которые приходится делить. И это, на мой взгляд, очень дурно сказывается на жизни в бывшей столице. Москва в этом смысле гораздо лучше, толковее.

– Но тебя тянет в родные края?

– Да. Я считаю Петербург лучшим городом на Земле, я его хорошо знаю, я коллекционирую книги по Петербургу, я туда постоянно езжу. Но жить предпочитаю в Москве.

– Когда я подарил тебе свою книгу об Андрее Вознесенском, ты спросил меня, и вправду ли я считаю Андрея великим поэтом. Ты сомневаешься?

– Я его оцениваю как замечательного, талантливого поэта, он голос времени, наследник футуристической линии русской поэзии, то есть Хлебникова, Маяковского, Кирсанова, Асеева. Я

отношусь к его поэзии с любовью. Но великий поэт – это слишком ответственно.

– Ну, хорошо, сейчас у нас нет великих поэтов?

– Сейчас нет. Кроме меня. Шучу.

– А как ты воспринял выдвижение Евгения Евтушенко на Нобелевскую премию?

– Любая премия – это случайность. Он занимает 52-е место в рейтинге. Это слишком далеко до победы.

– К тебе с давних лет многие литераторы, коллеги, относились очень доброжелательно, серьезно оценивая твое творчество. Но почему твоя первая книга вышла, когда тебе было чуть ли не 50?

– Я ждал выхода сборника «Имена мостов» 17 лет. А вышла она, когда мне было 49.

– Как же ты, наверное, переживал, что книга не выходит?

– Знаешь, я обладаю счастливым характером. Публиковаться я начал очень рано, еще в школе. Первые стихи были напечатаны в газете «Ленинградская здравница», когда я учился в 10 классе. Потом печатался в «Молодом Ленинграде» и других изданиях, но не часто. Первая книга собралась в конце 50-х годов, и я отнес ее в ленинградское отделение «Советского писателя». Мне вроде бы улыбнулась удача. Замечательный поэт, близкий друг Пастернака Сергей Спасский, редактор издательства, прочел мою книгу и одобрил ее. Это было весной, он уехал плавать по Волге, и вдруг в Ярославле его нашли мертвым в каюте.

Дальше пошла невезуха. На книгу были написаны хорошие рецензии поэтами Вадимом Шефнером и Семеном Ботвинником. Но новый главный редактор Анатолий Чепуров меня обманул. Он сказал: «Мы относимся к вашей книге положительно, но отдаем ее вам на доработку на полгода».

Когда же через полгода я принес книгу, он ее не принял, сказав, что это издательство для членов союза. Мне надо было кормить семью, поэтому я стал писать сценарии, заниматься переводами, журналистикой, сочинять детские стихи… Потом у меня случилась личная трагедия – от меня ушла жена. И я уехал в Москву. Через пять лет сдал книгу в московское отделение издательства «Советский писатель». Она получила 11 рецензий, хотя нужно было две. Одиннадцать!

– Все положительные?

– Кроме одной.

– Кто ее написал?

– Цыбин. Книгу поставили в план редподготовки. А в это время я сдал стихи в альманах «Метрополь». Конечно, опять меня выбросили из плана[22]. И только в 1984 году, по настоянию Егора

Исаева, книга вышла.

– Арсений *Тарковский дождался выхода своей первой книги в 55… А ждал ровно столько же. Трагическое совпадение…*

У многих поэтов, твоих ровесников, уже вышло по несколько сборников. Тебе было обидно? Как ты реагировал?

– Как я мог реагировать? Я говорил: «Меня не печатают». Но к тому времени мои стихи начали печатать на Западе, и довольно много.

– *Тебе это приносило удовлетворение?*

– Да.

– *Ты всю жизнь, как стал литератором, живешь на гонорары? Помнишь свой первый гонорар?*

– Я получил 150 рублей.

– *Что ж. Нормально.*

– 150 рублей, но «старыми». Студенческая стипендия была 300 рублей.

– *А проезд на трамвае?*

– 15 копеек. Телефонный звонок – 10 копеек.

– *Как ты потратил свой первый гонорар?*

– У меня был ближайший друг Генрих Штейнберг. Я пригласил его в кафе «Норд», а на оставшиеся деньги купил маме фарфоровую статуэтку собаки. Это же было дешево. Она сохранилась до сих пор.

– *Ты сказал – первая жена от тебя ушла. Ты пил или гулял, в чем дело?*

– У меня был роман с ее подругой. И меня выдал Анатолий Найман, который любил мою жену. Он потом на ней женился. У нас дочь – Анна Наринская, журналистка, работает в газете «Комерсантъ». Она носит фамилию своей матери.

– *Ты с ней общаешься?*

– Редко. На тусовках.

– *Женщины занимали важное место в твоей жизни?*

– Ну, ты знаешь, меня нельзя назвать бабником, но женщины имели немалое значение в моей жизни.

– *В том числе и для вдохновения…*

– Да, да. Но это все написано в моих стихах.

– *Ты помнишь на память какое-нибудь короткое?*

– Я помню, к сожалению, стихи значительно поздние:

В последней пустой электричке
Пойми за пятнадцать минут,
Что прожил ты жизнь по привычке,
Кончается этот маршрут.

Выходишь прикуривать в тамбур,
А там уже нет никого.
Пропойца, спокойный, как ангел,
Тулуп расстелил наголо.

И видит он русское море,
Стакан золотого вина,
И слышит, как в белом соборе
Его отпевает страна.

– Когда мы с тобой познакомились много лет назад, ты поведал историю об умной крысе. Я подзабыл детали. Ты можешь сейчас повторить этот сюжет?

– Пожалуйста. В городе Саратове на пристани стоял дебаркадер, где работала бригада грузчиков. Бригадиром был некто Бондаренко. А грузчики, они что грузят, то и имеют. Они грузили спирт «Роял». Ну и пили его. И пьяный Бондаренко остался ночевать на дебаркадере. Ночью он проснулся по малой нужде и видит: перед ним сидит огромная крыса. Будучи добрым человеком, он схватил со стола кусок колбасы, оставшийся от пьянки, и протянул ей. Крыса взяла эту колбасу и исчезла. Через пять минут появилась вновь, у нее в зубах была 10-рублевая бумажка. А 10 рублей тогда – это 3 бутылки водки и плавленый сырок. И так продолжалось каждый вечер: Бондаренко бросал крысе кусок колбасы, а она приносила 10 рублей. Прошло два месяца. Жизнь этого мужика превратилась в абсолютную феерию.

Но его жена Клава достала путевки в Крым, и супруги должны были на 24 дня уехать. Но как оставить крысу? У Бондаренко был кореш по фамилии Сергеев. Он его вызвал, показал ему этот трюк и говорит: «Я уезжаю на 24 дня. Но ты продолжишь кормить крысу колбасой. 24 дня это твои деньги. Когда я приеду, это мои деньги». Сергеев в первый же день пришел на дебаркадер. Появилась крыса, но колбасу брать не стала. Она полюбила Бондаренко, она не хотела иметь дело с Сергеевым. Разъяренный Сергеев схватил табуретку, бросил в крысу и убил ее. Когда вернулся из Крыма Бондаренко, они стали выпивать, и Сергеев ему все рассказал. В ярости Бондаренко схватил табуретку, ударил Сергеева по голове и проломил ему череп.

Суд. Бондаренке грозит тюрьма. Но жена Клава нашла адвоката-еврея по фамилии Гуревич, который вспомнил, что два года тому назад арестовали за хищения заведующего дебаркадером, но денег во время обыска не нашли. И Гуревич

сообразил: он попросил поднять доски дебаркадера, и под досками лежал картонный ящик из-под яиц, наполненный десятками, – огромная сумма. А на деньгах лежал выводок мертвых крысят. Каким-то образом крыса установила связь между колбасой и деньгами. Меняя колбасу на деньги, она кормила своих детей.

Бондаренко получил условный срок. А с Сергеевым он помирился. Вся история.

Хочу пояснить: крысы абсолютно загадочные, мистические существа.

– *Это все ты сам придумал?*

– От начала до конца. На этот сюжет написано три произведения – Георгием Семеновым, Максудом Ибрагимбековым и Юрием Ряшенцевым.

– *Ты хоронил Иосифа Бродского…*

– Я полетел в Венецию на похороны Иосифа. Это все происходило на кладбище Сан-Микеле. Там три участка: католический, протестантский и православный. На православном его не могли похоронить, потому что Бродский не православный. Католики потребовали подтверждения его католицизма, которого тоже быть не могло. Поэтому оставался протестантский вариант, протестанты – самые либеральные. Собралось человек 200. Вырыли могилу. И что же? Как только сняли верхний слой земли, открылся старый гроб с прогнившей крышкой.

– *Какой старый гроб?*

– Старое венецианское захоронение. И в гробу лежал какой-то человек, скелет, на нем истлевший адмиральский мундир. Мария, вдова Бродского, чуть не упала в обморок. Немедленно зарыли могилу, позвали менеджера. И он нашел место метрах в 50 от первого. Но рядом с могилой фашиста этого, как его, поэта американского….

– *Эзра Паунд…*

– Бродский его ненавидел. А положили в двух шагах… И они теперь соседи… Но еще один момент. Для того чтобы похоронить Бродского, пришлось сбросить какой-то старый могильный памятник. Его сбросили, я к нему подошел и увидел, что на нем написано по-английски: «Чемпион». Это была какая-то старая могила англичанина по фамилии Чемпион. Представляешь, смешно, что Чемпион. Бродский ведь и был «чемпион».

– *Когда ты впервые увидел Марию, жену Бродского?*

– В Нью-Йорке. Когда они приехали из Стокгольма, где венчались в 1990 году. Там же, в Швеции, живет близкий друг Бродского, знаменитый славист Бенгт Янгфельдт. Это он настоял, чтобы Бродский обвенчался в православной церкви, хотя тот не

принимал христианства. Я через месяц прилетел в Нью-Йорк, и с ней познакомился. Они еще жили в его старой малюсенькой квартире на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидж.

Когда Мария забеременела, Иосифа вызвала теща и сказала: «Мария ждет ребенка, невозможно жить в такой тесной квартире». А семья Марии очень богата. Отец, итальянец, крупный банкир в Милане. Мать – потомственная русская дворянка. Иосиф говорит: «Я и сам понимаю». – «Сколько вы можете дать на квартиру?» А он уже потратил свою Нобелевскую премию. Он говорит: «Я не могу дать ни доллара». И теща говорит: «Квартиру покупаю я. Но вы к ней не имеете никакого отношения». И она купила потрясающую квартиру на Манхэттене. Стоит такая квартира 3 миллиона. В ней пять уровней. У него был кабинет на последнем этаже, он там и умер.

– Быть может, ты удивишься, но я оказался в обществе Марии раньше тебя, в Париже, кажется, это было весной 1990 года. С ней меня познакомили Михаил и Петр Хлебниковы, братья убитого позже в Москве Павла Хлебникова. Однажды они зашли за мной и повезли куда-то на такси, с нами ехала очень красивая девушка. Потом мы гуляли по Парижу. Помню, Михаил, как мне показалось, с грустью сказал, что у нее роман с очень известным человеком. Позже я понял, что он имел в виду Бродского.

– Бродский с ней познакомился в Париже. Она училась в Сорбонне, а он там читал лекции. Да, она очень красивая. И невероятно похожа на Марину Басманову, его петербургскую трагическую любовь.

– Ты знаешь, Женя, до сих пор переживаю, что общался с великим поэтом только по телефону. В первый свой приезд в США в 1988 году я загорелся желанием взять у него интервью для журнала «Огонек». Я сделал это интервью, первое в советской прессе. Личной встрече помешал неожиданный катаклизм в штате Массачусетс – снежный буран перекрыл все дороги к местечку Саут-Хэдли, где в колледже преподавал Бродский. Ты бывал там у него?

– Да, бывал, это в трехстах километрах от Нью-Йорка. Также как и ты, я оказался в Америке впервые в 1988 году. Мы вместе с Бродским выступали перед студентами, там у него я провел несколько дней. Само здание колледжа и все, что находится внутри, довольно роскошно и даже помпезно. Американские богачи, миллиардеры, отдавали сюда своих детей. Помещение занимает пятьдесят комнат. На стенах подлинники Тициана, в шкафах роскошные книги, бары полны, говоря по-нашему, ликероводочных изделий. Как-то вечером я предложил Иосифу: не пригласить ли в нашу мужскую компанию пару-тройку

девушек. Просто посидеть… Но Бродский отверг мою идею: «Это невозможно, будет скандал…»

– Давай еще парочку историй из твоей жизни.

– Году, наверное, в 75-м от «Литгазеты» я поехал в Литву. А в Литве есть городок Паланга, и там, на окраине Паланги, был рыболовецкий совхоз имени Палецкиса, их коммуниста. Основной доход этих рыбаков – угри. Между прочим, угорь – самое загадочное существо в мире. Он нерестится в Саргассовом море, это около Кубы, и плывет к берегам Литвы. Там его вылавливают, коптят, и он стоит большие «бабки».

И вот в этом совхозе жила семья – два сына и отец. Они все промышляли рыбной ловлей. Как-то раз отец один, без сыновей, отправился на рыбную ловлю, лодка опрокинулась, и он утонул. По советским законам тех времен, если промысловый рыбак две недели не возвращался с промысла, его считали погибшим. Но у местных добытчиков были свои законы. Они взяли багры, поплыли к скалам. Короче говоря, нашли труп отца-утопленника. Он был весь обвешан угрями. Угри ведь жрут покойников. И перед ними встала громадная нравственная проблема. Они – католики, и надо было отца похоронить по католическим канонам на католическом кладбище. С другой стороны, они имеют огромную наживку в лице отца. И они выбрали второе. В течение двух месяцев ночью тайно выходили в море и забрасывали труп отца в сетях. Труп отца! Угри на него клевали, они их коптили и продавали, таким образом зарабатывая немалые деньги. Когда же от отца осталась горсточка костей, решили наконец похоронить. На том католическом кладбище в Паланге сторожем работал русский мужик. Они ему дали пять бутылок водки, и он в чужую могилу подхоронил эти кости, потому что главное для католиков, чтобы на освященной земле. Но он же русский человек, и кому-то проболтался. Их арестовали. Я был на суде. Их судили за святотатство. Угадай, сколько они получили? По шесть лет. Вот это Шекспир. Кино такое снять…

– Ты опять это сочинил?

– Да нет, говорю тебе, – подлинный случай…

Ты знаешь, кто получил Нобелевскую премию?

– Ну, не Евтушенко.

– Получил шведский поэт, друг Бродского, Тумас Транстремер. Он очень известен в мире.

– Ты с ним знаком?

– Я был у него в гостях в Стокгольме в 90-х годах, когда приезжал на международный поэтический фестиваль. Бродский, который очень высоко ценил его поэзию, меня к нему отвел.

– Но у тебя тоже немало разных премий, кажется, 17, в том числе одна Государственная?

– Две. Пушкинская тоже государственная. Много премий разных журналов: «Звезда», «Таллин»….

Хочешь, я тебе расскажу еще одну историю?

– Конечно. Я к тебе за этим и пришел…

– В 1997 году Ельцин вручает мне Государственную премию. В Георгиевском зале тысяча человек. Президент понятия не имел, кто я такой. Он был пьян в ж…

– Не может быть…

– Именно так. А сзади стоит консультант и что-то ему шепчет. Ельцин вручает мне все эти дела и, называя меня не «Рейн», а «Реин», спрашивает: «Ты откуда будешь?» Я отвечаю: «Я из Ленинграда, Борис Николаевич». Он мне говорит: «Я тебе утром дам мягкий вагон». Я решил, что он с ума сошел – какой мягкий вагон, зачем он мне нужен?! А он так тихо продолжает: «Увези от меня Ленина». Это шутка его такая. Впервые тебе рассказываю.

– Расскажи о своей жене. Как вы познакомились? Я слышал, у твоей Нади нелегкий характер. Впрочем, ты сам не подарок…

– Да, это правда. С Надей я познакомился 30 лет назад. Были печальные времена для альманаха «Метрополь», и я пребывал в нищете страшной. Но у меня хранились гравюры гениального художника, моего близкого друга Олега Целкова. Когда он уезжал, мне их подарил. И я решил эти гравюры продать. Я обратился к Наташе Шмельковой, подруге художника Зверева, не может ли она найти покупателя. И она привела Надю. Так мы познакомились.

– И Надя купила?

– Надя купила. Я продавал-то по 40 рублей. Теперь это дороже.

– Еще бы. На недавнем аукционе картина Олега Целкова ушла за триста тысяч долларов.

– Так вот. Я люблю Надю. Она красивая женщина. Хороший искусствовед. И, кроме того, она необыкновенно толковый человек, а я человек крайне бестолковый. Я не владею компьютером, у меня нет мобильного телефона. Надя знает и любит мои стихи, понимает их. Она ведет все мои дела, и не только литературные. Куда-то поехать, надо же билеты брать, гостиницу снимать. Все Надя. Она моложе меня на 26 лет. Как шутил мой друг Довлатов: я был женат трижды, и все три раза удачно.

– Кстати, о Довлатове. Как ты считаешь, почему он сегодня так популярен?

– Он был выдающимся человеком. Хотя много врал. Его много лет не печатали, и это обстоятельство породило в его характере чудовищные комплексы.

Вот еще одна история. Из жизни Довлатова. Самым известным писателем в 60-е годы был Вася Аксенов, и Довлатов мечтал с ним познакомиться. Приехал в Москву. В те времена я был женат на Наташе, моей второй жене. Мы жили на Зубовском бульваре. Я позвонил Аксенову и говорю: «Приехал Довлатов, талантливый человек, очень хочет с тобой познакомиться». А Аксенов уже читал его рассказы. Он говорит: «Я с удовольствием с ним пообщаюсь. Я за вами заеду на своей машине, и мы поедем обедать в ЦДЛ». Приходит ко мне Довлатов – сидим, ждем Васю. Угадай, что случилось дальше? За пять минут до появления Аксенова Довлатов схватил пальто и убежал.

– Но почему?

– Не мог пережить популярности Аксенова. Комплекс?

– Да. Зато сейчас ему воздается. Он один из самых читаемых у нас писателей.

– Да, сейчас он выше Аксенова… Но, между прочим, он взял 15 моих сюжетов. Мы жили в Ленинграде в двух соседних домах на улице Рубинштейна. И каждое утро он приходил ко мне похмеляться. Он же пил. А я держал дома водку, пиво, какую-то закуску дешевую. Бычки в томате, помнишь?

– Как не помнить. Это незабываемо…

– Я ему рассказывал разные байки, случаи, и он это все запоминал, а потом использовал в своих вещах. И я могу объяснить, в чем дело. Довлатов – писатель без единой идеи, хотя человек громадного таланта. Он замечательный стилист, и у него есть блестящие вещи – «Заповедник», «Филиал». Раннюю его прозу я не очень люблю, потому что он пытался писать для советской власти. «Зону», например. Но он дитя 70—80-х годов, когда советское общество стало целиком деидеологизированным. И вот воспевание алкоголя, воспевание такой жизни, как масло на поверхность моря, пришлось на поколение его читателей.

У меня написана книга «Мне скучно без Довлатова».

– Да. Она у меня есть, я ее, конечно, читал. Смешная, и в чем-то трагическая…

За тобой рассказ об Анне Андреевне, которую ты знал с юных лет…

– И даже раньше. 1946 год, декабрь. У меня была тетка, двоюродная сестра моего отца, Валерия Яковлевна Познанская, химик, дважды лауреат Сталинской премии. Ее мужем был Максим Рыльский. Во время войны, в Ташкенте она познакомилась и подружилась с Ахматовой. И во многом ей

помогала. После ждановского постановления, тетка, как некоторые, не испугалась. Она приехала в Ленинград, сняла «люкс» в гостинице «Астория» и устроила для Ахматовой то, что называется в Англии «файв-о-клок», то есть чай с пирожными. И пригласила мою маму, Марию Александровну. А мама взяла меня. Мне шел двенадцатый год. Я прекрасно все помню, помню даже, как выглядел Исаакиевский собор в тот день.

Прошли годы. Я – студент и, конечно, уже слышал, что Ахматова живет в Ленинграде. А тогда, не знаю, как теперь, была такая система «Ленгорсправка». Чтобы узнать адрес человека, надо было заплатить 15 копеек и назвать его имя, отчество и год рождения. Я знал год рождения Ахматовой – 1889-й. Заплатил 15 копеек и сразу же получил нужный адрес: улица Красной Конницы, дом четыре. Тут же у киоска сел на такси и поехал. Дверь мне открыла Ханна Горенко. Это бывшая жена брата Ахматовой – Андрея. Я говорю: «Где Анна Андреевна?» Она говорит: «А вы кто такой?» Я говорю: «Я студент». Она говорит: «Подождите пять минут». Я пять минут стоял в коридоре, и она меня провела к Ахматовой. И что самое поразительное – Ахматова меня вспомнила. Она сказала: «Вы тот мальчик… Как поживает ваша матушка?» Я провел у нее два часа. И вдруг она говорит: «Я получила квартиру от Ленинградского союза писателей на улице Ленина, на Петроградской стороне. Надо перевезти книги. Вы не можете помочь?» Я сказал: «Конечно, помогу».

Надо заметить, что у Анны Андреевны библиотека была довольно скромной, книг 200, не считая энциклопедии Брокгауза и Ефрона.

В помощники я взял Бобышева. Пришли, и часов восемь паковали книги. Причем, не столько паковали, сколько читали надписи. Блок, Пастернак, Алексей Толстой, Ремизов. Я запомнил почему-то надпись, которую сделал Алексей Толстой на книге стихов «За синими реками»: «Ане Горенко-Гумилевой» (не Ахматовой, а Горенко-Гумилевой). Мы отвезли книги на новую квартиру Ахматовой. Но дальше случилось несчастье. Квартира, выделенная для Ахматовой, оказалась закрытой. Куда сгружать книги? И домоуправ бросил: «Снесите в подвал».

– *Неужели залило?*

– Да. Как ты угадал? Лопнули трубы, и все книги промокли. Потом мы их сушили.

– *У меня как у библиофила сердце кровью обливается…*

– А хочешь, я расскажу тебе, что за человек была Ахматова? В 1943 году в Ташкенте наш великий художник Тышлер рисовал ее карандашом. И нарисовал штук десять портретов. Самый лучший

портрет Ахматова подарила Лидии Яковлевне Гинзбург. Как-то я пришел к Анне Андреевне, и она мне говорит: «Женя, вот вам деньги, поезжайте на такси к Лиде (то есть к Лидии Яковлевне), возьмите портрет и привезите мне, я хочу на него посмотреть». Я поехал, привез. Портрет уже был застеклен. Она говорит: «Вы можете стекло снять?» Я говорю: «А зачем?» Она говорит: «Снимай стекло». Я взял ножик на кухне, снял стекло. Она достает резинку и стирает нос. Я говорю: «Что вы делаете?» А она: «Он неправильно нарисовал мне нос». И сама карандашом рисует себе другой нос… Сейчас этот портрет висит у Александра Кушнера в кабинете. Когда я у него бываю, подхожу к портрету и вижу, как она неаккуратно стерла резинкой себе нос и нарисовала другой. Ну, подумай, какое безумие… Этот рисунок много раз публиковался.

…Вот еще одна абсолютно подлинная история.

Было такое учреждение при советской власти, называлось Бюро пропаганды советского киноискусства. И я от него ездил в командировки на выступления. Я же писал сценарии. И вот меня послали в Ташкент. Что-то в Ташкенте у меня не получилось с выступлениями, и я решил из Ташкента махнуть в город Чарджоу, это уже Туркмения. Поезд пришел днем, часа в два. Первым делом пошел в обком, чтобы помогли с гостиницей. Прихожу в обком, абсолютная пустота. Я спрашиваю: «Где все?» – «Обедают». Я говорю: «А когда вернутся?» – «Это не ваше дело». Я томлюсь, томлюсь: только в обкоме могут распорядиться о гостинице. Наконец через два часа кто-то идет по коридору, такой толстый туркмен в халате. Я бросаюсь навстречу и говорю: «Я Евгений Рейн, приехал из Москвы по такому-то делу. А вы кто?» – «Я товарищ Турсунбаев». Я говорю: «На ловца и зверь бежит». И это была роковая фраза. Он вдруг говорит: «Как ты сказал? Зверь бежит? Кто зверь?» Я говорю: «Да вы меня не поняли. Это русская поговорка». Он говорит: «Ты меня назвал зверем. Ты здесь выступать не будешь. Ты меня назвал зверем, это оскорбление». Я говорю: «А у вас есть какое-то начальство?» Он говорит: «У нас есть первый секретарь». Я говорю: «А можно его повидать?» – «Пошли». Оставляет меня за дверью, сам заходит в кабинет. Минут через десять вызывают. И этот первый секретарь говорит: «Ты зачем моего человека назвал зверем?» Я говорю: «Ничего подобного». – «Ты откуда приехал?» Я говорю: «Я вообще москвич, но приехал из Ташкента». – «Уезжай в Ташкент немедленно. Ты в Туркмении выступать не будешь».

– Да, скажи спасибо, что отпустили целым-невредимым…

– Так вот Довлатов немедленно украл эту историю. А потом я ее рассказал Фазилю Искандеру. У Искандера есть повесть «Поэт».

Ты читал ее? Она обо мне. Купи.

И я пошел в свой любимый магазин «Москва» на Тверской и купил том Искандера, в котором и впрямь была напечатана повесть «Поэт».

Вот как она начинается:

«Юрий Сергеевич Волков был романтическим поэтом, и притом очень талантливым. Однако стихи его редко печатали, и в 45 лет у него не было ни одной книги. Речь идет о блаженных временах блаженного Брежнева. У Юрия Сергеевича было хроническое свойство раздражать начальство. Раздражать всем – голосом, стихами, внешностью.

Начнем с голоса. Как известно, с глупыми говорят, как с глухими, громким голосом. Возможно, наш поэт бессознательно убедился, что этот мир глуп и в нем надо очень громко говорить…

Его стихи раздражали литературное начальство тем, что не были ни советскими, ни антисоветскими. Они были написаны так, как будто социальная жизнь вообще не существует. Это злило еще и тем, что невозможно было конкретно указать на какие-то строчки, которые надо убрать или переделать, чтобы стихотворение было достаточно приемлемо для советской власти.

Кое-как все это можно было бы простить, если бы поэт был какой-то божий одуванчик, далекий от действительности. Изливаясь мощной энергией, стихи его были полны примет места и времени, примет всех краев России, где он побывал, и – неслыханная наглость – примет все краев Европы, где он явно не бывал…»

Сентябрь 2011

Глава 33. Мой дед венгерский революционер Золтан Партош выжил после трех арестов

Эмиграция в Советский Союз

Золтан Партош – имя моего деда. Он родился в 1887 году в Австро-Венгрии. Вместе с супругой и тремя сыновьями в 1923 году приехал в Россию.

Дед покинул Европу после подавления венгерской социалистической революции, в которой принимал активное участие.

Семья получила жилье по адресу: 2-я Тверская-Ямская, дом 10, квартира 4, на первом этаже пятиэтажки дореволюционной постройки, неподалеку от старого здания театра Образцова, которое сейчас уже не существует. Сюда принесла меня мама из роддома имени Крупской, где я появился на свет 22 июня 1941 года. Младший сын Золтана Партоша – Банды (Андрей, как его называли в России) стал моим отцом. По рассказу мамы, отец подарил ей белые розы и, простившись, ушел на фронт.

Мама познакомилась с Банды Партошем в 1940 году. Эпизод знакомства прост, даже банален: весьма привлекательная, если не сказать красивая, девушка шла по арбатскому переулку и обратила внимание, что за ней следует симпатичный черноволосый молодой человек, похожий на иностранца. Испугалась, пошла быстрее, но «преследователь» вскоре настиг ее, извинившись, представился и попросил разрешения проводить. По дороге новый знакомый рассказал, что его родители и он – венгерские эмигранты, отец по профессии врач. Дальнейший разговор успокоил ее, и при прощании они договорились о свидании на следующий день…

Золтан Партош

Так русская девушка Татьяна попала в семью венгерского революционера, поэта, писателя, замечательного детского врача Золтана Партоша.

Во время войны при бомбежках мама со мной на руках бежала на станцию метро «Маяковская». Когда по телевизору показывают кадры кинохроники, запечатлевшие спасающихся именно там от немецких бомб москвичей, я всегда вглядываюсь в лица молодых женщин с младенцами, пытаюсь увидеть маму…

Живя на Тверской, она помогала свекру в его литературных делах, развозила статьи и переводы, которыми он активно занимался. К примеру, он перевел на венгерский язык роман А. Степанова «Порт-Артур», прозу Новикова-Прибоя. Недавно я узнал, что в Венгрии до сих пор издаются сочинения Фрейда в переводе деда. Кстати, по семейной легенде, они были знакомы…

Он делал революции в Европе

Особая страница в жизни Золтана Партоша – революция. Он происходил из обеспеченной дворянской семьи, но идея освобождения трудящихся от гнета капиталистов, мечта о «соединении пролетариев всех стран» сделали из него революционера, порвавшего со своим классом. В 1907 году он вступил в социал-демократическую партию Венгрии. Сотрудничал с газетой «Непава» («Голос народа»), читал лекции, пропагандируя социалистические идеи. Окончив в 1910 году медицинский факультет Будапештского университета, работал врачом в столице, потом – главным врачом города Сегед. Занимался организацией отдыха детей рабочих, санитарно-эпидемиологическим контролем. Рассказывал, что мог закрыть тот или иной магазин, который не внушал ему доверия с точки зрения санитарных норм.

С 1917 по 1919 год работал в Будапеште в министерстве здравоохранения начальником отдела по борьбе с венерическими болезнями, занимался вопросами социальной гигиены, проблемами материнства и младенчества. Вступив в 1918 году в коммунистическую партию Венгрии, З. Партош принял активное участие в революционных событиях. В 1919 году, в период существования Венгерской советской республики, он, член ЦК КП Венгрии, занимал пост наркома здравоохранения.

Но становление второго после России «государства диктатуры пролетариата» подавили при помощи сил Антанты. Участников революции арестовали. Деда приговорили к смертной казни. Его старший брат Ференц помог устроить побег в Румынию по поддельным документам. Дед рассказывал, как в вагоне, чтобы отвлечь внимание пограничников, проходящих по поезду, устроил игру в покер.

В королевской Румынии занимал высокий государственный пост в министерстве здравоохранения и, как гласит семейная легенда, был лекарем при царском дворе, лечил принцев. По-видимому, весьма успешно, потому что когда ему опять грозила тюрьма (коммунистические идеи не отпускали), учитывая выдающиеся медицинские заслуги, его не арестовали, а только

выслали из страны в 24 часа. Перебрался в Вену. Там вступил в компарию Австрии, в которой состоял вплоть до отъезда в Советский Союз вместе с группой венгерских коммунистов-эмигрантов.

Командировка в Туркестан по настоянию Семашко

В Москве шесть лет дед проработал в 1-й детской туберкулезной больнице (до 1923 года – детская больница Святой Ольги) вместе с выдающимся русским педиатром А. А. Киселем. После образования в сентябре 1928 года в Москве первого в мире научного учреждения санитарного просвещения – Института санитарной культуры – стал его научным сотрудником. Консультировал наркома здравоохранения Н. Семашко по проблемам социальной гигиены, организации здравоохранения. В семье хранится командировочное удостоверение за подписью Н. Семашко, которое предписывает деду направиться в Туркестанский край на борьбу с антисанитарией.

Дед как врач быстро завоевал в Москве, особенно в элитных кругах, большой авторитет. Регулярно к его дому на Тверской подруливал черный ЗИС, и деда везли на консультацию к больному ребенку какого-либо высокопоставленного папы (видно, всегда в России больше ценили иностранных врачей, чем своих доморощенных лекарей). Часто, чтобы помочь в общении, вместе с ним отправлялся один из сыновей. Дед неплохо знал русский язык, но страдал глухотой.

По рассказам родных, он лечил маленького Андрона Кончаловского, детей Менжинского, Лысенко, Новикова-Прибоя, председателя Мосгорисполкома Яснова, опекал молодого художника Павла Бунина.

Моя старшая двоюродная сестра Вероника помнит, как в один прекрасный день (это было сразу после войны) мама завязала ей огромный бант, и все семейство отправилось на приехавшей за ними шикарной черной машине в Горки к академику-агроному Лысенко. Детская память хранит воспоминания о том, что в гостях их вкусно угощали, а потом повезли показывать какие-то поля (скорее всего, семейство доктора Партоша возили на экспериментальную базу ВАСХНИЛ, научным руководителем которой был академик Лысенко).

Врач от бога

Соседи по дому относились к деду с большим почтением, часто обращались за советом. Живя на первом этаже, наблюдая за

детьми, играющими под окнами, он первый замечал нездоровье ребенка, и тут же предупреждал еще ни о чем не подозревающих родителей, чтобы те внимательно последили за своим чадом, «у него к вечеру поднимется температура». Скорее всего, он обладал, как бы теперь сказали, экстрасенсорными способностями. Владел искусством гипноза, но был убежден, что использовать его можно только в самых крайних случаях.

Интересно, учат ли в наше время студентов медицинских факультетов перкуссии (выстукиванию пальцами больного для определения по характеру звука состояния внутренних органов)? Дед владел этим навыком виртуозно. Ему не нужны были анализы, рентген и т. д. – он ставил диагноз по состоянию волос, кожи, склер, ногтям, языку. Даже по запаху. Доктора Партоша ценили в Европе как выдающегося диагноста и называли врачом от бога.

Дед говорил: «Я люблю всех детей – здоровых и красивых, больных и сопливых». Малыши чувствовали его любовь – стоило деду прислонить ладонь к тельцу плачущего больного ребенка, тот сразу успокаивался.

Пьер Фламбо – это тоже мой дед

Золтан Партош был весьма разносторонним человеком: в молодые годы в Венгрии выиграл чемпионат по плаванию, прекрасно играл в шахматы, музицировал на скрипке, владел девятью языками, занимался переводами, писал прозу и стихи. В моей библиотеке хранится несколько его поэтических книг, изданных в Венгрии еще до революции и, к моему стыду, до сих пор не переведенных на русский язык. Что называется, руки не доходят. А однажды, в конце 60-х годов, в букмаге на Никольской, я увидел на прилавке за стеклом тоненькую книжечку в яркой, цветной обложке. Прочитав имя автора – Пьер Фламбо, я застыл. Ведь это псевдоним моего деда! Купив раритет, я тут же помчался домой – поскорее хотелось узнать содержание. В книге, изданной в Москве в 1932 году, описывался сюжет из жизни венгерской семьи революционера-социалиста, в дом которого ворвались жандармы, устроили обыск и увели мать четверых маленьких детей. Наверняка сюжет, изложенный на тридцати страницах, автор заимствовал из своих революционных впечатлений.

Дед был женат на женщине аристократического происхождения. Бабушку звали Эржебет (Елизавета). Она окончила пансион благородных девиц в Будапеште. Стоит взглянуть на сохранившуюся у меня фотографию красивой пары, станет ясно, что дама в изящной шляпе с прямой спиной и

гордым взглядом – голубых кровей. И явно не из бедной семьи. Снова сошлюсь на семейную легенду, по которой родители бабушки владели в центре Будапешта пятью домами. Когда в 50-х годах мой дядя Томаш Партош участвовал в работе советской выставки в Венгрии, племянница главы венгерской коммунистической партии Матиаса Ракоши показывала ему эти здания. В одном из них располагалась журналистская школа, в другом книжный магазин.

Золтан и Эржебет Партош

В 1919 году Эржебет вслед за мужем вступила в венгерскую коммунистическую партию.

Коминтерновец

После образования Коминтерна дед стал его членом. В квартире на Маяковке бывали многие видные деятели международного рабочего и коммунистического движения. Среди них секретарь исполкома Коминтерна Отто Куусинен, венгерская коммунистка Анна Паукер, талантливый венгерский поэт, секретарь Международного объединения революционных писателей Антал Гидаш, легендарный Мате Залка, сражавшийся и погибший в Испании под именем «генерал Лукач».

Несколько раз деду предлагали вернуться в Венгрию, обещая высокие должности в министерстве здравоохранения. В начале 50-х годов приглашение исходило от Матиаса Ракоши. Однако дед категорически отказался (что, конечно, было рискованно) от сотрудничества с политиком, которого он не уважал и называл необразованным человеком, «маленьким Бонапартом». Скептически он относился и к другому венгерскому «политикану» Белу Куну. Кстати, в 60-е годы, уже после смерти деда, моя двоюродная сестра и ее мама ездили в Венгрию по приглашению племянницы Матиаса Ракоши Нелли Гейгер. Они вспоминали, что Нелли все время повторяла, что пригласила их из уважения к памяти Золтана Партоша, замечательного врача, который спас ей жизнь, когда она тяжело заболела в детстве.

«Пока дети живут в подвалах, я не могу переезжать в большую квартиру…»

Семья (дед с бабушкой, три сына с женами и детьми) проживала в трех маленьких комнатах. Поскольку мой отец, младший сын, женился последним, молодые жили в одной комнате с родителями. При этом часть «жилплощади» занимала обширная библиотека на разных языках. Позже семью «уплотнили», в одну из трех комнат поселили милиционера с женой и ребенком. Правда, родные вспоминают, что деду предлагали другую, более просторную, квартиру, даже назывался адрес – дом на Пушкинской, в котором располагался магазин «Армения». Но дед отказался, заявив: «Пока дети живут в подвалах, я не могу переезжать в большую квартиру, я останусь в старой».

После войны родители расстались, и мама увезла меня из Москвы к своей матери в село Головино Покровского района Владимирской области. Там я пошел в первый класс начальной школы. Мама часто рассказывала мне подробности своей жизни в венгерской семье. Очень тепло, с большим уважением говорила о

деде, жалела его. Ведь он был инвалидом, страдал глухотой, но научился понимать речь собеседника с губ.

В 1952 году умерла бабушка Эржебет, а через несколько лет к деду переехала старая знакомая семьи, вдова венгерского революционера, Польдика Штейнер.

Он купил мне первую пишущую машинку

Лет с 12 я начал регулярно приезжать в Москву на Тверскую. Мама охотно отпускала меня в гости к деду, давала деньги на электричку Петушки – Москва. Впрочем, в 13 лет я уже зарабатывал сам, строча заметки о школьной жизни в районную газету. Абсолютно уверен, что тяга к перу, работе со словом пришла ко мне от деда.

«Ну, как ты поживаешь в своем Покровительстве?» – спрашивал дед, имея в виду городок Покров, где мы жили с мамой. Шутя, могу предположить, что эта игра слов как бы отражает социалистическую идеологию деда: заботу о трудящихся и сочувствие бедным. Прожив более 30 лет в России, дед, конечно, хорошо освоил русский язык, читал книги и газеты (нередко я заставал его с «Правдой» в руках), но, мне казалось, что говорил он все равно, как иностранец.

Я чувствовал любовь деда, он ласково называл меня Фейка. В квартире на Тверской висел мой портрет, написанный на ткани венгерским художником еще в 1946 году, когда мне было пять лет. Сейчас эта старина хранится у меня дома, тонкая основа, что называется, еле дышит. Надо бы отдать себя, пятилетнего, на реставрацию…

Когда я навещал родную московскую семью, меня угощали столичной едой. Некоторые блюда из меню венгерской кухни казались необычными. Помню салат из тертого огурца с какими-то пряностями. Он мне очень нравился, но, смешно сказать, хоть и прошло с тех пор уже полвека, все никак не соберусь приготовить себе такой же.

Однажды дед поинтересовался, есть ли у меня пишущая машинка. Конечно, у меня ее не было, и я ответил, что пишу пером в школьной тетрадке. Он удивился, о чем-то по-венгерски заговорил с женой. Через минуту сказал: «Пойдем-ка, купим тебе кое-что…» – и хитровато улыбнулся. Мы пришли в магазин пишущих машинок, который располагался неподалеку от дома деда, напротив Концертного зала имени Чайковского. Я знал, что семья доктора Партоша жила небогато, поэтому у кассы вынул из кармана деньги, которые были у меня с собой, и гордо заявил: «Это мои гонорары». Дед вскинул брови, но возражать против

небольшого довеска к оплате покупки не стал. За 1200 рублей мы приобрели ундервуд. Он служил мне верой и правдой долгие годы, даже во время службы в советской армии. Именно за этой машинкой послало меня командование батальона в родные края из местечка Дантау под Калининградом. Когда я сказал своему командиру, что дома скучает орудие моего журналистского производства, он немедленно выхлопотал мне у командира части командировку (это был 1961 год и, несмотря на хвастливые заявления Хрущева о небывалой дееспособности Советской армии, в штабе батальона не было банальной пишущей машинки).

Дядя Ласло перевел для меня книгу Евтушенко

Как я уже говорил, у деда было три сына – Ласло, Томаш, Банды. Ласло окончил институт восточных языков, на фронте был военным переводчиком (в моем архиве сохранилась уникальная фотография – дядя переводит допрос пленного немца), много лет работал главным редактором журнала «Совьет хирадо», выходящего в Советском Союзе на венгерском языке. В 1958 году дядя дал мне рекомендацию для вступления в Союз журналистов СССР, но тогда его рекомендация не помогла, по молодости лет в СЖ меня не приняли. Дядя Ласло знакомил меня с событиями, которые происходили за рубежом и о которых наша пресса предпочитала не упоминать, давал читать книги, которые наши издательства предпочитали не печатать… К примеру, он перевел для меня нашумевшую на Западе «Автобиографию рано созревшего человека» Евгения Евтушенко, опубликованную в немецком журнале «Штерн». Когда я похвалился этой «крамолой» директору Покровской школы, с которым дружил, он полушепотом попросил дать ему для перепечатки скандальную штудию.

Томаш Партош окончил Московский энергетический институт. Во время войны был офицером морской пехоты – одним из героических защитников легендарного Ораниенбаумского пятачка, с которого началось наступление советских войск под Ленинградом в 1944 году. Участвовал в военных операциях по прорыву ленинградской блокады под командованием адмирала Трибуца. После войны работал в научно-исследовательском институте.

Мой отец Банды Партош учился в специальной немецкой школе, воевал в партизанском отряде в Брянских лесах, с конца 40-х годов служил в должности военного атташе советского посольства в Будапеште и при штурме здания посольства во

время событий 1956 года был тяжело ранен в голову, вывезен на самолете в Москву. Долго лечился, а потом вернулся на родину с новой семьей. Я навестил его в Будапеште в 1965 году, когда в составе молодежной делегации владимирской комсомолии отправился в Венгрию.

В Интернете наткнулся на книгу «Двадцать пять лет в Советском Союзе» Арпада Сабадоша, венгерского революционера, как и Золтан Партош, приехавшего в Россию после падения Венгерской советской республики. В его книге есть упоминание имени деда в таком, удивившем меня контексте: «Однажды вместе с Фрици Гардош я посетил в его доме Золтана Партоша, врача, в комнате которого к стенам от пола до потолка были приделаны жестяные полосы. В ответ на мой удивленный вопрос, что это значит, он ответил: „Здесь так много крыс и они такие нахальные, что от них нет покоя ни ночью, ни днем, поэтому мы пытаемся так от них спастись“».

В Штатах меня ждет наследство?

Старший брат деда Ференц, тот самый, который когда-то организовал ему побег из тюрьмы, уехал в 20-е годы из Венгрии в Америку и в Голливуде основал студию мультипликационных фильмов. После войны приезжал в Москву, родные помнят дорогие подарки, которые он привез всем членам многочисленного семейства. Звал брата с семьей уехать в Америку. Тот, конечно, отказался. После смерти Ференца (повторяю, собственника киностудии в Голливуде), у которого не было детей, деду прислали документы о возможности принятия наследства. Дед отказался и от этого. Видимо, три ареста в Советском Союзе не прошли даром для венгра-эмигранта Золтана Партоша и послужили ему уроком осторожности.

Когда я встречаюсь со своими венгерскими родственниками, мы иногда вспоминаем этот сюжет и шутим, что наследство ведь где-то до сих пор лежит и ждет нас, потомков богатого двоюродного деда Ференца. Но почему-то никто из нас за долгие годы так и не удосужился что-либо разузнать по этому поводу. Может быть, следующие поколения будут более деловыми и предприимчивыми…

Три ареста, или несложившийся чекистский пазл

Когда в школе я начал проходить историю СССР, то есть классе в седьмом, мама впервые мне сказала, что мой дед сидел в тюрьме. «За что?» – удивился я. – «А ни за что… В годы репрессий Сталин посадил много людей. В том числе твоего деда, Золтана Партоша». (Кстати, я носил фамилию деда до 12 лет, пока не был усыновлен новым маминым мужем Николаем Александровичем Медведевым, учителем истории, которого райком партии назначил председателем колхоза на Владимирщине.)

Эти слова меня не только озадачили, но и лишили сна. И я снова и снова переспрашивал мать, кем же был мой дед. «Он состоял в Коминтерне», – отвечала она. «Что такое Коминтерн?» – не отставал я. «Организация коммунистов мира», – объясняла мама.

Когда я приезжал в Москву, то своим родственникам, и особенно журналисту дяде Лаци, задавал этот же вопрос: за что был арестован Золтан Партош? Но никто мне толком ничего не рассказывал. Твердили одно и то же: твой дед прекрасный человек, он знает девять языков, он лечит известных людей… Сейчас-то я понимаю, что распространяться о репрессиях в те годы особенно не решались. Во всяком случае, лишнего ничего не говорили. А самого деда я спрашивать не хотел, да, к тому же, из-за его прогрессирующей глухоты общаться с ним становилось все труднее. Я очень жалею, что не поговорил подробно с дедом о его прошлом, сегодня мне никто уже не может ответить на некоторые вопросы, касающиеся его непростой биографии.

С Лениным в Циммервальде

В 70-е годы в книжном магазине на улице Горького я увидел трехтомник «История Венгрии», вышедший в издательстве «Наука». Попросил продавца показать книги. Каково же было мое удивление, когда в главе «Революционное движение в 1917 году» на странице 13 обнаружил следующий текст:

«Венгерские антимилитаристы стали в Венгрии первыми, кто вел агитацию против империалистической войны, за братание с русскими солдатами, за социалистическую революцию…

Среди антимилитаристов, или циммервальдцев, особенно выделялись Отто Корвин, Ласло Рудаш, Ене Ласло, Имре Шаллаи, Золтан Партош, Ложеф Реваи, Йожеф Келен, Дюла Хевеши,

Тивадар Шугар и др. Они создали специальную группу для работы среди солдат и в середине ноября призвали трудящихся Венгрии к борьбе против внутренних врагов – помещиков и капиталистов.

Молодые революционные социалисты основные силы направили на выпуск нелегальных листовок, распространяли плакаты, призывающие рабочих к саботажу, а солдат – к неповиновению. Листовки циммервальдцев молодежь распространяла на заводах и фабриках, на железных дорогах, в казармах и среди фронтовиков. В одной из листовок говорилось: „Братья, размышляйте. Русские солдаты уже поняли, что земля, которую надо завоевать, находится в их собственной стране, что враги, против которых в случае необходимости нужно воевать с оружием в руках, – это шайка паразитов – помещиков, графов и промышленников, баронов, натравляющих друг на друга Яношей Безземельных и Петров Неимущих разных наций, чтобы они не опознали своих истинных врагов“.

В другой листовке под заглавием „Русские братья“ провозглашалось, что Великая Октябрьская социалистическая революция станет праздником для всего человечества и что русские братья будут стоять плечом к плечу с пролетариатом всего мира в решительной борьбе за освобождение человечества».

Перелистывая книгу, я узнал, что 1915 году дед вместе с Лениным, Троцким, Зиновьевым участвовал в работе знаменитой Циммервальдской конференции. Вот это да! Но что же случилось с Золтаном Партошем в советской России? Почему он был арестован?

«Сжатое скрепками не разжимать!..»

…В перестройку родственникам невинно репрессированных при Сталине людей начали разрешать знакомиться с «делами», хранящимися в архивах КГБ. Я сделал запрос. Получил ответ, что дело З. Партоша выдать не могут. Так я получил подтверждение страшного факта: мой дед действительно побывал в лапах НКВД.

Что ж, подожду немного – дал я себе зарок. И если снова получу отказ, обращусь на самый верх чекистской структуры. Бояться мне нечего, я имею право знать все о своем деде. Не хотелось верить, что могут вернуться те времена, когда от людей скрывалась правда об их близких, расстрелянных и сгинувших в лагерях. Тогда ради чего в горячую августовскую ночь 91-го года сбросили с пьедестала оземь зловещую статую? Мы с сыном Кириллом наблюдали это будоражащее душу действо. Кстати (или не кстати), родители назвали меня Феликсом в честь

Дзержинского.

Шли годы… Я не то что забыл о своем намерении, но «бурь порыв мятежный» отодвинул эту проблему из ряда самых-самых…

Наконец летом 2010 года я позвонил в приемную ФСБ, чтобы узнать, могу ли я хоть краешком глаза взглянуть в хранящиеся много лет (как оказалось, уже 86 (!), если считать от первого ареста в мае 1924 года) в архивах Лубянки дела бедного моего глухого деда? Для ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ это были «дела», а для меня – жизнь и судьба родного человека. А значит, и моя жизнь, мое прошлое.

И о, чудо! Меня, наконец, допустили в Центральный архив ФСБ Российской Федерации для ознакомления с двумя папками, а чуть позже – в Государственный архив Российской Федерации, где мне вручили еще одну. Вот их номера: 26090 от 15.05.1924; 75081 от 25.05.1929 и 2676 от 8.03.1938.

Дежурный архивариус строго предупредил: «Сжатые скрепками листы разжимать запрещается». «Но почему? – удивился я. – Какие тайны скрывают заплесневелые листы?» Ответа я не получил.

Ордер на арест подписал Ягода

С дрожью в руках я раскрыл дело, заведенное 15 мая 1924 года. Какую же фамилию я увидел на первой странице? Самого Ягоды, бывшего тогда заместителем председателя ОГПУ. Какая оказана «честь» Золтану Партошу, если его судьбой занялся один из самых кровавых сталинских палачей! Какие преступления решил раскрыть товарищ Ягода со своими присными? В чем оказался виноват человек, который отдал всю свою молодость борьбе за социализм и коммунизм, был за это арестован на родине и вынужденно эмигрировал из родной страны в СССР под защиту Ленина-Сталина?

«Ордер № 3926 от 14 мая 1924 года на производство ареста и обыска Партоша Золтана…»

Перелистываю страницы, и мой взгляд упирается в длинный список каких-то имен. Бумага адресована товарищу Дзержинскому.

«Многоуважаемый товарищ Дзержинский!

Убедительно просим Вас обратить внимание на прилагаемое при сем наше заявление. С коммунистическим приветом.

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим просим об освобождении до суда тов. Партош Золтан, арестованного 15 сего мая, при чем даем гарантию за неотлучку тов. Партош из Москвы

до суда и его немедленной явки по первому требованию судебных и административных властей.

Ирма Богдань, А. Шийк, Вейс Гизелла, Ф. Каррикаш, Э. Штерн, И. Гейгер…»

Под письмом стоит 35 фамилий крупных деятелей коммунистического движения Венгрии и Румынии (думаю, что далеко не все они пережили свирепую сталинскую чистку).

Свобода за подписью Артузова

Деда отпустили через три месяца. Постановление об освобождении утвердил начальник КРО ОГПУ А. Артузов, впоследствии знаменитый советский контрразведчик.

Второе «темное» дело от 25.05.1929, вызывающее, как и первое, недоумение и злость, освещено трогательным письмом Эржебет Партош, написанным в защиту мужа и отправленным в ЦК ВКП(б). Она писала, что, прожив с мужем 19 лет, знает «всю его работу, всю его деятельность, каждую его мысль за этот период» и уверена, что он ни в чем не виновен.

А заявление Франческо Мизиано мне хочется привести полностью, потому что образ Золтана Партоша рисуется в нем очень ярко.

«12. YI.1929

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаю, что я знаю тов. Партош уже в течение пяти лет как врача, пользующего как мою семью, так и семьи многих других сотрудников Межрабпрома, а кроме того, я знаю его как человека благодаря личному знакомству наших семей. У меня создалось следующее мнение о тов. Партош:

а) тов. Партош – как врач.

Он является очень опытным, способным врачом, который относится к своей работе весьма серьезно и добросовестно, всячески стремится к усовершенствованию своих знаний и отдается своей работе с лихорадочным усердием. Если речь идет о том, чтобы лечить детей в пролетарских семьях, то он проявляет большую бескорыстность и часто отказывается от всякого вознаграждения.

б) тов. Партош – как товарищ.

Тов. Партош является одной из симпатичнейших личностей среди венгерских политэмигрантов. Он всегда готов помочь и оказать гостеприимство всем венгерским товарищам. Характером он лоялен и всегда находит слово, чтобы подбодрить других.

Я далее могу подтвердить, что, несмотря на слабое его

здоровье, он находит время, чтобы заниматься литературным трудом, не только в области научной, но и культурно-просветительной…

В общем я могу сказать, что все товарищи, которые вращаются в том кругу, в котором я бываю, и которые знают тов. Партоша, питают к нему большую симпатию и уважение.

Москва. I/YI – 29 г.
Представитель ЦК Межрабпома в СССР
Мизиано».

(Франческо Мизиано – один из создателей Коммунистической партии Италии, координатор деятельности Международного Союза Помощи Рабочим (с 1924 года – представитель его в СССР), возглавлял «Межрабпом-Русь» – первую советскую профессиональную киностудию (позже киностудия имени Горького). При нем были сняты такие известные советские фильмы, как трилогия Всеволода Пудовкина «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингис-Хана», «Аэлита» Якова Протазанова, «Путевка в жизнь» Николая Экка. Франческо Мизиано называли «Красным продюсером» и «Человеком с Броненосцем Потемкиным в чемодане» – он ездил по странам Европы, знакомя западного зрителя с советскими фильмами. Умер в Москве в 1936 году (как ни странно, своей смертью).

Из документов, конечно же, ясно, что никаких преступлений, приписываемых деду, он не совершал. Во всей этой чекистской кухне – сплошной абсурд, по-нынешнему говоря, лабуда. Но карательной системе тогдашнего СССР нужна была видимость активной деятельности по выявлению врагов товарища Сталина, и, конечно, на иностранцев-эмигрантов была особая разнарядка. Одними из первых были арестованы находившиеся в СССР основатели зарубежных компартий, участники первых конгрессов Коминтерна, в прошлом – деятели левого крыла II Интернационала.

И на этот раз деда выпустили, правда, после этой отсидки его лишили билета члена ВКП(б), зато «разрешили», как написано в приговоре, «работать по специальности»…

«Я шпион венгерской разведки…»

Из дела № 2676 (сохраняю стиль и орфографию «циркуляров»):

«Утверждаю: Зам. наркома внутр. дел СССР, комиссар Госбезопасности 1 ранга Заковский, 1 марта 1938 года

Справка (на арест)

По данным 5 Отдела УГБ УНКВД МО Партош Золтан Игнатьевич подозревается в активной шпионской деятельности в пользу одного из иностранных государств. Партош является участником контрреволюционной венгерской шпионско-террористической организации и проводит в ней контрреволюционную деятельность. Партош, проживая в Москве, имеет обширные связи с лицами, подозрительными по шпионажу. На основании изложенного Партош подлежит аресту.

Нач. 8 отделения лейтенант госбезопасности Хачанов

Согласен: нач. 5 отдела УГБ УНКВД МО

майор госбезопасности Столяров».

Из допроса:

«Вопрос. Вы арестованы как шпион венгерской разведки, по заданию которой на территории СССР занимались шпионажем. Признаете ли вы себя виновным в этом?

Ответ. Да. Признаю. Действительно, я до дня моего ареста являлся шпионом венгерской разведки и по ее заданию на территории СССР занимался шпионской деятельностью в пользу Венгрии.

Вопрос. Какие сведения шпионского характера вы передавали?

Ответ. Я передавал сведения о полевой хирургии на случай войны.

Вопрос. Какие вы еще задания получали?

Ответ. Больше я никаких заданий не получал…»

Из следующего допроса:

«Вопрос. На допросе 23.03.38 г. вы показали, что являетесь агентом венгерской разведки и занимались шпионской деятельностью в пользу Венгрии. Подтверждаете вы свои показания?

Ответ. Нет, не подтверждаю. Шпионской деятельностью я никогда не занимался и никто меня для шпионской деятельности не вербовал.

Вопрос. Следовательно давая показания о своей шпионской деятельности вы лгали следствию?

Ответ. Да, это ложные данные, потому что когда я был вызван к начальнику на допрос (фамилию я не знаю…) то он меня ударил, а затем когда допрашивал меня следователь, то он угрожал мне, а потому что я слабый здоровьем и не желал больше

подвергнуться этому, я и подписал ложные данные о себе…»

Варга хлопотал перед Сталиным

28 марта 1938 года (деда арестовали 8 марта) ученый-экономист Е. Варга писал Сталину: «Находящиеся на свободе в Советском Союзе кадры вследствие массовых арестов глубоко деморализованы и обескуражены. Эта деморализованность охватывает большинство работников Коминтерна и простирается вплоть до отдельных членов секретариата ИККИ (Исполнительный комитет Коминтерна. – Ф. М.). Главной причиной этой деморализованности является ощущение полной беспомощности в делах, касающихся арестов политэмигрантов. Многие иностранцы каждый вечер собирают свои вещи в ожидании возможного ареста. Многие вследствие постоянной боязни полусумасшедшие, неспособны к работе…»

Между прочим, в деле деда лежит письмо Евгения Варги, которое тот написал в июле 1938 года. Не каждый бы отважился в те жестокие времена написать такие смелые слова: «Золтан Партош в течение 10 лет лечил моих детей. Я знаю его как исключительно добросовестного врача и как честного человека. Надеюсь, что при разборе его дела выяснится его невиновность».

И ведь как ни странно – «выяснилась»!

Заключительный документ – постановление от 26 сентября 1938 года (об освобождении из-под стражи и прекращении следственного дела № 2676) за подписью начальника управления НКВД МО майора госбезопасности Журбенко.

Не часто дела по ст. 58, п. б УК РСФСР завершались такими постановлениями, но деду повезло. Почему?

Можно предположить следующее.

За то время, которое Золтан Партош провел в Таганской тюрьме, произошли изменения в кадровой системе органов госбезопасности, а именно: 29 августа 1938 года, «правая рука» «сталинского наркома» Николая Ежова Л. М. Заковский, который дал санкцию на арест деда, был расстрелян. Кстати, на два месяца, когда он совмещал функции замнаркома внутренних дел и начальника Московского управления НКВД, приходится пик репрессий в Москве, в том числе среди иностранных коммунистов. Именно ему принадлежит фраза: «Попади ко мне в руки Карл Маркс, он бы тут же сознался, что был агентом Бисмарка».

Над самим Ежовым тоже сгустились тучи.

На должность Заковского 22 августа назначили Берию (он вскоре поднялся по служебно-карательной лестнице и сменил

Ежова), и вполне вероятно, что у «новой метлы» были свои планы. Во всяком случае, в начале деятельности Лаврентия Павловича на посту наркома внутренних дел СССР масштабы репрессий сократились.

Может быть, вместо «злого» следователя пришел «добрый»? Вряд ли.

Помогли ли письма в защиту деда крупнейшего ученого в области политической экономии, активного деятеля коммунистического интернационала, директора Института мирового хозяйства и мировой экономики, будущего академика АН СССР венгра Евгения Варги, к мнению которого прислушивался Сталин, и венгерского политического деятеля и философа с мировым именем Георгия Лукача, которые знали деда по венгерской революции 1919 года? Едва ли.

Поступило ли указание сверху перестать «мочить» венгерских эмигрантов, и так уж всех вывели?.. (Были уничтожены 10 из 16 членов первого ЦК Венгерской компартии, 11 из 20 народных комиссаров Венгерской Советской республики 1919 года, тысячи венгерских коммунистов томились в лагерях). Или просто не до них стало? Ведь только что отшумел Третий Московский процесс (март 1938 года), в ходе которого государство расправилось с членами так называемого право-троцкистского блока Н. Бухариным, А. Рыковым, Н. Крестинским… 19 из 21 человека, представших перед судом, были расстреляны.

Короче говоря, не сложился чекистский «пазл», и доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Института санитарной культуры СССР Золтан Партош вышел на свободу…

Во время войны дед продолжал лечить детей, работал в Институте санитарной культуры, писал научные статьи и занимался литературным творчеством.

Думаю, нелегко было венграм-эмигрантам жить в эти годы в Советском Союзе, ведь их родная страна воевала на стороне Гитлера.

Письмо в газету «Правда»

В газете «Правда» 4 апреля 1942 года было опубликовано «Обращение общественных и политических деятелей Венгрии к венгерскому народу», в котором венгры заклеймили позором реакционный режим Хорти, ввергнувший Венгрию в войну против Советского Союза. Среди подписей Бела Иллеша, Евгения Варги, Георгия Лукача, Ференца Мюнниха, Имре Надя, Матиаса Ракоши под этим обращением стоит и фамилия «деятеля рабочего движения д-ра Золтана Партоша».

«…Никогда еще Венгрия не играла более постыдной роли, чем та, какую выполняет она ныне по вине венгерской реакции. Уже тот факт, что венгерские солдаты воюют против Советской России рука об руку с армией немецких грабителей, является величайшим национальным позором для Венгрии… Помогая Гитлеру в его грабительской войне против Советского Союза, венгерская реакция на деле спасает свой антинародный режим. Она хочет опереться на немецкие штыки, чтобы держать в рабстве венгерский народ. Мы обвиняем венгерскую реакцию в том, что ради своих корыстных интересов, ради спасения своего господства она предает венгерские национальные интересы, ведет к гибели нашу страну…

…Твердо уверенные в том, что мы выражаем мысли передовой части нашего народа, мы торжественно заявляем: мы солидарны со справедливой оборонительной войной Советского Союза не на жизнь, а на смерть. Мы преисполнены чувством глубокой благодарности Красной армии за то, что ударами, наносимыми немецким войскам, она помогает венгерскому народу отвоевать национальную свободу…»

…После войны в доме на Тверской часто бывали приезжающие на гастроли в Москву деятели венгерской культуры. Старшая двоюродная сестра помнит, как сидела на коленях у навестившего деда выдающегося венгерского тенора Йожефа Шиманди, солиста Будапештского оперного театра, выступавшего на сцене Большого.

Последние слова: «Берегите детей…»

31 августа 1959 года вся семья по обыкновению собралась на день рождения деда. Сыновья с женами и детьми всегда навещали его в этот день.

2 сентября, как рассказывала жена деда, к нему пришел его приятель, тоже венгр. Они долго обсуждали политические события на родине, спорили, дед очень разволновался. Случился инфаркт, и он умер на руках сына Томаша. Последними словами его были: «Берегите детей…» Сообщение о смерти Золтана Партоша напечатала газета «Московская правда». Этот номер у меня сохранился.

Замечательного детского врача, венгерского революционера, обретшего вторую родину в Советском Союзе, похоронили на Донском кладбище.

Собрав у родных разрозненные крупицы воспоминаний, я понял, какой яркой, выдающейся фигурой европейского масштаба

был Золтан Партош – участник многих крутых событий XX века, революционер по убеждению. Вот уж воистину «он хотел переделать жизнь, потому что любил ее» (И. Эренбург).

В начале 80-х годов к моему двоюродному брату обратились сотрудники Государственного венгерского архива. Они интересовались документами Золтана Партоша. И брат передал им бумаги, которые достались ему от умершего к тому времени отца – старшего сына деда – Ласло Партоша. Довольные архивариусы увезли их в Будапешт… Узнав об этом спустя много лет, я страшно расстроился, ведь почти уже нет на свете людей, которые знали моего деда и могли бы рассказать о нем. Значит, неизвестными останутся многие факты его биографии…

Необыкновенный, загадочный старик унес с собой многие тайны своего рода, своего времени, своей удивительной жизни.

P.S. Благодарю моих двоюродных сестер Веронику и Татьяну Партош за воспоминания о нашем деде, которые помогли мне более полно представить его жизнь и судьбу.

Октябрь 2011

notes

Примечания

1

Маруся Никифорова – одна из предводителей анархистского движения, соратница Нестора Махно, действовала на юге России. Арестована и повешена в 1919 году.

2

Маргарита Алигер – советская поэтесса, переводчица, член правления Союза писателей.

3

Сигнальный экземпляр – первый готовый экземпляр печатного издания, поступающий из типографии в издательство для ознакомления и проставления пометок, разрешающих выпуск типографией тиража.

4

Роман Петрович Тыртов (псевдоним Эрте, 1892, Санкт-Петербург – 21 апреля 1990, Париж) – знаменитый художник, график, сценограф, модельер русского происхождения, работавший в Париже и Голливуде.

5

Один из крупнейших художественных центров Дагестана. В раннем средневековье был известен изготовлением кольчуг и оружия. В XIV–XIX вв. прославился резьбой по камню и бронзовым литьем. В XVIII–XIX вв. высокого расцвета достигла художественная обработка металла, особенно производство и украшение ювелирных изделий и оружия.

6

Калинин – бывшее название Твери (с 1931 по 1990 год).

7

«Вертушка» – закрытая система партийной и правительственной телефонной связи в СССР, важный статусный символ для советской номенклатуры.

8

Постановление политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая Держава» В. Мурадели» от 10 февраля 1948 года.

9

Айк – прозвище американского военного деятеля, командующего объединенными вооруженными силами НАТО, 34-го президента США Дуайта Дэвида Эйзенхауэра.

10

Городу Екатеринбургу в 1991 году вернули историческое название. С 1924 по 1991 год он назывался Свердловском.

11

С Гоголевского бульвара в 1951 году перенесен дореволюционный памятник Н. В. Гоголю, сначала – в Донской монастырь, затем, в 1959 году – на Никитский бульвар, во двор бывшей усадьбы графа А. Толстого.

12

Калининский проспект (позже улица Новый Арбат) проложен в начале 60-х годов XX века по переулкам старого Арбата, что привело к уничтожению ряда памятников архитектуры XVIII–XIX веков. Высотные «дома-книжки» выглядели на фоне старой Москвы как чужеродные объекты, поэтому в народе их прозвали «вставные челюсти».

13

Развлекательная телепередача, включавшая в себя сатирическую пародию на политических деятелей. Выходила в эфир с 1994 по 2002 год.

14

Егор Кузьмич Лигачев – бывший секретарь ЦК КПСС.

15

Кибуц – в Израиле самоуправляемая община, занимающаяся сельскохозяйственным производством, основанном на коллективном владении всей собственностью.

16

А. Е. Бовин вследствие сильного остеохондроза принял решение заменить обе коленки протезами.

17

Нижняя часть газетной страницы, отделенная поперечной чертой для помещения отдельной статьи.

18

Горький – бывшее название Нижнего Новгорода (с 1932 по 1990 год).

19

Парадная лестница Дворца фестивалей и конгрессов, ведущая в зал «Люмьер» – главный кинозал Каннского фестиваля.

20

Немецкий летчик Матиас Руст. В 1987 году самовольно пересек границу на собственном самолете и приземлился в Москве на Красной площади.

21

Гавриил Попов – российский политический деятель, в 1991–1992 годах – мэр города Москвы.

22

Альманах «Метрополь» (1979) – сборник неподцензурных произведений (без разрешения Главлита) как известных литераторов (Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Рейна, В. Высоцкого, Ю. Алешковского, В. Аксенова и др.), так и авторов, недопускавшихся к открытой печати. Было подготовлено 12 экземпляров. Рукопись альманаха переправили в США и опубликовали в том же году. Составителей В. Ерофеева и Е. Попова исключили из Союза писателей СССР, большинство авторов не публиковали долгие годы.